КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ

1931

КНИГА
ПЕРВАЯ

ЯНВАРЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

СОДЕРЖАНИЕ

КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 1

ЯНВАРЬ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1931 ЛЕНИНГРАД

14 тип. «Мосполиграф»,
Варгунихина гора, д. 8.
Главлит Б 1454. 12 л.
Тираж 12 000 экз.
От. ф. $Б_5$ 176×250. З. 2343.

Хм

(Из повестей бригадира М. М. Синицына)

Всеволод Иванов

1

До сих пор разворачивание шелковой промышленности в Средней Азии замедлялось из-за кустарщины, из-за крайне первобытных способов как и производства шелка, так и ухода за греной (яичками) шелкопряда. Воспользуясь греной туземного происхождения, вы, червовод, получаете плохие по качеству коконы. Сейчас, дабы освободиться от заграничной грены, в Средней Азии выстроено несколько гренажных заводов. Но, развивая червоводство, необходимо обеспечить его кормом,— и вот строятся и развиваются питомники шелковицы; все эти питомники по одной Туркменской республике должны дать в 1930 году до 2 000 000 саженцев тута, а к концу пятилетки площадь питомников для выращивания посадочного материала будет доведена до 3 400 гектаров!

Наряду с ростом шелководства бурно развивается и шелкообработка. Среднеазиатской шелкообрабатывающей промышленностью за текущее пятилетие будет дано свыше 4 400 тонн грены, по современным ценам на общую сумму в 300 000 000 рублей. Организуются крупные совхозы, где шелководство получит полную форму фабрично-заводского производства.

При совхозе сооружаются шелкомотальные фабрики,— короче говоря, в сегодняшнем нашем собеседовании я, бригадир М. М. Синицын, намерен вам осветить события, которые мне пришлось наблюдать в одном из таких строящихся совхозов, приблизительно, скажем, в районе города Мерва. Естественно, что при всяком высоком деле происходит некоторая душевная сумятица, не обходящаяся и без гадостей, но тот факт, который я вам хочу сообщить, прошу ни в коем случае не обобщать. Я сам знаю и сам часто этим страдаю, то есть способностью к обобщенью, особенно, если нужно прищемить какого-нибудь гада. В ответ на мое обращение вы скажете: зачем же, дорогой М. М. Синицын, тогда придавать гласности этот факт, если вы не желаете его обобщения? Вы же знаете, кому рассказываете,— писателям! А писатель, помимо того что расскажет ваш факт, он еще и от себя наврет, и наврет зачастую ни к селу, ни к городу, так что сам себя потом за виски щупает, думая: «Да неужели это я мог написать, неужели на меня такая тьма напала!»

Нет, я знаю, кому рассказываю, и знаю, кто меня слушает, и придать это гласности я имею желание исключительно с целью убеждения многоуважаемого Л. Н. Умакбеева, строителя совхоза «Кара-Чала» и при совхозе — шелкомотальной фабрики.

Но начнем с начала. Говорит нам предисполкома:

«У нас на совхозе, который вы осмотрите, темпы необыкновенные и многозначительные. Строитель Умакбеев — голова, а его помощник Х. М. Корнеплодов — по уму и характеру нечто необ'ятное, некий гигант с крюкой! Боец на всех фронтах! За гражданскую войну шестнадцать серьезных ранений. Планы переустройства такие, что в одной руке Средняя Азия, а в другой — Азия вообще. Ехать же в «Кара-Чала» рекомендую верхами, так как тракторы, это живое чудо нашего века, настолько дорогу искорчевали, что на автобусе человек обретает в себе такие уязвимые места, которых он во всю жизнь не подозревал.

Вскарабкались мы на коней и погрузились в пыль и в ухабы от тракторов, которые открыли в среднеазиатском человеке незнаемые до того уязвимости. Ухабы были, точно, глубокие, систематические, и, уставши больше от этой систематики ухабной, свернули мы в придорожное чайхане, где и расположились по коврам. Вдруг видим — мчится мимо нас грузовик — полуторатонка, тот, что здесь заменяет автобус и против поездки на котором предостерегал нас предисполкома, грозя открытием уязвимостей необыкновенного свойства. Поверили мы ему! Кабы был я моряком хотя бы эпохи гражданских войн, то я сказал бы вам: представьте, товарищи,— стоите вы на какой-то скале, подле которой мчится, претерпев двухнедельный шторм, корабль без единого матроса. Обитатели корабля в ничто не верят, кроме боли и тошноты. Лица у них истасканы, как портфели ответственных работников. Уже на что мы и по обязанностям и по складу характеров ребята великодушные, но тут даже, с высоты своих ковров взглянув на пронесшееся мимо страдание, испытали, прямо сознаюсь, ехидство и затем благодарность к восторженному предисполкому.

Не успели мы закончить обсуждение своего удовольствия и похвалу конному сообщению, как опять слышим грохот и столб лессовой пыли оттуда, куда улетела только что полуторатонка. «Любит же здесь страдание народ!» — удивились мы, а тем временем автобус воткнулся около самого нашего чай-хане, шофер достал из кармана полбутылки утешительницы, хватил, крякнул, закусил горстью риса, отчаянно мотнул головой и опять скрылся в грохоте и пыли, а из оставшейся пыли выявились перед нами два пассажира, которых я и слегка опишу, так как они оба окажутся нам полезны.

Впереди шагал старичок в туркменской одежде, в папахе и туфлях, и с лицом, похожим на морковку; старичок показался мне несколько знакомым. Но я обратился со своим вниманием ко второму пассажиру, который одет был в заношенную европейскую платью, то есть трусики и сверху прорезиненное пальто, лицом же он был тоже туркмен. Идет последний товарищ к нам, за пятнадцать метров руку протягивает, походит сам на долото — ровный весь такой, металлический, и понять можно сразу: доброты и внимания к людям необыкновенной, собой же в общем молод, комсомолец, каковое выдвижение видеть для нас было вдвойне приятно. Еще он и не пожал нам руки, но мы поняли, что стоит перед нами Л. Н. Умакбеев, знаменитый строитель совхоза и шелкомотальной фабрики «Кара-Чала» с ее необыкновенными и невиданными темпами. Мы это к нему сразу же о темпах: в чем дело, мол, об'ясните, а он скромно так и со скромной и тихой восторженностью:

— Я об'яснять вам недостоин, но я сам удивляюсь, а потому могу ошибиться в информации. Я вам представлю немедленно же, прямо сознаюсь, фактического руководителя нашего строительства — Х. М. Корнеплодова, для кратости прозванного нами Хм! Но наш великий и прекрасный Хм,

к сожалению, встретить вас не смог, так как занят в данное время операцией.

— Операцией?— удивились мы.— Разве в вашем районе басмачи имеются?

— Какой разговор! Никаких басмачей у нас и быть не может! Я должен сказать прямо: Хм настолько тонко знает науку и технику во всех ее отраслях, что в данное время, за отсутствием хирурга, во вновь отстраиваемом здании больницы производит одному из националов операцию апендицита.

— Апендицита?— удивились мы.

— Да что апендицита,— он и мозговую операцию может произвести. Какая голова! Какой ум! А ранения! Шестнадцать ранений на всех фронтах, защищавших нашу республику, и, между прочим, не болтун. В день не больше как десяток слов из него выкорчеваешь. Но какие слова, товарищи! Какие слова! Лозунги, а не слова!

Пораженные прямо сказать моторизированными горизонтами Х. М. Корнеплодова, приятели мои вонзились в расспросы. И я хотел было примкнуть к ним, но второй пассажир, старичок с морковной головкой, заканчивал питье своего кок-чая, искоса посматривая на меня. И я не замедлил к нему подойти поближе, и как только подошел я к нему поближе, так сразу же узнал: на острове Челекене изчи — следопыт Менгли-Мамед, который жаждал увидеть борцов в цирке Ашхабадском, а затем хотя бы и умереть,— так старичок любил человеческую силу и ловкость!

— Сколько помнится, Менгли-Мамед,— сказал я ему,— вы участвовали в ударной бригаде на озокеритовых промыслах, а затем сбирались в отпускное время посетить цирковое представление?

— Так оно и случилось,— ответил мне Менгли-Мамед,— посмотрел я цирк и вместо утешения того свойства, что можно теперь и умереть, почувствовал, что еще больше любопытства у меня разгорелось к жизни, и, чуя это разгорающееся любопытство к жизни, подумал я однажды: родом ты, по матери, конечно, Менгли-Мамед, из-под Мерва, и мать твоя всегда любила вспоминать, как ей тяжело было в юности работать по шелководству, когда даже грену приходилось выращивать (для теплоты) за пазухой. И работа эта ее юность значительно сократила, а рассказы ее усавили во мне желание осматривать самодержавный Мерв. А теперь, когда народ сам строит свое счастье,— почему бы мне не посмотреть Мерв и его окрестности, а в частности шелководство, от которого почти погибла моя мать! Какие улучшения и какие достижения в этой области, и чем мне нужно восхищаться?

— Ну, и чем же вы восхитились, Менгли-Мамед?

— Нет успехов без ошибок,— с тихой злостью сказал Менгли-Мамед,— и нет ошибок без успехов. Много в жизни видал я следов, но такого следа, как у великого Хм, не встречал. Он оставляет свой след на полметра в глубину и на полметра в ширину!

Умакбеев и все товарищи, связанные с Хм по работе, относятся к нему чрезвычайно восторженно. Их восхищают особенно необыкновенные темпы, поэтому я не могу принять ваши высказывания, Менгли, иносказательно, так как они тогда бы представляли товарища Хм в весьма невыгодном для него свете. Но и не могу поверить вам, зная вашу точность, чтобы следы Хм были полметра глубиной. Оставим вопрос о следах до личной встречи, а скажите мне, как Л. Н. Умакбеев относится об'ективно к Хму или же есть у него иные соображения, родственного, скажем, или иного порядка?

— Родственного могли бы быть, так как Хм женится на сестре Умакбеева, называемой Насу и похожей на коробочку распускающегося хлопка,

но Л. Н. Умакбеев не такой человек, чтобы к общественным делам мог примешивать личные отношения. Он вне таковых низостей, он добр и высокопоставлен душой. Он выше всех родственных чувств и ценит строительство, которое поручили ему.

— Насу красива, по-вашему, Менгли, поскольку вы ее сравнили с коробкой распускающегося хлопка? Я не видал коробки хлопковой кроме как в музее, где она производит невыгодное впечатление, но тут, безусловно, и плохое освещение и пыль оседаемая...

— Она красива!

— Значит и Хм, несмотря на его ранения и страдания, тоже сохранил красоту, стройность и легкость?

— Он отвратителен! Он в сто раз хуже, чем мой дедушка, а о безобразии моего дедушки рассказывали не только в Русском Туркестане, но и в Персидском и во всем Афганистане!

— Но он хотя с белыми кудрями, которые так любят на Востоке?

— Он рыж, полулыс, он бабник, трепач, лгун!

— Тогда я не понимаю, Менгли, чем же смог Хм обольстить не только девушку,— девушку иногда можно обольстить совершенно неожиданными событиями,— но он обольстил правление Шелкотреста, предисполкома Мерва и, наконец, Умакбеева, который тоже в политических делах не лыком шит. Не заблуждаетесь ли вы, Менгли? Если, как можно понять из ваших слов, Хм жулик...

— Жулик? Разве я сказал, что он жулик? Жулик — это блоха, а кто же говорит о блохах?— только нервные люди, а воин даже радуется обилию блох: значит, говорит он, война идет по-настоящему. Воин не боится блох, это неизбежное следствие всякого похода. Он Хм! Понимаете, дорогой бригадир, что такое Хм? Хм верит и кричит всюду, что он обладает великими талантами. Он пишет о своих талантах всем своим друзьям, он пишет за границу, может быть — даже к незнакомым людям, он выписывает каталоги для учености, он заполняет все пространство вокруг себя сметами и цифрами. Постепенно ему начинают верить! Он сбирает вокруг себя молодежь и нежно относится к ее проектам, которые при случае все-таки незаметно упрет. Упрет! Он все прет, что можно. Он прет цифры, цитаты, доклады, проекты, рассказы героев о своих подвигах. Он верит в свои таланты, и ему начинают верить. Его уважают. Он является, думают о нем, одним из людей, яростно перестраивающих мир. Он везде получает квартиру или деньги под нее, но в квартире своей он живет с такой брезгливостью и на мебель свою смотрит с такой ненавистью и небрежностью, что посетитель спрашивает: «Да это что же, не ваше»?— «Мамашино,— говорит он,— мамаша у меня такая скупая, ну я и потакаю старости». Например здесь в Кара-Чала. Он с благосклонностью смотрит на совхоз, куда приехал после большого упрашивания. Он переделает этот совхоз. Он ходит по рощице, где предполагается разбить парк, вдоль арыка, опираясь на свою клюку, сам собой умиляется и высматривает девушек. Жизнь уходит, говорит он, а девушки не любят стариков, девушками нужно пользоваться, пока ты молод! Вот он увидал А. Д. Сапарову, инструктора по шелководству, девицу, разносящую грену... Он подбирается к Сапаровой. Затем перед ним мелькнула Насу. Он кричит самому себе: «Гони сюда Насу!» А там какая-нибудь третья. А так как он хочет, видимо, прожить долго, то он уважает медицину, лекарства, больницы да и сам подлечивает — не себя, а других. Исходя, видимо, из этого уважения к медицине, а также исходя из того положения, что в нашей республике не хватает врачей и врачи к нам едут очень неохотно, он рассчитал так: «Пока там найдут хорошего врача, а мне, если строительство совхоза не выйдет, мне

дадут заведывание больницей». Вы спросите: а Л. Н. Умакбеев,— разве он его в расчет не берет? Как не берет! Хм все берет в расчет. Но Л. Н. Умакбеев хотя в данное время человек могущественный, крепок в туркменском комсомоле, конструктор,— он изобрел какую-то там деталь очень важную в шелкомотальных станках, которая удешевляет и ускоряет производство. Хотя любит и знает он свое дело, но Л. Н. Умакбеев имеет огромный недостаток, который, может быть, сейчас и незаметен, но позже, когда Л. Н. Умакбеев развернет свое строительство шире и сам не сможет за всем уследить, а авторитету его будут слушаться, этот недостаток может принести ему прямой и явный вред. Этот недостаток Умакбеева заключается в том, что он добр.

— Ну, вы уже и нашли, Менгли, недостаток!

— Доброта эта не есть доверчивость,— спокойно продолжал Менгли-Мамед,— доверчивость ко всем и каждому. Нет, он чувствует доброту и снисходительность и даже восторг к людям с большими, моторизованными горизонтами. Едва он увидит, что человек обладает таким горизонтом, направленным в сторону пролетариата и беднейшего крестьянства, так он способен учесть в хорошую сторону все, что бы такой человек ни наделал.

— Так. Но зачем же сидеть Хму в больнице, если у него есть всюду связи и всюду переписка?

— А затем, ему нужно пересидеть, так как Л. Н. Умакбеев может из-за своих горизонтов влипнуть и потащить за собой Хма! А Хм, извините, прикреплен к больнице, тем более что всегда можно выдумать эпидемию. Ведь выдумал же он в своих диаграммах и обследованиях, что в Кара-Чалинском районе в данное время семьдесят восемь процентов населения больны сифилисом и два и три четверти процента — проказой!

— Вы говорите чудовищные вещи, Менгли!

Менгли-Мамед не обиделся на мою горячность и про себя пробормотал:

— Эпидемия — на случай того, что по случаю вашего приезда строительство будет обследовано.

— А как дело обстоит с рабсилой и с пищей?

— Рабсилы почти нет, она разбежалась. С пищей тоже плохо.

— А профсоюзная работа?

— Она замерла.

— Извините меня, Менгли, но, может быть, вас раздражила как раз эта сторона дела на строительстве. Известно, что на строительствах, где плохо обстоит с хлебоснабжением, в условиях Средней Азии — это вещь вполна об'яснимая, естественно, что там рождаются и растут самые отвратительные слухи о руководителях строительства.

— И я поддался им?

— Даже незаметно для себя!

— А предрабочкома кто? Товарищ Чевелев, родственник Хма. А кто продовольствием заведует? З. М. Мордвинова, родственница Хма, приехавшая из Саратова. А кто агитработу ведет, просвещение и раз'ясняет пятилетку? Сеид Юсупов. Родственник? Тоже родственник, а вообще картежник!— Менгли-Мамед поправил папаху и скорбно посмотрел на дорогу.— Счастливо быть, бригадир! Когда меня везли сюда на автобусе, я подумал: «Стоило тебе, Менгли, жить семьдесят лет, к концу семидесятилетия быть в ударной на озокеритовых, чтобы вытрясти внутренности таким позорным способом!» Отсюда я решил итти пешком. Я понимаю наслаждение пешеходства, но оно будет сокращено тем, что вы, бригадир, не уразумели суть вопроса, высказанного мной. В этом смысле нам не

мешало б еще побеседовать, но я должен спешить, так как поздно вечером в Доме дехканина трудно получить ночлег.

Мы расстались с Менгли-Мамедом вроде как бы несколько смущенными: он — тем, что не смог полностью убедить меня, а я — тем, что защищал неизвестное мне лицо, именно Хм. Но защита моя вполне понятна. так как мы, искренно любящие стройку в СССР, всегда с горечью и медленно рассматриваем недостатки таковой. Многому, конечно, мешает процесс переделки человека как внутри, так и внешне,— но все-таки...

Одним словом, с легкой грустью вскарабкался я в седло.

2

Признаться, разговоры Менгли-Мамеда навели меня на различные соображения. Стал я и выспрашивать Л. Н. Умакбеева. Вижу, парень толк имеет, но в пункте об Хм и его работе сведения его сбивчивы, и больше все восторженностью отделывается, каковую нам хотя и приятно иметь, но деловой подход и, главное, спокойствие — лучше. Кроме того стал я думать, что имея такой наступательный размах и темпы, Хм может испозорить нас, то есть московскую бригаду, в доску,— и потому предложил я товарищам, во избежание подвоха и пока не выяснено подлинное отношение Хма к строительству, держать выжидательную позицию и, главное не учить.

М. М. Медведев, наш сотоварищ по бригаде, как я уже вам сообщал неоднократно, обладавший отличной выдумкой, когда я ему передал слова Менгли о Хма, впал в актив и выразил жестокое желание иметь стычку с противником, вогнать такового в угол и вообще вскрыть.

Однакоже все шло отлично и гладко. Приехали мы к конторе, где временно расположился совхоз, помещалась эта контора в покинутом медрессе — духовном училище. Сидим мы это на веранде, где кругом деревянные крашеные столбики (колонны), неизменный чай и неизменные расспросы о Москве и ее строительстве.

И вот идет по направлению к нашей веранде человечище с клюкой и с такими челюстями, что за километр их видно! Видно и всем понятно, что, если ухватит он такими челюстями хоть тысячу центнеров,— не выпустит и будет нести многие километры. Вообще-то весь он походил, как бы сказать, на клещи, заржавленные, рыжеватые, самодельные такие и возрасту неопределенного. Хм!.. Он!.. Опустился он подле нас, пропыхтел и говорит так, как будто кому диктует, с остановками и вдумчиво. И всем нам показалось даже, что пишмашинка рядом стучит и чей-то тоненький-тоненький и почтительный голосок отзывается: «Точка?»

— Вы как?.. по документам... ударите... или... по видам? — спрашивает нас Харитон Матвеевич Корнеплодов, он же Хм.

Л. Н. Умакбеев посмотрел на нас с удовольствием, дескать, вот голова, вот подход! Без всяких предисловий, в лоб! Но мы тоже настрелялись, шатаясь и по Азии и по Европе, разных подходиков. Мы тоже знаем, что дело не в документах и что со стороны документальной тут не подкопаешься,— все обосновано и все согласовано.

Умакбеев было по своей молодости начал, указывая на него:

— Упорный, скала! Непременно желает у больницы второй корпус достроить и, когда я сегодня в лесоматериале отказал, страшно обиделся. В шорах ты, милый Хма, в шорах! Стройматериалу я тебе не дам, а то ведь даже и товарищи, не знающие наших необыкновенных темпов, могут заметить и спросить и написать даже: почему это у тебя, дорогой Умакбеев, больница выстроена, а под шелкомоталку только фундамент подве-

ден? Как я им отвечу? Нет, не могу я дать тебе стройматериалу, вот при всех говорю: не дам! Обождет второй корпус.

Здесь Харитон Матвеевич отпустил такое мощное «хм», что я сразу понял, почему его прозвали так неблагозвучно и коротко, как сеттера, и всю его духовную суть. «Хм» это было такого свойства, что испустить его мог только или слон или паровоз самой прекрасной и новомодной марки; от этого «хм» содрогалась в человеке вся его внутренность, и все мы, привыкшие к различным боям и снарядам, слегка сконфузились. Этот «хм» говорил нам, сколько прочитано и усвоено им книг, брошюр и докладов, на скольких конференциях он побывал, сколько он слышал ораторов и сколько раз сам выступал как в ревизионных комиссиях, так и в резолюционных. А какие он имел собеседования! А какие он развивал и исполнял проекты! Да, мы поняли.

— Начнем с натуральных видов,— сказал я,— мы в шелковом деле мало понимаем.

На том наши разговоры и кончились — решили мы осматривать виды совхоза «Кара-Чала» с завтрашнего утра. Принесли плов, но и за пловом Хм не сказал больше ничего, хотя все — и Насу, сестра Умакбеева, существо еще не оперившееся, видимо, едва покинувшее школу (действительно, похожее на коробочку с хлопком, еще не распустившуюся: откуда-то и вата торчит, откуда-то и нити, из которых соткет время полезные ткани), и Чевелев, и З. М. Мордвинова, и Сеид Юсупов, человек с постоянно ныряющими руками,— смотрели внимательно и ждали от Хма речей и лозунгов.

Увидав плов, Хма достал из кармана деревянный футляр, а из футляра того ложку с какой-то стертой надписью.

— Ложка! Шестнадцать ранений!— восторженно обронил Л. Н. Умакбеев.

— Всем говорю...— загудел Хма: — не преувеличивайте... Шесть... а не шестнадцать... Хм!

— Шесть,— пискнул Чевелев.

— Совершенно верно,— шесть!— подхватила З. М. Мордвинова с жадностью необычайной.

Хм посмотрел на них строго — и опустил ложку в плов. И все прочие опустили пальцы, так как плов ложками в тех местах не едят.

Подзаправившись, направились мы гулять по кишлаку, но, видно, так уж пришлось, что с Хма встречаться нам нужно было в тот день не раз. Вторая наша встреча произошла у окна комнатки, в которой жил Л. Н. Умакбеев. Услышали мы только обрывок разговора, но и тот обрывок был очень поучительный. Говорил взволнованно Л. Н. Умакбеев:

— Позволь, но как же я могу отдать тебе лесоматерилы? Мне необходимо строить наконец. Достаточно для тебя и одного корпуса.

— А если... недостаточно...— протянул Хма.

— Подождешь! Мне шлют бумаги, требуют отчетов, а я им все — больница и больница. Им может наконец надоесть больница. Я за все строительство отвечаю или не я?

— Ты!

— Так вот и суди, я и должен строить, а ты мне говоришь — отдай стройматериалы. Не могу я их тебе подписать! И не суй мне распоряжение. Не суй, Хма.

Молчание.

Затем Л. Н. Умакбеев сказал пониженным голосом:

— Ну, хотя половину мне оставь.

— Пиши все. Ты еще достанешь.

— Да где же я достану? Я и так этот в счет второго квартала взял.

— Пиши.

Молчание.

— Хм!

— Пиши!

Молчание.

— Ну чорт с тобой, не дыши ты так на меня, подпишу!

В окне показалась рыжая, довольная и потная голова Хма. Он осмотрел весь горизонт, нас не увидал, конечно, а если и увидал, так из злости не подал виду. Дыхнул на весь горизонт добродетельным постным маслом — и скрылся.

Признаться сказать, от окна мы отошли ошеломленные. М. М. Медведев, как наделенный более веселым воображением, передразнил голосом Умакбеева:

«А вот и не дам на больницу стройматериалы!»

Третья наша встреча развилась возле арыка, вдоль которого направились мы несколько попозже в надежде найти такое глубокое место, куда можно было б окунуться: жара замотала до скуки. Так нет же, возле этого самого тенистого и, видимо, самого глубокого места лежал растянувшись Хма. Клюка его приставлена была к тополю, босые ноги его в нарочито рваных сандалиях упирались почти в лицо Насу. Плюнуть бы на такие корявые и вонючие ноги, а не сидеть бы возле них с разинутым птичьим доверчивым ртом, как то проделывала Насу. Эх, молодые товарищи, молодые товарищи, как часто и как легко вы заблуждаетесь! Хм тянул медленно, как самой плохой машинистке, с презрением, стервец, тянул, с усмешкой, уткнув в среднеазиатскую небесную бесконечность рыжий клок своих патл:

— Итак, ты утверждаешь, что в строительстве... нашем... они, приезжие, больше понимают, чем я, технорук?

— Когда я утверждала это, Хм?

— Я вас просил не однажды бросить эту собачью кличку и звать меня так, как меня звали не только в России, но и в моих заграничных командировках, то есть Харитон Матвеевич. Или трудно?

— Трудно.

— Ах, для вас трудно называть меня с тем почтением, которое я заслужил многими трудами в пользу республики! Возможно, вы и труды мои презираете и не признаете?

— Их все признают!

— А вы? А вы признаете? Отвечайте, гражданка!

— И я признаю.

— Отлично! Вот почему я хочу, чтобы вы звали меня Харитон Матвеевич, а если для вашего восточного языка трудно это запомнить, имя, которое упоминается во многих энциклопедиях, выпускаемых нашими издательствами, имя, которое никак и нигде не было опорочено и в чистках упоминалось не иначе как с полезными и форсированными прилагательными, то я вам предлагаю компромисс! Вы можете звать меня просто — товарищ Корнеплодов. Полезная фамилия! Фамилия, которая напоминает вам, что вы должны неустанно думать о сельском хозяйстве и его увеличении. Известно ли вам следующее? — и он наизусть, с громаднейшим удовольствием, продиктовал: — Известно ли вам, что посевная площадь на одного жителя в СССР (1929/30 г.) равна 0,83 *га*, в то время как в САСШ (1926 г.) — 1,33 *га* и в КАНАДЕ (1926 г.) — 2,35 *га*, что означает, что мы отстаем от Канады на триста процентов по размерам засеваемой одним нашим жителем посевной. Что это значит? А то, что мы должны неизменно

и неуклонно думать о нашем сельхозяйстве и поднимать его, и вот тут моя фамилия приходит ему на помощь. Я технорук, я строю шелкомоталку, но в то же время я кричу своей фамилией: корнеплоды! думайте о корнеплодах, думайте об увеличении посевной! А вы, Насу, утверждаете, что приезжие больше меня в строительстве понимают! Дожил, Корнеплодов!..

— Да я не утверждала этого и не думала утверждать. Наоборот, я все время хвалила вас, и брат мой вас все время хвалит.

— А... хвалит. Меня мало хвалить, меня нужно поощрять, а поощрение должно быть не только устное, но и деловое. Зачем пускать сюда бригады. Кому они нужны? Осмотрят — и нос кверху! Дескать, мы можем построить больше и скорей. Так и стройте, так и нечего вам раз'езжать! Ставите вы мне вопрос о доверии, я вас, Насу, спрашиваю?

— По-моему, нет.

— Это по чьему — по-моему? По-вашему лично или по мнению вашего брата тоже?

— По-моему лично.

— Удивила, удивила! Очень мне нужно ваше доверие! От вас мне нужно поклонение и уважение. Сколько я имею ран, для того чтобы вы спокойно развивались, учились и других учили?

— Шесть!

— Так вы поверили, что шесть! Шесть — это тяжелых шесть, а остальные десять — легкие. Итого, выходит: шестнадцать! А душевные раны? А за то, что я передумал? Палку, видишь? Клюку?

Она уставилась на громадную клюку, прислоненную к тополю. И клюка-то у него походила на все его движения, на его голос — ровная, квадратная и как бы с зубами. Редкого вида клюка!

— Вижу.

— Подай!

Она направилась. «Хм!» — распростерлось над нею.

Честное слово, товарищи, но она присела, да и мы, привыкшие ко многим человеческим словам и звукам, вздрогнули дюже. Он опять начал диктовать, и диктовал-то как: медленно, изображая, что ему тяжело и противно говорить, хотя сам, видимо, наслаждался говорением этим бесконечно: дару своему радовался во-всю.

— Как идешь? Так ли должен свободный человек, свободная женщина нареченному своему, в тяжелых и горестных боях потерявшему опору, подавать его клюку? Ты должна радоваться, что подаешь клюку, что человек еще может, напрягая свои силы, работать на пользу социалистического строительства, что мозг его еще не иссяк! Ты, думая такие возвышенные мысли, подавая клюку, даже подпрыгиваешь от радости, и ты даже от радости и оттого, что достойному человеку поднесла свою молодость, ты перепрыгиваешь через клюку. Радуешься ты или не радуешься?

— Радуюсь, Хм.

— Опять Хм!

— Радуюсь, товарищ Корнеплодов!

— Так прыгай, прыгай, не бойся! Ты свершаешь прыжком этим прыжок в сознание, что мы на правильном и неизменном пути.

— Но мне смешно прыгать через клюку, когда я через нее перешагнуть могу.

— Перешагнуть каждый может, нет, ты перепрыгни! Из чистого уважения!

— Если вы настаиваете, товарищ Корнеплодов...

— Между нами нет никаких производственных отношений, чтобы я мог настаивать. Я мысли свои, относящиеся к молодому поколению,

желал бы видеть воплощенными. В этом суть вопроса. Вы недостаточно энергично мыслите...

Ей, должно быть, надоело слушать поучения, и она прыгнула через клюку и, прыгнувши, засмеялась. Хма чрезвычайно обиделся на этот смешок, он вырвал у ней клюку, пробормотал, что дальнейший разговор продолжит в свободное время, и направился вперед, по арыку. Девушка смотрела вслед задумчиво, и задумчивость эта мне чрезвычайно понравилась, а мой приятель по бригаде М. М. Медведев был разозлен необычайно и сказал, что Хма гуляет не зря, Хма как бы проверяет свои посты и организует на нас нападение; мы же, в силу поставленных им условий, должны его или уничтожить или ликвидировать до полной его безопасности, вскрыть его, а посему сейчас же следовать за ним дальше и слушать то, что он будет изрекать.

Как нам ни было противно, но мы не могли не согласиться с мнением товарища М. М. Медведева, и в результате он оказался прав. При разветвлении арыка, возле хлопкового поля, Хма встретил вторую девушку, тоже, повидимому, из националок, и мы сразу догадались, что это была инструктор по шелководству А. Д. Сапарова. Девушка эта была с виду гораздо простодушнее, чем Насу, но зато превышала последнюю здоровенным своим сложением, легкостью и свободой движений, к тому же, как мы узнали несколько позже, легкость ее движений и явная ее любовь и уважение к своему здоровью обусловливались тем, что она считалась чемпионом бега Мервского оазиса. С ней Хма держался иначе, не так капризничал, не так был многословен, здесь он брал на здоровье и на решимость. Когда мы подошли поближе, он норовил ее уцапать, но девица выкатилась из его рук так ловко, что мы слышали, как он стукнул ладонями своими одна об другую.

— Верите ли вы слову старого бойца? — воскликнул он.

Девушка с удовольствием смотрела на свои босые ноги.

— Обедать мне пора итти. Я обед сама готовлю.

— Я вас спрашиваю,— верите?

— Чему?

— Тому, что я вам обещаю.

— А именно?

— Ну, тому самому...

— Вот вы мне уже неделю говорите, что откажетесь от женитьбы с Насу, а где же ваш отказ?

— Сегодня же... Нет, сегодня не могу.

— Ну вот, а лезете с ладонями!

— Сегодня у меня доклад перед ответственными товарищами из Москвы, завтра днем показ производства, а вечером... Что же, завтра вечером на ваших глазах я откажусь от Насу и от всего связанного с этим. Но вечером же вы должны содействовать тому, чтобы мои ладони не шлепались бесцельно в воздухе, мои ладони еще понадобятся республике, моими ладонями не нужно бросаться.

— Кто ими бросается, вы сами бросаетесь. Но вы утверждаете, что скажете на моих глазах?

— Утверждаю.

— Скажете: «Насу, я отказываюсь!»

— Да, и еще более резко.

Она впервые, наверное, посмотрела на него с уважением.

— Сопоставив эти факты, для меня будет понятно то доверие и то знание, которое видят у вас, Хма. Вы представились для меня в новом свете. Бегать вы не пробовали?

— Бегать?.. Как бегать?

— Для начала — на короткую дистанцию.

— Ах, так!.. Нет, не пробовал.

— Я вас научу. Это очень приятно, Хма.

— Я больше теоретик, особенно по такому делу, как бег.

— Итак, разработаем необходимые организационные меры. Когда и куда мне приходить завтра вечером, Хма?

— В девять вечера, к тумбе, возле которой умер Индус.

— В девять часов вечера, к тумбе, возле которой умер Индус? Буду. Пока!

— Пока!

3

Если бы мы сделали определенную целевую установку на злость, а не раскинули б свои мысли шире (собеседования с рабочими, расспросы, чтение кой-каких материалов), то, естественно, на другой день, при показе нам почти готового здания больницы совхоза и шелкомоталки «Кара-Чала», мы вынуждены были б признать достижения и достоинства Хма. Показывает он нам палаты и надписи на дверях, что вот, мол, здесь хирургическое отделение, а здесь — терапевтическое, а здесь — зубное или какое иное, а мы бы и ходи, как ослы, хлопая ушами. Нет, с нами так не было! Мы уже многое знали к тому моменту, когда повели нас по палатам и возле изразцовых печей. Честное слово, изразцовые! В Средней Азии стоят и красуются громаднейшие изразцовые печи, которые разве что для Мурманска годны. Знали мы уже, что Л. Н. Умакбеев все на своем горбе несет и преисполнен всевозможного рвения, что он-то и есть и технорук и управляющий, а Хма диаграммы да таблицы составляет вместе со своими родственниками. Знали мы, что Л. Н. Умакбеев необходим и важен для строительства и что с Умакбеевым необходимо обращаться осторожно. Но как тут обращаться осторожно, когда в силу его доброты и восторженности перед плановыми людьми произошла такая оказия,— и ума приложить некуда! Должно сказать и для пояснения кое-чего дальнейшего, кое-каких наших выводов,— что осмотр мы начинали с фронтона. Видим, на фронтоне вывеска странной и даже невозможной формы, нето напоминает кастрюлю, нето ложку. Удивились мы, а Л. Н. Умакбеев, указывая на Хма, говорит:

— Обратите внимание, блестящая мысль товарища Хма! Вывеска имеет форму ложки.

— Ложки,— согласились мы.

— А почему ложки — имеет право спросить нас всякий. Замечательный замысел! Крепчайший замысел, достойный нашей эпохи! Что есть ложка? Ложка есть культура для Средней Азии, так как здесь все едят пальцами. Ложка кроме того есть и эмблема лечения, так как через ложку текут в человека различные препараты. Я и сегодня без того целую ночь каялся, что не дал лесу для внутренней отделки, но теперь понял свое заблуждение!

— То-то...— пробормотал Хма.

— Признаюсь, признаюсь!.. Ловко насчет ложки-то!

— Ловко,— ответили мы, входя в вестибюль.

Лестница. А во всю площадку на лестнице диаграмма: туркмен с провалившимся носом в руке цифру держит: «70%».

— Это что, мол, такая за пакость? Что, мол, за гнусное обобщение и клевета?

Л. Н. Умакбеев молчит. Хма поясняет нам с презрением таким:

— Семьдесят процентов бытового сифилиса.

— Где?

— В нашем районе. Возможно и во всех окружающих, которые еще не обследованы.

— А в вашем районе кто обследовал?

— Так... Разные люди.

— Вы их фамилии нам сообщите?

Хма немного осекся. Не догадался он, что на осмотре этого плаката многое нами замышлено. Он думал,— ну, пройдут мимо плаката, разве что художника похвалят, а кому же в голову придет цифры проверять? Не предполагал он также, что для Л. Н. Умакбеева плакат этот, можно сказать, самое больное место было: не верил он, чтобы в Кара-Чалинском районе такой процент существовал. Да и вообще такой процент невозможен. Но из деликатности своей в споры он не входил: мало ли какие, дескать, бывают заблуждения у великих строителей. Услыхав наши разгоряченные возгласы, Л. Н. Умакбеев сказал:

— Возможна ошибка, но ведь должно и то понять, что диаграмма не закон, а есть штрих к закону, запятая. Вы самую мысль строительства больницы усвоили? Здесь, и на производственных совещаниях, и у меня в кабинете, и в Шелкотресте, дорогой товарищ Корнеплодов проводит блистательную мысль, подтверждая ее цифрами и фактами и цитатами из вождей. Он говорит: мы открываем больницу, и дальше, пока строятся и развертываются совхоз и фабрика, я даю вам здоровое и крепкое рабочее окружение, которое к тому времени будет излечено моей больницей и моим персоналом от всех заболеваний. Вот, возвращаюсь ко вчерашней ошибке: не давал я стройматериалу! А Хм клуб при больнице оборудует, и стройматериал необходим ему для сидений и для оборудования сцены. Рабочая сила вольется в наш совхоз и в нашу фабрику не только здоровая, но и веселая, и жизнерадостная, и культурно-поднятая, так как она перед тем будет пропущена не только через больницу, но и через кино и клуб!

— Блистательная мысль!— сказал я злорадно и с такой силой, что Хма и даже Л. Н. Умакбеев обеспокоились.— Как же и семьдесят процентов будут излечены?

— Постараемся,— ответил мне Хма.

— Блистательная мысль, перспективная! И семьдесят процентов эти пройдут через кино?

— Постараемся,— опять бормочет Хм.

— Вы что же, товарищ Корнеплодов, врач или отношение имели к врачам?

— Никакого отношения к врачам я не имел и врачом не был, но я помню лозунг вождя, что в здоровом теле здоровый дух, а в условиях Средней Азии тем более.

— Исходя из этой точки зрения, вы, товарищ Корнеплодов, считаете правильным подобное плакатное и диаграммное обвинение всего туркменского народа в семидесяти процентах? Для чего же вы считаете это обвинение правильным?

— Для оздоровления. Зачем и больницу строить!

— Согласен. А обеспечена ли эта больница, если вы осмеливаетесь повесить такой непроверенный плакат, обеспечена ли, спрашивает вас бригада, больница врачебной и медикаментной силой?

Л. Н. Умакбеев посмотрел на Хма в полном удивлении.

— Слушай, Хма, но ведь об этом-то мы и не подумали! А плакат вывесили.

Но как Л. Н. Умакбееву не хотелось обижать Хма и как было не

тяжело, но будучи парнем искренним (да и рад был удалить клевету на родной народ), то сказал он с некоторым напряжением присутствующему при нашем разговоре служителю:

— Снять немедленно плакат!

Мы, признаться, ожидали, что Хма пойдет на ссору и брань и будет защищать свою клевету, но Хма был хитрее. Он сказал:

— Снимите — до проверки.

Итак, отягощенные различными мыслями, всяк на свой лад, направились мы после осмотра больницы к шелкомотальному строительству с его не только невиданными, но и неожиданными темпами. Лессовая дорога к строительству была изрыта тракторами. Мы ждали шума и ругани. Ждали наконец тракторов. Народ должен же, наконец, повстречаться! Тишина. На громадные пространства вокруг нас простирались саженцы тутовых деревьев. Поднялись мы на пригорок. Несколько туземных кирпичных заводов, похожих на пирамиды, как я их понял по картинкам, дымились нехотя. Десятка два каменщиков да еще родственники Хма лениво бродили по постройке, которая возвышалась не больше двух метров над общим уровнем пространства.

— У вас ночью, что ли, работают?— спросил я.

Хма даже как-то обиделся язвительно.

— Зачем ночью? Ночью мы обыкновенно спим. Работают днем.

— А сейчас перерыв?

— Зачем перерыв? Сейчас-то и есть работа.

Обратился я тогда недоуменно к Л. Н. Умакбееву:

— Бригада, надо сознаться, действительно удивлена такими темпами! В чем тут дело?

— Так я же об'яснял в чем дело. Дело в больнице. С нее мы и решили начинать темпы. С неожиданного конца! С такого конца никто к строительству не подходил. Вот товарищ Корнеплодов вам может огласить прекрасную и дельную записку, которую он недавно составил и еще не успел переслать в трест. Там и цифрами доказано...

Спрашивает бригада у Хма:

— Жилищные условия для рабочих приблизительно здесь таковы же, как и у строительства больницы?

— Приблизительно.

— То есть отвратительные?

— А вы разве наблюдали?— спрашивает он с некоторой опаской.— Когда вы это успели?

— Да вот, пришлось. И пища такова же? Столовая есть? Нету? А много ли утекло за весну? Сорок три процента? А не преуменьшаете ли? А не шестьдесят семь процентов? Разве? Откуда мне известно? Да вот, пришлось! В докладе вашем, товарищ Корнеплодов, вы кидаете мысль, что чем дольше будет продолжаться развитие строительства шелкомотальной, тем полезнее и для шелководства и для республики. Мысль парадоксальная, но если вдуматься, то очень и очень ясная,— говорите вы. С одной стороны, благодаря больнице и здравоохранительным мерам профилактики мы выдвинем на фабрику исключительно бодрый человекоматериал, а с другой — подрастут тутовые саженцы, которые дадут пищу для коконов. Так? Поэтому вы и взяли лесоматериал из первого квартала и то, что у вас должно было б строиться в последнюю очередь, вы выдвинули в первую? А?

— Совершенно верно!— пробормотал Хма.— Но меня удивляет... ваш способ разговора! Установка и цифры верны...

— Вот и я тоже насчет разговора, резкости...— вставил было Л. Н. Умакбеев.

Я его отодвинул:

— С тобой мы будем особо, парень, разговаривать. Я разговор пустил исключительно для Хма... Итак, из первого квартала вы взяли лесоматериал и вообще материал для больницы, из второго квартала вы взяли и берете стройматериал из того количества, которое необходимо для постройки бараков для рабочих? Вы строите кресла для клуба, в то время как у рабочих нет столов и коек для спанья и шестьдесят семь процентов их покинуло строительство. Вы напишете: от жары! Вы свалите на продовольственные затруднения. Недостаток воды, может быть... Нет, гражданин, все теперь ясно! Станки для шелкомоталки доставлены, а где они стоят?

Л. Н. Умакбеев даже обиделся:

— Они стоят на месте. В специальном сарае.

— Простите, сарай сломан третьего дня.

— Как? А по чьему распоряжению?

— По моему,— ответил Хма мужественно и даже со злостью.— Мне понадобился лес, а для станков можно выстроить глиняные сараи.

— Как глиняные!— закричал Л. Н. Умакбеев.— В период дождей и глиняные! Они же заржавеют, Хма! Бесхозяйственность!

— Почистим кирпичом.

— Как кирпичом? рпичом чистят только самовары, да и то — глупые люди.

Мы с радостью наблюдали, что Л. Н. Умакбеев начал понемногу прозревать, но прозрение это необходимо было держать на известном под'еме, потому что в любую минуту Л. Н. Умакбеев мог прильнуть к цифрам и сметам, которые навалит перед ним Хма, и тогда опять закроются очи Умакбеева, да и кроме того даже сейчас, на наших глазах, после таких потрясений, которые он испытал, Л. Н. Умакбеев смотрел на Хма несколько с раскаянием, что возвысил голос и возмутился. Тогда я сказал Л. Н. Умакбееву то последнее, что я берег, и слова эти на него подействовали с жестокой силой. Он даже ровность свою потерял и немедленно же ушел.

— Я говорю вам, Умакбеев, как рабочий пастуху, которым вы являлись в вашем детстве и отрочестве и откуда вас выдвинули в строители. Мы с вами позорим те организации, которые послали нас переделать жизнь Средней Азии, вас — прикрепив, меня — косвенно. Я утверждаю, и вы убедитесь, что Хма — прохвост и мошенник, и убеждение это явится к вам сегодня не позже десяти часов вечера.

4

В связи с отпущенными сроками для окончательного просветления Л. Н. Умакбеева необходимо нам было форсировать события, и в форсировании этих событий мог нам помочь только один М. М. Медведев, наш приятель по бригаде, человек, награжденный умом комбинатора и весельчака Мы не могли итти по линии административной, так как Хма и его сподвижники всегда могли доказать, что отчетность первого квартала строительства в полном порядке и целости, а во второй квартал несколько сократилась, так как рабсила отхлынула на посевную хлопковую кампанию. Нам нужно было показать Л. Н. Умакбееву, что он-то и есть настоящий и честный руководитель строительства, а что Хма — трепач и жулик. Но как убедить человека, который, не в пример многим нашим строителям, думает, что делает не он, а другие за него, а он только вывеска от имени пролетариата и никуда не годный выдвиженец, которому пора вернуться к своим стадам и к своему пастушескому бичу? Трудность нашей просветительной работы заключалась еще и в том, что Хма был не просто жулик, а жулик убеж-

денный, жулик с просветительными линиями в своей душе, жулик, который думал, что он несет обогащение и под'ем хозяйства среднеазиатцам, жулик, который и родственников своих выписывал не так, чтобы черкнул «Приезжай, мол, Миша». Нет. Он Мишу этого в Мерве сначала по профсоюзной линии пустит, по собраниям его протащит, речи ему составит и куда-то в сторону на практику пошлет, а затем сам же и расхвалит: целевой работник! Вот мозги»! — и тогда только вытащит этого самого Мишу к себе на отличный оклад и на прекрасно организованное воровство.

Да, сказали мы, прав был изчи, следопыт Менгли-Мамед и верно раскусил Хму! Главное, что нас убивало в этом деле и почему мы должны были поступить с величайшей осторожностью: эта разновидность молчаливого жулика, называемого Хма, с его цифрами и докладами, и планами, и цитатами могла погубить высокоталантливого работника Л. Н. Умакбеева, потому что случись какое несчастье или всплыви недостатки, так Л. Н. Умакбеев на себя всю вину принять может.

Некоторые из нас предлагали немедленно направиться к представительству Шелкотреста в Мерв, с тем чтобы провести там кампанию по вскрытию мощей Хма, но я, как человек не сгибающийся и мало доверяющий нашему (по правде говоря) порядком обюрократившимся трестовикам, настаивал произвести вскрытие на месте, не щадя ни Хма, ни себя. Ну, говорил я, пусть мы скомпрометируем нашу поездку, пусть нас отзовут и дадут нам нагоняй наши организации, но польза все-таки для Л. Н. Умакбеева будет заключаться в том, что он будет на следующий раз более вдумчиво относиться к подобным Хма и их проектам.

М. Медведев лежал на койке в задумчивой позе и в зеленых трусах. Он так, лежал, слушал наши пререкания, а затем попросил слова.

Слово принадлежит товарищу М. М. Медведеву,— сказал я.

Я буду краток. Не знаю, как для вас, а для меня основным и решающим условием вскрытия Хма является его личность. Вот он утверждает, что он не врачебная сила и отношения к тому не имеет. Почему же он строит больницу? Почему же он кидается на каждом шагу терминами и, главное, почему он вывеску делает вроде ложки, и откуда такой больничный восторг в то время как нам известно, по всей истории революционной борьбы, что не больницы исцеляли классы, а коренная перестройка их всего быта. Итак, он не врач! Но в надежде на заведывание больницей у него имеются какие-то основания, что он обладает достаточным количеством знаний для того. Нет, здесь что-то неладно! Вы меня всегда упрекаете, товарищи, и правильно упрекаете, что я слишком много обращаю внимания на личную жизнь наших противников. Но по личной жизни зачастую мы рассматриваем его лицо. Что есть Хма по личной жизни, поскольку мы успели наблюдать? Он есть прохвост! История с Насу, которая еще не развязалась и остановилась сегодня на девяти часах, показывает нам истину моего утверждения. А то, что он понимает во врачебном деле, для меня доказывает еще одно обстоятельство. Перед нашим расставанием Хма сказал нам о желании своем пройти вместе с нами к станкам для шелкомотальной, так как, мол, он в этом деле не понимает, и посмотреть на месте, портятся станки или нет... Кстати, вон идет он через двор... Что же предлагаю я? Я предлагаю вам лечь всем в постель, почувствовать себя больными после обеда, а я вас буду выслушивать.

— Зачем же ты будешь нас выслушивать, Медведев?

— А затем я вас буду выслушивать, что есть врачебная струнка в Хма, иначе бы он об'являл себя специалистом по всем частям, а признал же он по станкам себя совершенно несведущим. Попробуем уловить струнку.

— Он мог подвох задумать со станками!

— Тем более нам веско не итти туда с ними. Пройдем в отдельности.

Растянулись мы попрямей и поболезненнее, а М. М. Медведев стал похаживать среди нас и постукивать нам по грудкам с видом помлекаря.

5

Шальное предложение М. М. Медведева имело совершенно неожиданный и чудной результат. Вот и говори после этого, что есть мошенники с холодным сердцем! Хотя здесь можно принять во внимание, что Хма предполагал тем вечером осуществить свой соблазнительный замысел насчет инструкторши, а сами знаете, кто пользовался среди женщин малым успехом, тот обман над девицей ценит в высокую цену, почему Хма и волновался и не держался крепко на руле своих мыслей, а хитрейший Медведев очень ловко проколол его камеру, и машина застопорила. Но вернемся к делу.

Входит Хма, деловито опираясь на клюку, осторожно притворяет дверь, как любивший показывать свою осторожность и вдумчивость, и вдруг пристально и недружелюбно осматривает те штуки, которые проделывает над нами М. М. Медведев. Недружелюбность на толстой и рыжей его морде быстро вырастает в презрение, и говорит он:

— Откуда у вас, товарищ рабочий, знахарские замашки?

— Это почему же знахарские?— с ловко деланым сокрушением отвечает ему М. М. Медведев.— Не знахарские, товарищ Хма, а диагноз ставлю!

Хма возмутился так, как мы его всеми предыдущими упреками и в сотой доле возмутить не могли. Покраснел неожиданно, клок у него на лбу вспотел, клюку отставил:

— Диагноз?

— Да, диагноз.

— Вы утверждаете, что таким путем исследуют и ставят диагноз?

— Утверждаю.

— Да знаете ли вы, что такое диагноз?

— Знаю!

Хма завопил и кулаки поднял.

— Чорта вы знаете, а не диагноз! Диагноз это в медицине всё! На диагнозе зиждется и цветет слава врачей самого мирового свойства. Благодаря удачному диагнозу врач может подняться и может быть пропечатан во всех медицинских журналах нашей планеты. А со второго диагноза он уже станет чудодеем и прорицателем. А вы стучите пальцем по груди и хотите поставить диагноз. Инструменты надо иметь и практику!— Хма взволнованно пробежался по комнате, посмотрел в окно и, должно быть, думая, что перед ним больные, которые балуются, а не рабочая бригада, заговорил:— Вот я раз поставил диагноз, так это был диагноз. Фельдшером я околачивался в военном госпитале... в Крыму... Лежало у нас в отдельной палате и страдало некоторое виднейшее лицо. Все врачи его обследовали и щупали. Да,— говорит это виднейшее лицо,— нестерпимые боли в желудке, а откуда и почему: неизвестно! А, между тем, виднейшему этому лицу через две недели нужно в бой войска вести. Естественно, что диагноз поставить необходимо в самом скорейшем времени. Профессора и врачи в отчаянии. Стою я ночью на дежурстве, мучается мой больной, многочисленные стоны наполняют комнату, весна врывается в окна. Больной распахнулся в жару, и смотрю я на его живот, и думается мне, что очень странной формы у больного опухоль, от вечерних теней, соприкасающихся с весенним дуновением листьев, имеет вид как бы ложки. Да, именно ложки, а не чего-либо иного! В пот меня и в ужас ударило. Разбудил я его и

спрашиваю: «Вы, мол, извините за нескромный вопрос, как-нибудь ложки глубоко не засовывали?» Смотрит тот на меня, и даже обида в лице: такое значительное лицо и вдруг — ложка! «Я, я?— говорит он было мне в негодовании, но вдруг скис, опустил свою знаменитую голову и признался:— Точно,— говорит,— выпил три недели назад и что-то усиленно ложкой при закуске в горло пихал, огурцы то ли были, маринад ли какой — не помню. И еще с утра першило у меня в горле... А в чем дело?»— «Так вот,— говорю я ему,— и проглотили вы тогда ложку, и надо вам ту ложку ;скребать!» Важное лицо так и осел. Пришли профессора и ассистенты, к им прямо в упор: «Режьте меня скорей! По диагнозу старшего фельдшера Клементьева,— режьте!— у меня во внутренностях ложка!» Те меня было на-смех, но резать больного все равно надо. Взрезали. И как бы вы предполагали? Лежит внутри важного лица обыкновенная столовая ложка. Профессора даже плюнули, в таком, дескать, глупом диагнозе один и фельдшер Клементьев может разобраться, а важное лицо дарит мне ложку и сумму и говорит...— Здесь товарищ Х. М. Корнеплодов сконфузился, так как понял, что сболтнул лишнее, и остальную речь свою скомкал, сжал, и с трудом смогли мы разобрать ее конец:— Важное лицо, товарищи... был... академик Лазарев, тот, который известную Курскую аномалию нашел...

— Извините,— прервал я его,— может быть, академик Лазарев и командовал вооруженными силами на юге Крыма, я его анкету не читал. Но вот скажите, почему вы себя, товарищ Корнеплодов, два раза фельдшером назвали и фамилию свою вскрыли, которая есть у вас Клементьев?

— Не так обстоит дело... ослышались вы или выдумали. Клементьев! Что это за важная такая фамилия! Я рожден и буду жить как Корнеплодов и иначе не умру...

Страх выражался на его лице, товарищи! Хма осекся. На какой ерунде осекся, небось и самому стало стыдно! Однако трусости он ни словами, ни жестами не выявил, сделал налево кругом, забыл и о том, что к станкам нужно нас вести, и поспешно выскочил из нашей комнаты. Хохотали мы тогда вдоволь.

6

Приближалась темная среднеазиатская ночь. Деревья не шелохнулись. Птиц там нету, и вообще лес там, как в музее, спокойный и пыльный. Беседовали мы на веранде у товарища Л. Н. Умакбеева. Был здесь кроме всех прочих и Хма. Между различными осколками разговора спросил я у товарища Насу,— если помните, смирной сестры Умакбеева,— что мол, такое за тумба Индуса, где она находится и почему так непонятно прозывается?

Она мне отвечает, что тумба Индуса в шагах пятидесяти от жилища, возле карагача и почтово-телеграфного отделения, собой беленая, и прозывается так странно оттого, что года полтора или больше приехал в Туркмению за покупками индусский купец. Желал он купить золотистых каракульчевых шкурок, которые в высокой цене ходят на международном рынке — до тысячи рублей! Редкость! Обещали ему найти эти золотистые шкурки в Мервском районе,— здесь неподалеку есть каракулеводческий совхоз Госторга. Ну-с, ночевать тот Индус расположился под карагачем, возле беленой и незаметной тумбы, которая до его приезда не имела еще своего названия. Расположился Индус, и вдруг захотелось ему на ночку какой-нибудь фрукты покушать, а в эту пору у нас от всех осенних фруктов уцелевает одна только чарджуйская дыня. «Ах, дыня!— воскликнул Индус.— Отлично! Несите дыню!» Приносят ему дыню. Он ее разрезал, с некоторой даже брезгливостью откусил небольшой кусочек, пожевал и понял. Но как понял! С'ел одну, говорит торопливо так: «Подавай еще!» Ему —

вторую. Охминул Индус вторую. «Еще!» — кричит. Местная власть, естественно, обеспокоилась и возражает. «У нас,— говорят,— никто больше двух дынь не с'едал, повремените малость, гражданин Индус!» А тот не вникает, орет: «Давай дыни!» И с'ел он, не отставая от тарелки, шесть дынь, вздохнул так легко и свободно, взглянул веселыми глазами на мир и тотчас же умер. Очень тогда на чарджуйские дыни Госторг обижался: пусть бы, дескать, приобрел шкурки, а затем его и дынями кормить. Вот почему тумба эта носит название Индуса.

Девушка Насу была обстоятельная, любила местные истории рассказывать. Начала что-то еще, но здесь услыхали мы все взволнованный голос Л. Н. Умакбеева:

— Что ты, Хма, как это возможно? Да никак невозможно, Хма!— оборачивается к нам строитель и говорит: — Он же мне отставку только что подал, товарищи! Нельзя так срывать строительство в самом начале его деятельности! Мало ли как я тебя обижал, Хма, надо извинять людей. Да, я погорячился, покричал, может быть, но ведь я же в сутки двадцать часов работаю!..

Хма держит обеими руками бумажку, рыжую голову склонил и говорит как диктует, а у самого, стервеца, такая блаженная и радостная морда, так как он понимает, что строитель теперь от него никак не откажется.

— Извините меня, товарищи, я обязан был понять, что давно и чересчур долго занимаю место, которое необходимо занять молодым и более крепким нервам. Да, я износился на работе революции настолько, что фамилию свою стал уже путать и вместо присвоенной мне предками—рабочими уральских заводов — Корнеплодов, произношу Клементьев. Стыдно при такой ослабленности держать в руках огромную массу строительства. Кроме того раздаются голоса: «Женишься, в родственники пролазишь, да и сам родственников насадил». Да, я женюсь и не отказываюсь...

Л. Н. Умакбеев ужасно сконфузился, побледнел, засуетился, пыл его утренний пропал, мне его, признаться, даже жалко стало.

Говорит это Л. Н. Умакбеев:

— Товарищи, Хма нам пустить никак невозможно, он необыкновенно ученый и плодовитый человек! А какие горизонты! Какие у него перспективные планы!

Смотрю я это на часы, а время-то к девяти приближается, и страшно мне интересно, как это, только что подтвердив свои намерения о женитьбе, Хма сделает так, что от этой женитьбы откажется. Думаю я: должно ему сейчас уйти, и потому он изобразит или больного из себя или такого обиженного, который ни со строителями, ни с бригадой никогда не примирится. Так оно и произошло. Взял Хма свою клюку, низко всем поклонился и с склоненной рыжей своей головой вышел.

Любопытнее всего, что нареченная его невеста, Насу, по молодости лет своих полагавшая, что строительство действительно пострадает и даже остановится, если оттуда уйдет один человек, сидела ни жива, ни мертва и посмотрела вслед Хма таким взглядом, что я и ей счел необходимым сказать приблизительно те же слова, которые сказал ее брату утром. А брат ее был тоже страшно потрясен уходом Хма, топотался все на месте, вздыхал, норовил выйти вслед, но и гордость тоже ему мешала.

Взял я его за руку и сказал:

— Обещали мы вам к десяти вечера вскрыть полностью Хма и обещанное выполним! Не думайте,— строительство не остановится, и Хма не герой, не гений, а вообще Хма, и больше нет ему названия. Таких Хма у нас если не много, то во всяком случае имеются выгнанные, и ничего, как видите, не пропали. И не пропадем! Идем на операцию!

Идем мы с ними, то есть с братом и сестрой, и противно у нас в думах. Экая нелепость, думаем мы, куда мы их ведем! Подслушивать, как рыжий и старый дурак будет очки втирать молодой девице. Ну, допустим, он ей вотрет под тем или иным предлогом. С которой стороны это интересно общественности? Что, вам нет другого дела, московские пролетарии? Но, с другой стороны, надеялись мы и на выдумку М. М. Медведева, успех которой всегда нас сопровождал, и предполагали еще, что если ничего не выйдет из задуманного нами, то мы просто развеем огорчения сестры и брата в легкой вечерней прогулке вдоль арыка.

Шагаем мы прямо к тумбе Индуса и вдруг видим: стоит эта тумба, белёная и все как следует, а на тумбе той сидит в легкой наклоненной позе девушка и в точности как Насу, так что если б не имел я возможности прикоснуться к ней рукой, то мне бы нельзя было б подумать о ком-либо другом. И сама Насу вздрогнула и говорит мне тихонько:

— Но ведь она, товарищ, в моем праздничном платье!

Делает Насу два тихоньких шага и возвращается ко мне вся дрожа.

— Да, это я, товарищ!

Я, как известно, человек спокойствием обеспеченный, я ей говорю:

— Здесь два варианта! Или это вы, но так как вы около меня, то значит там не вы. Или это воровка, что мало вероятно, потому что рядом с нею стоит сам Хма, или это чучело, обнаряженное в ваше праздничное платье.

Насу шепчет мне:

— Кому же интересно обряжать чучело в мое платье, и почему будет стоять возле моего чучела Хма? Он человек старый и не шалун.

Поворачиваю я ее лицо несколько в сторону и говорю:

— Видите ли вы по ту сторону карагача, в кустах белеется платье?

— Вижу,— отвечает Насу.

— Так вот это и есть та причина, по которой обнаряжено в платье чучело и стоит подле него сам Хма!?

Л. Н. Умакбеев страшно возмутился и хотел даже уйти.

— Никогда я со стороны нашего строителя таких глупостей ожидать не мог! Если бы хоть с какими высокими целями, а то...

— Вот в том-то и дело,— говорю я ему,— что у вашего Хма никогда никаких высоких целей быть не может. Он Хма, и больше никаких.

Тем временем я отделился от нашей компании, которая неслышно хохотала над зрелищем, развертывающимся перед нею, и я перешел обходом на другую сторону полянки, к кустикам, возле которых сидела простодушная инструкторша по шелководству А. Д. Сапарова. Подошел к ней, видимо, несколько мгновений до меня и Хма, так как я услышал его голос:

— Итак, я говорю, а вы немедленно после моих слов направляетесь на лесоматериалы и будете мне во всем консолидированы!

Простодушный инструктор, замученный, видимо, всеми сложными приготовлениями и тем, что его заставили сидеть и подслушивать в кустах, сказал убитым и усталым голосом:

— Да, консолидируюсь!

Возвращаюсь я к своим ребятам, передаю слова М. М. Медведеву, а тот даже подпрыгнул от радости. Шепчет он Насу:

— Вам, при вашей гордости и нежности и неопытности жизненной, слушать ту ерунду, которую скажет Хма, совершенно и нет расчета и нет удовольствия. Лучше вы поступите, если послушаетесь меня, пойдете тихонько к лесоматериалам, до них отсюда шагов шестьдесят, прямой тропкой, садитесь там на видное место и примите приблизительно ту же позу,

которую занимает здесь ваше чучело. Говорить вам и ненужно и не придется. Остальное разовьется, повидимому, в такой плоскости, в какой проектирую я.

Насу отлично сделала, что послушалась предложения М. М. Медведева, потому что, спустя несколько секунд после ее ухода, Хма заговорил медленно и громко, размахивая руками и наклонясь в презрительной позе к чучелу:

— Я удивляюсь вашей навязчивости, Насу! Неужели вы думаете, что я способен жениться на вас только потому, что вы сестра управстроительством? Всеми признано, что он дурак, а вы еще более заведомая дура! Я торжественно отказываюсь от вас.

Надо полагать, что простодушный инструктор по шелководству А. Д. Сапарова вполне удовлетворилась и вполне поверила таковому об'яснению, так как, не дослушав речи Хма и ответной речи чучелы, немедленно направилась быстрым гимнастическим шагом к лесоматериалам. Я прошу вас, товарищи, представить ночь, еле освещенную скромной луной, горы горбылей и досок, горы кирпича, и девушка приближается к ним, с тем чтобы выслушать окончательные слова о любви и, может быть, свадьбе. И вдруг перед нею на горбылях сидит в сгорбленной позе та невеста, от которой только что отказался Хма.

Не забудьте, что девушка, товарищи, очень любит свое здоровье и верит в свой гимнастический шаг и в то, что ее в Мервском оазисе никто в беге обогнать не может. Следовательно, она должна думать, что или ее обогнали, или она бредит, то есть, иными словами, она больна. Естественно, девушка встревожилась и поспешила подойти поближе. Да, она увидала скорбное лицо Насу! Повторяю вам, что А. Д. Сапарова и насморком даже во всю свою жизнь не болела, не то что чем-либо более продолжительным, а тут сразу же начинается бред. Она отскочила и помчалась в другую сторону, к тумбе. Навстречу ей шел вполне удовлетворенный своей речью и своей выдумкой Хма.

— Где вы оставили Насу?— спросила его торопливо инструктор.

— Возле тумбы Индуса,— отвечал ей Хма.— А в чем дело?

Но она его оттолкнула и помчалась к тумбе. Ну, ясно, она бредит. На тумбе сидит Насу. Явление Насу на тумбе встревожило инструктора необыкновенно. Инструктор так верил и в свои ноги и в свое здоровье. И не взглянув в лицо сидящей на тумбе, инструктор кинулся обратно. Вот опять перед ней лесоматериалы, а вот сидит та женщина!

А. Д. Сапарова подбежала к Насу вплотную, уткнулась прямо в губы. Да нет же, товарищи, она дышит спокойненько и медленно. А. Д. Сапарова побежала обратно. К тумбе! За пятнадцать шагов опять рассмотрела она встревоженными и обозленными глазами сидящую на тумбе Насу. Ясно, чемпион бега Мервского оазиса болен. И опасно болен! Ей необходимо проверить и состояние своих мускулов и душевное состояние. Как же она может проверить?

Да, товарищи, много раз я удивлялся выдумкам М. М. Медведева, но на этот раз мое удивление далеко превзошло все предыдущие. Все произошло приблизительно так, как он предполагал. А. Д. Сапарова совершенно правильно подумала, что виновником нарушенного ее здоровья является Хма и проверить здоровье можно только на нем, а вышеобозначенный Хма стоял в полном недоумении, приблизительно в половине дороги между складом лесоматериалов и тумбой Индуса. Здесь же остановились мы. Смотрит он на А. Д. Сапарову, которая пронеслась перед ним дикими прыжками один раз, второй, третий, а затем восклицает:

— Да вы больны, товарищ Сапарова!

Большее оскорбление ей нанести вряд ли возможно. Остановилась она против него, размахнулась, да как двинет в челюсть! Хма качнулся, привстал на цыпочки, словно бы для того, чтобы разглядеть, откуда и почему принеслась к нему такая буря, и в это время А. Д. Сапарова — два!— ему под челюсть. Этого второго числительного Хма не вынес, вздохнул он глубоко-глубоко и рухнул.

— Вставай!— кричит над ним А. Д. Сапарова.— Вставай!

— Я-то встану,— отвечает ей Хма,— но вы мне об'ясните, отчего вы заболели?

Та ему,— только он успел встать на колени,— в нос! Хма навзничь. Стоит над ним А. Д. Сапарова и сама себя, видимо, молит:

— Да помолчи ты, рыжий дурак, о болезнях!

А тот встанет на коленки, морду утрет и рот разинет только:

— Вам лечиться...

Она его опять в глаз или рот, Хма кубарем. Наконец растянулся Хма, ногами заболтал и, подумав, что перед ним сумасшедшая, как завопит:

— Караул, режут!

Здесь мы уже не могли вынести и с хохотом вывалились на тропинку.

— Чучело!!!— чучело!!!— кричит М. М. Медведев девице-инструктору, та за голову, отошла шага три, проплакалась, а затем вместе с нами начала хохотать и над собой и над Хмой.

Легли мы спать веселые и довольные: Хма уничтожен по всем фронтам, Л. Н. Умакбеев целиком и вообще понял его ценность; нам пора уезжать дальше, по прямым нашим обязанностям.

Лежу я это только ночью и слышу, что какая-то конфузная тяжесть сидит у меня в ногах. Открываю глаза — так и есть, Л. Н. Умакбеев. Трогает он меня легко за руку и говорит спокойно, но умоляюще:

— Завтра к вам утром Хма явится просить, что ввиду поданной им отставки жить ему здесь не к чему, не можете ли вы его с собой в город захватить. Ехать он не хочет, я его знаю, а придет, чтобы поломаться, чтобы я его поупрашивал на ваших глазах остаться. А я всю ночь спать не буду и засну перед самым вашим от'ездом, так что провожать вас не приду, а вы сделайте мне уважение, как вам ни противно, захватите его! Увезите его! Ткните его куда-нибудь в городе! Я одичал здесь в глухой провинции. Я отупел от недосыпанья, от расчетов, от цифр, от циркуляров и ведомостей, анкет. Я могу с ним примириться! Или убить его!! Вот сейчас, перед приходом сюда, сел я проверять счета, и подвернулся мне под руки его отчет. Читаю, знаю, что врет, а оторваться не могу! Убедительный и прилипчивый гад. В цифры верит. Как верит в цифры и статистику!!.

Успокоил я его... Утром, точно, приходит Хма, груб с нами нестерпимо, и в самой грубой форме предлагает, чтобы мы его захватили с собой в город. Я ему говорю:

— Пожалуйста!— И не успел он мигнуть, как мы его усадили рядком, чухнули на коней и помчались.

В городе он исчез, а у нас мотня да разговоры, и попали мы в шелкотрестовское представительство дня через три. А там над завконторой представительства висит какой-то очкастый в портфеле и тянет:

— Редчайший человек к нам явился. Некто Х. М. Корнеплодов. Проекты! Цифры, скажу я вам! Мы ведь в Чарджуе намереваемся построить социалистический город, так для того города он принес нам неметку клиники. Мы, знаете, обалдели.

— А ложка на фронтоне есть?— спросил я.

— Вот именно, ложка,— воодушевился очкастый,— вы совершенно правильно заметили, и ложка на фронтоне не забыта. А вы знаете, что такое

ложка? Ложка, милый мой товарищ, символ всеобщего лечения. Так сказать, здравоохранение целиком и вообще. Ложка мудрое и дальновидное слово...

— Ложка?— спросили мы его со всей присущей нам яростью.

Вышеозначенный товарищ даже за портфель уцепился и в глаза нам так несколько оторопело смотрит. Думает, не подвох ли тут какой или его сбить на что такое сомнительное хотят...

— Да,— говорит, сомневаясь в своих словах,— за ложку я стою твердо.

— Не X. М. Корнеплодов развивал вам такие идеи насчет ложки?

— Да,— говорит,— насчет ложки Корнеплодов развивал, хотя мы его зовем несколько нарицательно: Хм... Хм — значит...

— Мы знаем, что значит!

Ну, должен сказать, что здесь-то мы эту самую Хм и прищемили. Но как прищемили! Мы ее через газеты сначала провели, показали в газетах, затем разработали на собраниях, каждое пятнышко на коже в лупу рассмотрели, рожу пропечатали вплоть до плакатов, а затем — суд! Всенародный, всетуркменский и всесреднеазиатский суд! Сначала в театре, а затем, за невместимостью, наружу выперли, под открытое небо. Жарынь, полный разлив Аму-Дарьи, река может новый, строящийся город в доску смыть, а народ стоит на процессе — и не шелохнется. Прекрасным и достойным образом был ущемлен Хм!..

Не спорю: смысл изложения моей истории был несколько даже в классическом роде, и некоторый из начинающих писателей упрекнул меня, что я очень, говорит, на какого-то Опискина похож и текстуально даже, если сравнить. Не знаю, про Опискина не читал, не пришлось еще. Что же касается текстуально, то этим обстоятельством я даже горжусь. Пока я сам не превратился в текстуальность и не привожусь в цитатах, то мне приводить других не только не совестно, но даже следует. Один ум хорошо, а с соответствующими цитатами уже получается несколько умов, а несколько умов есть уже твердость, уверенность, красота и целостность жизни во всех ее направлениях. Ставлю штемпель, подпись: «М. Синицын», и больше ни звука. А, вы уже рады упрекнуть? Сдрефил, мол, старикашка, старый партизан и красногвардеец! Отделался шутками и текстуальностью — да в кусты! Нет, слушайте, я вам расскажу широкое и вполне героическое полотно, которое мы для кратости назовем «Компромисс Наиб-хана».

В совхозе Кабиль, неподалеку от афганской границы жил и работал малоизвестный кому пастух Хаям Кеноэ...

От Всев. Иванова. В ближайшем времени мы напечатаем повесть в диалогической форме, написанную со слов и при ближайшем участии бригадира М. Синицына «Компромисс Наиб-хана». Этой повестью бригадир М. М. Синицын закончил свои рассказы, которые он нам передавал в лодке, влекомой стремительным течением Аму-Дарьи. Я пользуюсь случаем поблагодарить товарища М. Синицына за его любезность, выразившуюся в разрешении напечатать его рассказы, изложенные, может быть, мною не всегда точно, не так правильно, как он говорил, но с уважением к принципам его повестей, чего он и сам не отрицает.

Я позволю себе также выразить благодарность моим товарищам по путешествию: Первой писательской бригаде Гиза т. т. Г. Санникову, Л. Леонову, Вл. Луговскому, Ник. Тихонову и П. Павленко, много помогшим мне своими советами и дополнениями к тем событиям, которые излагал товарищ М. Синицын. Пусть каждая весна будет для нас так же великолепна, как была она в 1930 году на Аму-Дарье! Привет!

Пустыня

(Повесть)

П. Павленко

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Аму-Дарья прорвала ночью свой левый берег у кишлака Моор и ринулась, ломая тугайные заросли, в пустыню. Инженеру Манасеину [1], партия которого, разбитая малярией, остановилась в кишлаке Ильджик, напротив Моора, позвонили о том сейчас же. Он еще не ложился, откинул книгу и выслушал телефонограмму с видом человека, принимающего свой приговор.

Домики его отряда стояли в береговом саду, отгороженные один от другого подвесными заборчиками камышевых цыновок. Была ночь, и за каждой цыновкой шевелилась жизнь. Из-за реки, с левого ее берега, сквозь дикий шакалий вой поднимался растущий шум, напоминая далекую грозу. Впрочем, это могла рычать за камышевыми занавесками чья-нибудь взволнованная луной и бессоницей грудь.

По дороге за садом бежали люди. Хрустя раздраженными челюстями, Манасеин вышел к берегу и оглядел реку. На отливающей от берега волне, все норовя стать поперек течения, метались каики. Над Моором клубились неясные низкие тучи.

— Сволочь какая,— сказал инженер в темноту, реке, может быть, самому событию,— Хилков [2], позвать Нефеса!

Темнота, подобострастно глядящая за ним, спокойно ответила:

— Иду.

Манасеин вернулся в комнату и стал перечитывать телефонограмму с тем удивленным выражением лица, которое предполагает, что читаемое имеет несколько смыслов, и нужна особая сообразительность, чтобы остановиться на смысле, единственно нужном.

Телефонограмма приказывала немедленно перебросить партию на левый берег и ему — Манасеину — принять главное руководство по ликвидации бедствия,— пройти трассой разлива до точки последней воды, исследовать характер движения потока и принять все необходимые меры по охране пастбища в районе бедствия. Далее подчеркивалось, что так как в его распоряжении одна из опытнейших партий, то он, несомненно, использует обстановку для целей чисто научных.

[1] Начальник исследовательской партии, сорока двух лет, окончил два учебных заведения — в России и во Франции.

[2] Техник, о нем будет сказано ниже.

Манасеин только что сдал в эксплоатацию построенный им Курлук-кудукский канал. Партия была отпущена на лечение и в отпуска, он сидел в Ильджике с двумя техниками и несколькими канцелярскими работниками, заканчивая последний отчет.

Никакого готового отряда у него не было, и жеманная наивность телефонограммы сводила его с ума. Он разглаживал листок с записанным текстом, и стаканы дрожали от прикосновения его пальцев к скатерти.

Умом он понимал эту ложную фразу о готовом отряде, она должна бы звучать очень лестно, как уверенность, что при инженере Манасеине всегда все испытано, все на струне, все готово к любой внезапной работе, но беснующееся сердце не хотело признать нервного комплимента перепуганного начальника.

По саду, волоча за собой шаги, голоса, беспокойство, пробежал Хилков.

За занавесками, у вспыхнувших ночников, хором запели комары. В комнату, не прикрывая за собой двери, быстрыми торжественными шагами вошел туркмен Ходжа-Нефес[1], и черный пар ночи, ворвавшийся за ним, пронесся по штукатурке стен клубами волнующихся теней. Нефес — проводник партии — работал с Манасеиным пятый год на правах советника, бессменного начальника транспортов, драгомана и квартирмейстера.

Тридцать лет водя инженеров по пустыне, он хорошо знал все их проекты и умел говорить по-русски серьезными уважительными словами.

— Аму пробилась в пустыню,— сказал ему Манасеин.— Нас посылают проследить за водой. Благодарю за доверие, сволочи!

Нефес смотрел ему в лицо, не мигая.

— Подлецы! Разве нет больше людей? Что я — статистик, агент Госстраха? Этот прорыв — случайность. Тут ничего не поделаешь.

Оба они были громадны, тяжелоплечи, стройны. Черная борода, отбритая с подбородка к шее так, что подбородок был чист, и подстриженные снизу усы, открывавшие углы губ, делали лицо Нефеса очень молодым и всегда немного насмешливым. Будучи моложе его по годам, Манасеин выглядел стариком. Он носил крупные казацкие усы и зачесывал назад черные блестящие волосы. Виски его были белы и тусклы, как затертая руками вороненая сталь. Пять последних лет он, не останавливаясь, строил воду. За удивительное упрямство, волю и за ревущий казацкий голос ему дали туркмены прозвище Делибая — сумасшедшего барина. Оно стало его вторым именем.

— Надо итти, Делибай,— сказал Нефес.

— Зачем? Проследить воду и записать убытки черводаров? Посылали бы молодежь.

— Ты Делибай и тебя все знают. Тебя и вода боится,— сказал Нефес.

— А с кем пойдете, Александр Платоныч? У нас же — ну, посмотрите — никого нет,— сказал техник Хилков.— Кто же пойдет? Одни бабы остались. Вот полюбуйтесь!

Желтолицые, постаревшие у костров и в палатках, пораженные пендинской язвой, ожженные солнцем, похожие на ожиревших мальчиков, они уже толпились испуганной группой у раскрытой двери,— жены, сестры, сотрудницы,— и глаза их спрашивали о причинах ночной тревоги.

Был Манасеин страшного казацкого рода, за которым предполагается в человеке не злоба, а ненависть. Такие люди не злятся, а ненавидят, и это особенно ощущается, когда они почему-либо, вдруг, ненужно, без всякого смысла выпрямляются во всю свою диковинную величину и замирают

[1] Известный проводник. О нем есть у многих путешественников по Кара-Кумам. Член Туркменцика двух созывов.

в напряжении, до конца растягивающем позвоночник. Их слова подымаются тогда тоже во весь свой рост.

— Бабы? — произнес он медленно и сквозь зубы.— Отлично, превосходно! Что ж такое, что бабы? Говоришь, нет никого? А?

Хилков махнул рукой, и лица у дверей погрузились в темноту, сразу сделав комнату тише и значительнее.

В наступившей неожиданно тишине пронесся крик множества птиц, в смятении покидающих левый берег.

— Надо итти,— сказал Нефес.— Тебе какая-нибудь судьба будет, Делибай, Унгуз увидишь.

Манасеин вышел в сад, и Нефес последовал за ним. Ночь, лучистая, как голубой полдень, взвивалась над садами Ильджика.

Зеленовато-белым туманом, клубящимся из земли, стояли деревья, чередуясь с тенями, всюду разбросанными в страшном обилии и беспорядке. О тени, шагая взад и вперед, все время глазами спотыкался и оттого еще более нервничал Манасеин.

— Переправляйся на левый берег,— неожиданно сказал он Нефесу,— разбуди техника Максимова [1] и валяй с ним.

— Хилков! Поднять людей! Собрать продовольствие!

У Манасеина был свой план — скорее выбраться из Ильджика и пройти через Кара-Кумы до Саракамышской впадины, до сухой котловины некогда бывшего здесь озера, и, держась старых русел Кунь-Дарьи, добраться до дельты Аму, до впадения ее в Аральское море.

Таясь от всех, он двадцать лет мечтал о переводе Аму-Дарьи из Арала в Каспий. Этот проект волновал его, как истинный смысл и задача собственной жизни, как большое и единственное счастье. Он начал думать о строительстве реалистом. В годы студенчества он удивил самого себя упорством, с каким изучал Азию, а инженером стал единственным в своем роде знатоком пустыни, ее людей, ее экономики, ее будущего. В революцию переводом Аму в Каспий занялись выше,— он молчал. Искали людей для этого — он удалился строить арыки. Его назначили — он предпочел скромное строительство Курлук-Кудука и выстроил канал, опровергнув все расчеты и сметы непонятными своими темпами и неизвестно откуда берущейся бережливостью.

Пока счетоводы составляли отчет, он отчитывался в Ильджике перед своей жизнью, потому что в кармане его лежала бумага — пройти с партией к дельте и начать работы. Жизнь его была организована жестоко, скупо, смело. Он хотел перевести реку, а вместе с ней и всю страну, из одного моря в другое.

2

Фазли Ахмедов [2], охотник, шел из пустыни в Моор. Ночь была легкой, лунной, и аулы пели на много верст вокруг. Не свет ли самой луны, плавающей в воздухе, не тишина ли ночи, развернутой так широко и просто над жаркой и суетливой жизнью аулов, не усталость ли, счастливая, как детство, которое одно умеет восторженно утомляться и в утомлении находить радость своего роста, всегда медлительного, всегда отстающего от надежд,— свалили Фазли у старых башен разрушенной крепости? Он

[1] Техник выпуска 22 года, очень увлекающийся, но слабохарактерный и нервный человек.

[2] Редкий тип в Туркмении охотника-профессионала. Это ремесло наибеднейших возможностей. Погиб в катастрофе, описанной ниже.

взобрался на самый верхний помост и долго пел и бормотал, глядя на реку, на аул, на луну. Давно уже он не чувствовал себя таким счастливым, крепким и дельным человеком. Потом он завернулся в халат и заснул...

Грохот и крики будили его долго, но он спал раздраженным упрямым сном, пока ему не сделалось страшно — и он закричал еще во сне, не открывая глаз — и с земли ответили на его вопль. Его голос получил многократное эхо. Он кричал — и крик множился. Он вскочил и увидел, что аул плывет в густом гремящем тумане. Туман стучался в ноги его башни — туманной и легкой казалась в ночном свете вода.

Он ничего не понял, но закричал долгим криком, ощутив в нем потребность до головокружения.

Когда он умолкал, люди снизу, из воды, поднимали вой:

— Где ты, где? — кричали они.— Откликнись, где ты?

И он кричал, чтобы восстановить молчание, потому что голоса пугали его. Он не хотел, он боялся в них вслушиваться, их узнавать. Он хотел заглушить все вопли своим собственным голосом и, глядя на луну, на ее полный летящий свет, на легкий быстрый воздух до конца развернувшейся ночи — он извергал из себя острый вой, каким изредка умеют владеть перед гибелью большие дикие птицы.

И на его вопль поплыли Куллук Хаджаев, секретарь комсомольской ячейки, и двое каичников. Они держались за остатки каика и, превозмогая течение, держали путь к башне.

Аул несло прочь. Люди, верблюды, кибитки, шакалы мчались в пустыню, захлестнутые водой.

Куллук Хаджаев[1] переезжал реку, возвращаясь с собрания. Река сломала берег и прыгнула влево, когда они пересекли ее на три четверти, и она внесла их в улицы, стукнула об дома, смешала с грязью и мусором и поволокла на остатках каика прочь.

Фазли помог взобраться трем людям на свой вопленный пост. Снизу уже кричали о голосе:

— Где ты, где? Кто ты, кричащий, кричи!.. Дай голос!

И они закричали втроем. Зачем? Там, внизу, умирали спокойнее. Человеческий голос был голосом жизни. Их вопль слышали отовсюду — верблюды случайного каравана, спавшие на аульной площади, держались их крика, и многие люди, уцепившись за животных, достигли ступеней башни.

Переправившись через реку выше прорыва, Нефес достиг лишь холмов Чили, где стояли чобаньи кибитки. Моор был от него ниже в четырех километрах.

Стада были уже в ходу, подручные вертелись на конях, чолуки и сучи складывали кибитки. Вернувшись на свою лодку, Нефес спустился ниже, почти до самой башни. Он слышал вопли с нее и крикнул, каково положение, но ему не ответили. Тогда он выгреб против течения километра два и переправился на свой берег.

Хилков ждал его, трясясь и ругаясь, у самой воды.

Каики!— крикнул Нефес и побежал в сад. На бегу он обернулся, раскрыл глаза, чтобы найти Хилкова — увидел: было уже утро, рассвет, первое солнце, туманы — и крикнул еще раз, с привизгом, по шакальи:

— Каики! Каики!..

[1] Умер вскоре после описываемых событий от разрыва сердца. Подавал большие надежды, как прекрасный партийный организатор.

3

— Он мне говорил об Унгузе,— сказал Манасеин, отправив Нефеса в Моор и оставшись один.— Ага, вы еще верите сказкам, что Унгуз — старое ложе Аму-Дарьи, которым можно достигнуть моря? Но мы, инженеры, давно не верим. Это не русло Аму, это ложе одного из разливов, вот таких же, как этот сегодняшний; они уходят в пустыню и пропадают в ней. Понял? И что мне этот Унгуз, родной мой? Унгуз — катастрофа древности: река прорвалась в пустыню, прорыла себе путь в песках, зарылась в них, высохла. Теперь реки больше нет, путь ее стар и ненужен. Этой дорогой не увести реку к новому морю.

У реки прыжками шел ветер. Он вскинул и потянул за собой, трепля, усы и волосы инженера, сделав его похожим на степного коня с обветренной гривой. Дергая за усы, ветер поднял потом с края губ непредвиденную неожиданную улыбку.

— Тридцать лет я знаю, что переведу Аму в Каспий, да время все не приходило, а вот пришло оно — голова моя свежа, за плечами опыт, смысл постройки в самой крови. Тридцать лет ждал, не мог начать.

Видимо, перевалило далеко за-полночь, потому что все вдруг заснуло, как остановилось. Крики каиджей на низком и песчаном берегу коротко и глухо оборвались, в ауле смолкли собаки, голубизна ночи стала на ощупь влажной, легкой, сонной. Тени большими плоскими черепахами переползли открытые места, и над остановившимся, упавшим в сон временем помчалось звездами, облаками и запахами то бесшумное и воображаемое, что называется небом.

— О том, чтобы Аму-Дарью перевести из Аральского моря в Каспий, говорят, Нефес, триста лет. Эта идея, брат, всем казалась геологической фантазией, но в наше время все решается проще. Твой тезка, туркменский купец Ходжи-Нефес, еще царя Петра соблазнял проектом поворота Аму из Арала в Каспий. Умница был, сукин сын, он убеждал царя, что тот создаст этим поворотом водный путь в Индию. Понял? Он, брат что искал? — энтузиазм, хотя бы энтузиазм завоевателей, чтобы свести свои туркменские счеты с веками. Твой тезка был политиком и политически пытался разрешить дело. В этом-то вся и загвоздка, в политике. Раньше-то мы ведь никак не могли учитывать в строительстве такую страшную силу, такую таинственную величину, как, брат, революционный энтузиазм. Понял? Я сам только недавно дошел до этого. Это ж рабочая величина. Учтика в проектах энтузиазм!

Он покачался на ногах из стороны в сторону.

— Ах, до чего мне подкатило заняться Аму-Дарьей и Каспием! Всю жизнь прожил для этого, а тут...

Он простер глаза в сторону катастрофы, и глаза отшатнулись — они вдруг увидели нежданно пришедшее утро, солнце на облаках у горизонта, неторопливый ползучий дым реки и Нефеса, сидящего рядом на корточках.

Манасеин стоял на высоком берегу, ветер ворошил и вскидывал его волосы, придавая ему взволнованный вид, а Нефес сидел в неподвижности, и ветер обтекал его, как камень, ничего не умея расшевелить и взбудоражить на нем. Инженер еще раз огляделся, прислушивался к дому. Все было тихо, однако. Все волновалось молча.

Таким, каким был сегодня Манасеин, его никто никогда не видел.

— Плохо? — спросил он Нефеса.

— Плохо,— ответил тот.

4

Февзи[1] спал дома с женой и с сыном на одной кошме. Холодный крик, проникший прямо в его кровь ледяной струей, бросил его высоко, под крышу. Голова Февзи стала тверда и бесчувственна, как молот, она пробила крышку и потащила за собой тело. Потом ничего не стало.

Когда к нему вернулось сознание, он плыл. Удивившись, как это человек может делать движения во сне, он остановил руки и сейчас же стал опускаться. Тут он сообразил, что дело не во сне, а в воде, и что он плывет, закрывши глаза. Он хотел раскрыть их, но не мог ощутить, где они. Он не мог памятью найти место своих глаз — и сознание тыкалось изнутри в череп, как замурованное в глухом подвале. Глаз не было.

Он провел рукой по лицу — нет, пусто, гладко. Глаз нет. Он забыл, где его глаза.

Тогда он стал плыть сильнее, чтобы покончить с водой, и навострил слух — была тишина.

«Это все сон,— решил он,— конечно, сон!»

Поток выносил его за последние арыки, в глушь песков. Из Ильджика подавали первые каики. На башне старой крепости вопили люди, и лодки торопились на крик. На нижних ступенях ее дрожали ослы, верблюды, собаки, синей изморозью смерти покрывались трупы людей.

Максимов пробрался наверх, на помост. Куллук Хаджаев валялся под ногами двоих беспрерывно вопящих.

— Молчите! — крикнул Максимов.— Все кончилось. Бросьте!

Они завопили еще сильнее, их возбуждал каждый шорох.

Максимов поднял Куллука и стал приводить его в чувство. Двое завопили еще ожесточеннее, еще жутче, и псы ответили им покорным воем.

— Мы сойдем с ума! — едва сказал Куллук.— Застрели их!..

Максимов не ответил, но встал, чтобы схватить сумасшедших и втолкнуть их в люк прохода. Ощерясь на него воплями, они быстро отступили к краю крыши; он протянул к ним руку и, отпрыгнув в воздух, перебрав в нем два или три раза ногами, они задом ринулись вниз, и вода сейчас же схватила их крик.

Почувствовав, что он падает вслед им, Максимов прилег на помост. Потом, когда голова отошла, он встал на колени и просигнализировал руками на каики Хилкову, что здесь нечего делать — аула нет, лишь в башне десятка два спасшихся.

Хилков ответил, что вспомогательная партия двинется в пустыню, стремясь опередить воду.

5

В партию инженера Манасеина, набиравшего людей отовсюду, райисполком бросил все свои живые силы.

Нефес поднимал людей с кроватей. Хилков в это время перегружал склад кооперативного магазина на верблюдов и свозил все к берегу, где распоряжались Максимов и Куллук Хаджаев. На берегу комплектовалась рабочая партия. Через час должно было начаться совещание по выработке плана спасательных работ, и Манасеин, развернув карты, бороздил их толстым плотничьим карандашом.

С улицы, пересекая весь двор с его занавесами, бегом шел человек. Он все повторял:

— Да где же тут Манасеин, наконец?

[1] Находится на излечении в Ашхабадской клинике.

И вскидывал на своем пути все камышевые ширмы, перебудил всех, кто еще спал, пока не добрался до инженера.

— Я к вам,— сказал он,— мобилизован в ваше распоряжение. Журналист. Здесь — случайно. Приехал на посевную — Владимир Адорин [1].

— Начали вы здорово,— сказал Манасеин,— продолжайте так же. Разбудите всех, кто тут есть; имейте в виду, что, должно быть, только одни бабы остались,— разбудите, организуйте, гоните к берегу, разыщите фельдшера, реквизируйте через исполком лошадей, в общем создайте санитарный отряд или что-нибудь. Поняли? Не больше, чем в полчаса.

Именно сегодня Адорин собирался покинуть Ильджик, чтобы на каиках спуститься вниз по Аму до Ташауза. В результате этой поездки ему уже мерещилась книга очерков о быте величайшей из азиатских рек — матери четырех народов. Надежды на книгу, которая должна была появиться первой в своем роде, наполняли его взволнованно острым умом и приучали к умению углублять и сублимировать материал обычно поверхностных журналистских наблюдений. Мобилизация к Манасеину была очень кстати, она давала его теме неожиданно новое толкование, катастрофа в Мооре была событием вековой редкости, и упустить ее было просто нельзя.

Его смущало лишь то, что Манасеин, кажется, даже не осознал, что он, Адорин, журналист и может быть полезен в прямом своем назначении, как летописец катастрофы и экспедиции, и что ему было бы полезнее находиться рядом с самим Манасеиным. Он вернулся, чтобы сказать ему это.

— Уже? — удивленно спросил его Манасеин.— Ну, и темпы у вас, дорогой мой.

— Я хотел вас спросить... только лошадей?— сказал он.

Манасеин стал выпрямляться перед ним одними своими глазами.

— Ладно, ладно,— скороговоркой ответил Адорин, начав краснеть, и бегом вернулся во двор.

Он заглянул в одну загородку. Старая кухарка медленно и расчетливо натягивала на себя мужские штаны со штрипками.

— Сбор во дворе! — крикнул он ей.— Живо!

— Знаю сама,— ответила та.

Он бросился дальше. Две женщины спали обнявшись на широкой постели из чайных ящиков. Он разбудил их, не глядя.

— Вставайте, сбор через четверть часа.

Он тронул одну за плечо [2].

— Вы приведете фельдшера.

Другой он сказал [3]:

— Вы сейчас же пойдете со мной — собирать лошадей.

— Я из Москвы,— ответила вторая,— и приехала собирать фольклор, а не лошадей. Едва ли...

Глядя в себя, не на нее, чтобы не смутить полуодетую и не нарушить в себе чего-то такого, что должно было называться деловым равнодушием, он схватил ее за руки и вскинул. Теплый запах и теплота ее ударили ему в лицо. Пальцы его погрузились в ее мягкие, теплые, сонные руки и перед глазами его, как он ни удалял их, прошло ее почти ничем не прикрытое и еще не смущающееся обстановки тело.

— Это ваше? — спросил он, схватившись за легкий комочек белья и платья, и накинул ей на голову сарафан.

— Подождите, я сама,— сказала она, дрожа и собирая с пола подвязки, чулки и туфли.

---

[1] Член партии, лет 29—30. Был послан на низовую работу весной 1930 года.
[2] Жена техника Иловайского, Елена Павловна, сейчас работает в Туркшелке.
[3] Студентка литфака Осипова.

— Откуда вы взялись, кто вы?— спросила другая, сидя на коленях в постели и одеваясь без возражений.

Он не ответил.

— Господи, какой милый,— сказала она, смотря на него.— Вы к нам надолго? Ну, не сердитесь, смотрите — я уже готова и бегу. Я заберу фельдшера с его добром и прибегу сюда. Да?

— Да,— сказал он.

Она выбежала и через минуту выскочил Адорин со своей неожиданной птицей.

Подождите,— сказал он ей.— Есть тут еще кто-нибудь?

Все с ребятами, бросьте,— сказала та.— Идемте уж, идемте скорее, раз надо.

6

На левом берегу, километрах в 7—8 от Альман-Кую, аула, в котором собирались все спасательные отряды, Манасеин должен был подобрать еще трех двацатипятитысячников, контрактовавших шерсть.

Продовольствие, собранное в ауле, грузили на каики, верблюды были уже переправлены и ждали у Альман-Кую, где распоряжался Нефес. Секретарь Куллук с Максимовым, оставив берег Хилкову, вышли из Альман-Кую разведку. В час, когда солнце горело на людях разошедшимся пламенем когда казалось, что уже прошли многие сутки с тревожной ночи, хотя часы показывали девять с минутами (девять — чего? скоростей? атмосфер?), в этот час основная партия переправлялась через реку.

Свежий ветер выжимал по реке свежую косую волну и гнал каики к прорыву, крутя их и волоча боком. Всего оказалось в экспедиции около сорока человек, но партия, которая должна была уйти в пески с Манасеиным, не могла быть больше двенадцати-тринадцати: сам Манасеин, техники Хилков и Максимов, Нефес, Адорин, студентка литфака Осипова, жена техника Иловайского, четверо погонщиков верблюдов и старая манасеинская кухарка, четырежды пересекавшая Кара-Кумы на своем кухонном, как значилось в ведомостях, верблюде.

Низкий берег, в пышных тугаях, жевал застоявшуюся в своих низинах воду, и до кишлака пришлось пробираться то на лодке узкими водотоками камышах, то пешком, по колено в тине. Нефес уже ждал с караваном, изготовленным в пути.

В полдень 22 мая они вышли в пустыню к месту прорыва.

Караван шел по левому берегу потока. Вода цвета желчи, пузырясь и всхлипывая, шумно двигалась по пескам, и пловучие острова сухих трав, валежника и листьев плясали по ней, цепляясь за края водотока. Разлив напоминал мутящееся озеро. Птицы кружились над ними непрерывно. Изгнанное водой с насиженных мест зверье бежало в виду каравана, не боясь дня. Распоров полосу дженгилей, вода, взлохмаченная корягами, камышевым сдором, балками, мертвой птицей, разбитыми лодками и человеческими телами, врывалась в пески и, шипя, как на горячей сковороде, успокаивалась среди них в медленном плаве. Барханы на ее пути чернели, оседали на сторону, и, развалившись, уходили в воду. Другие отстаивались крутыми обрывами и, подкошенные водой снизу, осыпались песчаными водопадами. Вода шла сразу вперед и в стороны, всасываясь в песок всеми своими краями.

Караван взял западнее, удалясь от края потока километра на два. Путь держали по компасу и карте, чтобы не выходить за линию высоких отметок и не попасть под занимающий все низины поток. Стояла страшная зыбь дюн, бутров и мгновенных впадин. На их чешуйчатой песчаной коже пестрели следы зверей. Черепахи громадными ордами переваливали барханы

и голосили пронзительно. Ящеры, вараны в метр длиной, приподняв зеленое слоистое тело на кривых передних ногах и свернув хвост кольцом по-собачьи, синели, надувая морды, и выкатывая глаза на проходящий караван.

Манасеин и Нефес ехали впереди на конях.

Вглядываясь в пески, Нефес говорил то и дело:

— Колодец Кара-Сакал залит. Пиши. Сабатли залит. Мусреб, отсюда два верблюжьих часа, залит. Пиши.

Манасеин приказал Адорину взять с собою одного туркмена и догнать Куллука с Максимовым, чтобы условиться о встрече через час возле развалин колодца Барс.

Хилков был оставлен с верблюжьим обозом, а Манасеин с Нефесом взяли на чистый норд к самому потоку.

Адорин, которого успел захватить пафос этого страшного похода, стал искать глазами среди туркмен, кого бы выбрать. Но в это время, окликая кого-то по имени, к нему под'ехала на коне Иловайская.

— Хватит вам одного местного,— сказала она,— я жена старого техника, тоже кое-что значу в песках. Поехали! Вы такой энергичный, что с вами приятно...

Он хотел возразить ей, но кони уже тронули рысью, и волна песчаных груд отделила их от каравана.

7

Куллук и Максимов еще на рассвете добрались до потока и, следуя подоль, достигли холмов, превратившихся теперь в высокие и прочные берега.

Они зажгли кастер, и на него стали собираться люди — пастухи ближайших стад и спасшиеся из Моора путники.

На солнце поток предстал перед ними во всем своем ужасе. Он шел от Моора на чистый норд шириною в четверть километра.

Они были на его левом берегу и видели правый, забитый стадами, кибитками, людьми, и вода — они видели — двигалась вправо, сметая людей. В час, когда караван Манасеина выходил в пески, вода, найдя себе впереди котловину, описала луку вокруг холмов и круто забрала влево. Правый берег приблизился. Он был теперь ровен и чист, как смытая грифельная доска, и ничто, похожее на пребывание человека, не занимало его.

Максимов насчитал вокруг себя больше двадцати человек и сейчас же послал двух в Альман-Кую к Манасеину с донесением, нарядил женщин поддерживать сигнальный костер, а сам с Куллуком спустился к воде. Ожидали стада ходжалинского общества, которые, наверно, успели выйти из затопленной полосы и идут к Альман-Кую.

Куллук следил за водой.

— Вот плывет шерсть,— сказал он.— Это из ковровой мастерской. Вот доски из школы.

Он следил за водой, которая рассказывала вещами о разрушении. Потом вода понесла мешки — десятки и сотни чем-то наполненных мешков.

— Что это?— сказал Максимов.— Посмотрите.

По воде молча плыл человек. Рядом с ним, также тихо, плыл волк.

— Эй, держи сюда!— закричал Куллук.

Тот продолжал плыть молча. Волк скосил глаза на своего товарища и продолжал плыть, как плыл.

— Сюда!— закричали сверху, но человек не слышал.

Течение понемногу прибивало его к холму. Куллук вошел в воду по колена, стал навстречу пловцу и поймал его, как большую рыбу. Человек

молча барахтался, делая плавательные движения. Волк осторожно отстал, но когда его товарищ был усажен на песок, он вылез и лег с ним рядом.

— Кто ты? — спросил Куллук.

Человек молчал и время от времени взмахивал руками, чтобы плыть. Ему связали руки за спину и положили у костра. Сгибаясь в три погибели, волк заковылял за ним и улегся, положив морду на его ноги.

Человека узнали. Это был Февзи. Глаза его были открыты, но он ничего не видел и, когда ему кричали в самое ухо, он не слышал. Он лежал и плыл, шевеля связанными руками и ногами. Волк тогда недоуменно взглядывал на него.

Адорин и Иловайская давно уже остались одни, и никогда бы им не добраться до людей, не поднимайся к небу сигнальный дым на холмах Максимова. Провожатый был оставлен ими в пути при неизвестном стаде, которое он должен был пригнать к ночной стоянке каравана.

— Где мы собираемся сейчас? — спросил их Максимов.

— Надо немедленно перехватить ходжакалинцев и вызвать их старост,— сказал Куллук.— Оставайтесь с Максимовым,— сказал он Елене и, втащив Адорина на коня, поскакал в пески.

Через час перед холмами показались первые партии ходжакалинцев с остатками стад. Страх умерщвлял овец на ходу, и путь стада походил на поле сражения. Куллук безуспешно пытался задержать беглецов для совещания о том, что надо делать. Сюда, разысканный Адориным, примчался Нефес. Проскакав на коне сквозь ряды людей, он оповестил, что против воды вышел сам Делибай, инженер, которого все знают и которого даже вода боится, что караван в двадцати минутах отсюда, и надо говорить всем вместе, что предпринять. Появление Нефеса и слух о караване Делибая успокоил бегущих. Их старосты заявили, что они останавливаются на отдых не дольше, чем на два часа, и потом снимутся, чтобы до темноты достичь холмов Чили, где люди и скот будут в безопасности.

Ходжакалинцы разбились на группы и разожгли костры. Нефес, Куллук и Елена, пришедшая с Максимовым, ходили от огня к огню, беседуя и успокаивая. Не владея языком, Адорин ничем не мог быть полезен; он присел к одному из костров, развернул блокнот, чтобы записать пережитое, и заснул, даже еще не прикоснувшись карандашом к бумаге.

8

В ночь, когда Манасеин получил тревожный приказ выйти в пустыню, Елена была на вечере в сельском клубе, и Адорин сейчас только вспомнил — уже в полном сне — что там он ее и видел впервые.

Был вечер бригады московских писателей.

В ауле, куда посевная забросила десяток мобилизованных из Москвы, Ташкента и Ашхабада, приезд бригады принят был очень торжественно. Грани дистанций сместились, и в Ильджике можно было рассказывать о пленуме РАПП'а и о литературных дискуссиях.

Народу набилось множество, так как жители полагали услышать что-либо новое о налогах, а в крайнем случае поглядеть на фокусы, которые во славу своего искусства предстояло показать приезжим. Но ни докладов, ни фокусов не было, и постепенно народ поубавился.

Адорин сидел через два или три места от Елены и следил за лицом понравившегося ему писателя.

Тот обладал такой вызывающей мимикой, что только еще взглядываясь в публику, еще не начиная читать, он уже задирался движением бровей и укладом губ. Позиция его лица вызывала смущенный трепет и требовала

ответа. Он мог бы, не читая, а лишь взглянув на ряды, получить десяток записок, но это не было ни преднамеренной позой, ни вдохновением лица, это было характером. Характер его лица был вызывающим. Елена неистовствовала через два или три стула от Адорина. Она обращалась к соседям, громко что-то шептала и наконец, стукнув по колену Адорина пальцем, крикнула ему шопотом:

— Здорово?.. Замечательные ребята! Но кто их читает, будь они прокляты? Все ведь заняты, перезаняты.

Жадность, с которой она воспринимала происходящее, была необыкновенна. Она сразу слушала уже памятью и, когда вечер кончился, легко повторяла вслух все услышанное с эстрады.

Она принимала в себя мысли и переживания рассказов, как выражение своей культуры. Вот она, жена инженера, что-то читавшая, что-то видевшая, много любившая, живет в пустыне, ездит с мужем в походы, варит ему какао на меду от крайнего малокровия и изменяет заповедям брачной верности с редкими гостями ее пустыни. В том углу песков, где жила она с мужем, ей принадлежали сердца, карьеры, дружбы и верности. Она творила тут суд и расправу сложными правами жены, любовницы, подруги. Она одна здесь делала то, что называется бытом, и ей принадлежали все эмоции на добрых двести километров в окружности. Была ли она умной, доброй или только чувственной женщиной, она сама не знала. Она жила. Ей было некогда изучать себя, для изучения ее существовало искусство. Она относилась к нему, как к высшему исследовательскому учреждению, где методами сложных анализов, отборов и реакций добывалась формула ее жизни. Ее умиляло, что писатели знают вещи изнутри и рассказывают об изнанке чувств, что они умеют особо определить тысячи схожих лиц и тысячи характеров, и вот приходят, раскрывают книги и читают о людях, которые ими найдены и показаны.

Она знала, что, живя, она заслуживает вниманья искусства и что оно придет, как приходят порой выигрыши по займам и лотереям. И принимая в себе все откровение рассказов, она переполнялась удивлением от сложности и запутанности человеческих чувств. Заранее ее умиляли трудности ее собственной жизни, которые, как бы запутаны они ни были, в конце концов будут об'яснены и показаны.

Гроза потушила свет в клубе, и вечер прекратился на полуфразе. Гости сели на лесенке за кулисами и при горбатой свечке из буфета пережидали грозу. Елена подошла к ним, таща за собой Адорина, хотя они не были даже знакомы. Сейчас же, перебивая себя и никому не давая сказать, она стала рассказывать о воде, о пустыне, о том, что она ходила в три экспедиции, и уговаривала гостей остаться подольше, обещая показать им необычайные вещи.

Осторожно прицениваясь к необычайностям, каждый выспрашивал ее о своем, о пейзажах, строительстве, новом быте, басмачестве, но стольких новостей у нее не было. Ее все же поделили по темам, и первый счастливец, смеясь и прикрывая рукой рот, стал записывать ее предложения в книжку.

Тут окружили ее и другие. Спокойно и равнодушно подходя, они предлагали выслушать их приключения, или просто принять для использования излишки всех переживаний и наблюдений. Они настаивали и добивались слова, чтобы пересказать свои старые героические итоги. Некоторые, спеша домой, просили записать их в очередь на завтра для сдачи эмоций. Будто пришел приказ сдать все пережитое писателям, и каждый гражданин стремился аккуратно выполнить это неожиданное, но, повидимому, ответственное задание.

Шли домой шумной оравой и, хотя Адорину нужно было в противоположную сторону, он пошел к реке, к домикам манасеинской партии. В пути зоотехник Госторга, ссылаясь на телеграмму из центра, потребовал посещения писателями скотоводческого совхоза и угрожал жалобой в РКИ в случае немотивированного с их стороны отказа. Чтобы оживить внимание к своему делу, он стал жаловаться на кустпромсоюз, оперируя с неподражаемым искусством опытного оратора набором самых матерных выражений, и наконец обещал представить в письменной форме полную картину своих совхозных успехов.

-- Вы приехали показываться или смотреть?— спросил Адорин одного из гостей.— По-моему, вам надо смотреть. И притом — молча. Вслух вообще ничего не видно.

Ответа он не успел получить, так как стали прощаться.

Гости обещали завтра быть у Елены, смотреть знаменитого Манасеина, слушать рассказы о постройке каналов и сговариваться о поездке в пустыню.

Перестав вдруг всех узнавать от восторга и гордости, Елена всем жала руки и долго благодарила Адорина за обещание подарить ей свою книжку, хотя он ничего ей не предлагал.

Когда Елена ушла к себе, агент кооперации, армянин родом из Зангезура, человек безудержного воображения и простой, глуповатой храбрости, стал рассказывать, что говорят люди о Манасеине.

Манасеин пришел в эти края молодым студентом и попросился на исследование Аму-Дарьинской дельты. Через год его видели среди иомудских кочевок и на Атреке с геологической партией Академии, а еще позднее — в гидрологической экспедиции. Гражданскую войну провел он сначала в профсоюзе, потом в военном строительстве, в дни нэпа строил техникум и читал в нем лекции по физике, немного погодя ушел строить каналы. Знаменитость его началась с постройки Курлук-Кудука, оконченной блестяще, раньше срока и в посрамление всех смет. В день пуска воды крестьяне бросили его, по обычаям страны, в им же проведенную воду, на счастье, на добрый глаз, и он утонул бы от слез и радости, не вытащи его с руганью о саботаже и срыве торжественного собрания местный уполномоченный ОГПУ.

Зангезурец рассказывал об инженере любовно, как о себе, и гладил резкими спазмами руки свой живот в том месте, где у него — по памяти — когда-то висел кинжал.

Утром, прибежав к Манасеину и будя потом Елену, Адорин не узнал ее.

9

Адорин увидел себя уже проснувшимся — ноги отодвигались от костра рука держала блокнот.

— Когда это я проснулся?— спросил он.

Ему никто не ответил. Он присмотрелся — все спало вокруг костра. День плыл медленно, не спеша, и по краскам никак нельзя было определить времени. Кругом, насколько хватал глаз, были разбросаны стада и кучами сидели люди.

— Вот чорт, проспал, а!— вслух подумал Адорин.— Тут потеряешься чортовой матери...

Ему было страшно одному, но куда итти, он не знал. Им овладело чувство неограниченной свободы действий, чувство безответственности. Он поднялся, чтобы подойти к ближайшей кучке туркмен, но вдруг ему стало стыдно своего незнания языка, новых желтых краг и серой, в темных

крапинках кепки. Он огляделся еще и, увидев, что к нему идут люди, сел и, взяв блокнот из военной походной сумки, стал механически набрасывать впечатления ночи.

Люди двигались очень долго, и он заполнил две или три страницы. прежде чем услышал шаги за спиной.

— Честное слово, это он!— послышался голос.— Ну да, он! Вот уж судьба!..

Он не оглядывался, работал карандашом, слушал, уже зная, что идут те две его женщины, с которыми он встретился на рассвете.

Иловайская, подойдя, сказала:

— Ах, ми-и-лый, ему скучно. Посмотри, пожалуйста, Женька, он пишет. Нашел время!

— Бросьте вы писать, идите на совещание,— сказала студентка.

— Где именно?

Она ему показала, куда итти.

— Идите и не оглядывайтесь,— крикнула вслед Елена.— Подождите, подождите — вы никого тут не видели?.. Нам надо кое-что сделать и чтобы никто не видел. Никого?

— Да не кричи, тише,— сквозь смех, смущаясь, ответила ей Осипова, и Адорин еще долго слышал, как они фыркали и смеялись у его костра. Мысли отсутствовали, пока он слышал голоса женщин за собой, и возникали, как только позади все смолкало.

«Все-таки это хорошо, когда на войне женщины»,— подумал он.

Сидя на корточках перед крохотными кострами из саксаульных веток, такими незаметными, что они не давали даже дыма, туркмены кипятили в медных кувшинчиках чай. Женщины, растюковав ослов и верблюдов, толкли зерно в деревянных чашках. Тонущий в воздухе дым множества мелких огней делал воздух густо накуренным, как в закрытой комнате.

Адорин прошел мимо старика, который во сне жевал кусок хлеба, и от храпа крошки вываливались у него изо рта. Тогда он пригляделся к другим спавшим людям — большинство лежало с раздутыми от непережеванной пищи щеками, как застал их сон.

Обогнув несколько сидящих на корточках толп, Адорин увидел большой костер манасеинского штаба.

Где-то в стороне заорали ослы, и все вскочило от их страшного рева. Залаяли собаки, женщины, подхватив свои ступки, с визгом бросились врассыпную. Несколько конных помчались к ослам, палками заставили ослов замолчать, и когда все успокоилось, Адорин заметил, что люди продолжают дрожать. Несколько семейств подняли свои стада и, не сдерживая страха, погнали их на холмы Чили под общий шум и ругательства.

У большого манасеинского костра Адорин заметил только Хилкова, подсчитывавшего какие-то цифры и читавшего карту Максимова. Нефес крутя четки, беседовал со старостами.

— Где Манасеин?— спросил Адорин.

Незнакомый туркмен коснулся его плеча и показал в сторону.

Манасеин с секретарем комсомольской ячейки Куллуком Хаджаевым ходил невдалеке взад и вперед, оживленно жестикулируя.

Адорин подошел к ним.

Манасеин спросил его:

— Ну что, где же ваш фельдшер, наконец?

— Не знаю.

— Как не знаете? Впрочем, дело ваше — вот я поручу вам доставить

сейчас человек сорок больных, да. Как вы их доставите? Где потеряли фельдшера?

— Знать не знаю,— ответил Адорин,— я же был вами послан к Максимову — звать его сюда.

— Когда это было...— желчно перебил его Максимов, отмахиваясь.

— Готово!— крикнул Хилков от костра.— Можем начать.

— Пошли,— сказал Манасеин.

По пути к костру его остановила женщина. Она несла ему большую миску с чаем.

— Выпей, Делибай,— сказала она,— у нас большой казан.

С миской в руках Манасеин сел на поставленный стоймя чемодан, и Хилков скрипучим голосом начал читать свою сводку о примерных потерях.

По опросам выяснилось, что моорцы потеряли до семнадцати тысяч овец. Картина движения воды от прорыва до пункта теперешней стоянки была такова: выйдя из Моора, поток шириной до ста метров устремился в низины Унгузского старморечья и, разлившись здесь до полутора километров, прошел по такырам и шорам до остатков тополевой рощицы у колодца Каргалы. Здесь барханная гряда, шириною километра в четыре, преградила ему путь, и он разделился на-двое. Левый рукав его, обогнув крайние холмы неожиданной песчаной плотины, те самые, где утром Куллук с Максимовым вытащили человека с волком, круто повернул к югу и, преодолевая волнистость местности, сейчас угрожал колодцам вдоль старой караванной дороги, километрах в семи отсюда. Правый рукав, упираясь в сплошную возвышенность, разлился в озеро шириною больше километра. Оно прибывает с каждым часом. Чабаны уверяют, что к вечеру пески не выдержат и озеро вырвется либо целиком на чистый запад, либо веером отдельных ручьев на северо-запад и север. Вода в Аму-Дарье продолжает прибывать, так что поток наполняется ежечасно.

— Вода не сегодня-завтра должна упасть,— сказал Манасеин.— Мое предложение сейчас же отправить отряд на обвалование этого озера. Второй отряд отправится вслед левому потоку, его надо перегнать, чтобы вывести стада, которые могут быть у колодцев,— он взглянул на карту,— у колодцев 4, 9, 12. Третьему отряду везти больных в Ильджик и стада на холмы Чили, где придется организовать корма. Я пройду до конца воды через серный завод, к основным целям своей экспедиции — в дельту. Куллук Ходжаев поведет больных.

— Нет! — крикнул Ходжаев. Судорога свела ему ногу, он крякнул и помотал головой.

— Он до-смерти перепугался,—шепнула подошедшая Елена,— с ним чорт знает что делается, то лицо сворачивает судорогой, то сводит ноги.

— Я буду на озере,— с трудом сказал Ходжаев, и его рот передвинулся на щеку.— Мне очень страшно, да, товарищ инженер, но я буду на озере. Я — секретарь.

— Прекрасно. Куллук Ходжаев с Максимовым отправляются обваловывать озеро,— сказал Манасеин.

Крик, охвативший пустыню, смял его слова, крик стал словом, в нем был и страх и ужас. Стада помчались, сжимаясь на бегу в плотное тело; трагический рев ослов и крики обезумевших людей качнули воздух.

— Елена, догоните старост! — крикнул Манасеин,— надо остановить людей. Нефес!..

— Вода!.. Вода!..— кричали люди.— Вода! Скорее, скорее!

Ходжаев бросился к лошадям, вскочил на одну и помчался за бегущими толпами. Нефес, сорвав кого-то с седла, под крики о жизни, о мести, о ноже,

карьером двинулся навстречу тому непонятному, что казалось водой. Пока была видна лишь лиловая низкая туча, бредущая медленно по самой земле.

А если в самом деле вода?— сказал Адорин, ни на кого не глядя.

— Noblesse oblige,— хихикнув, сказал Хилков.— Как это ни прискорбно, конечно.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

1

Сумерки. Только что разведенный костер своим дымом вечерит воздух. Шакалы облаивают пески.

— Я не согласен с вашим проектом,— говорит Максимов.— Обваловывать озеро — зачем? Напрасный труд — его и не обвалуешь, да и не к чему. Одно необходимо — послать двух-трех верховых вперед воды — отвести в сторону стада. Вот и все. Убытки? Их не вернешь. Жертвы? Ничего не поделаешь: катастрофа! Наоборот, воду следует гнать насколько возможно дальше и помочь ей продвинуться. Такие случаи бывают раз в сто лет, их надо использовать всесторонне, на будущий год здесь окажутся богатейшие пастбища, дебет колодцев увеличится, грунтовые воды обогатятся, можно будет усилить колодезное строительство, поставить вопрос о заготовке кормов на зиму.

Манасеин лежит, завернувшись в бурку. Рядом с ним, мурлыча под нос беспредметный мотив, Хилков тачает манасеинский сапог. В стороне высокой тенью проходит и скрывается, и опять стоит у костра Нефес, приведший кочевки ходжамбасцев, издалека принятые за воду. Стада и люди проходят мимо него в шумном и хаотическом порядке. Костры возникают один за другим, вытягиваясь в длинную линию.

За соседним костром прикурнули Елена и Осипова. С ними Адорин. Максимов шагает от костра к костру, и лицо его, на котором не могут успокоиться тени двух огней, кажется взволнованным до дрожи. Женщины шушукаются и тихо смеются друг другу в плечи.

— А вы подумали о том, как отзовется прорыв на орошении в нижней части реки? Посевная там легко может быть сорвана. Ну-те-ка! А что такое паника — вы, например, понимаете? Погибнет на три рубля, а провокации окажется на добрую сотню, что!— не было?— говорит Хилков.

Манасеин лежит у костра, не отзываясь. Нефес стоит над ним и дышит осторожно и медленно, чтобы не прослушать его ответа. Но он молчит. Как ни старался он продумать слова Максимова, мысль его своенравно уходила к морю, и он решал и никак не мог решить влияние этого прорыва на его будущее строительство. Его мысль текла вслед за водою Аму в низовья, проходила плотины и вливалась каналами в воображаемое озеро, а из него достигала Каспия. Потом он бросал свою мысль в пески, и вскачь она неслась разрушительным бедствием. Манасеин крепче и злее закрыл глаза и стал жить двумя этими мыслями, одной, заливающей пески, и другою, плывущей по Аму, обе они шли самостоятельно, чтобы где-то в конце своем столкнуться и решить судьбу будущих цифр и программ. И мысль, скакавшая по пескам, пожрала другую, разрушив вместе с ней и строительство моря. Если так, то сброс аму-дарьинских вод в пески уничтожал его дело.

Он поднимается. Максимов говорит:

— Надо немедленно вывести людей и стада на чилийские холмы. Впрочем, завтра я вам представлю свою точку зрения вполне обоснованной.

Это как вам угодно,— говорит Манасеин.— Но помните, вы мною

назначены на обвалование и за него отвечаете головой при всех ваших точках зрения. Хилков, с рассветом мы выступаем дальше.

Ранняя ночь раскачивается над костром, как полог голубой кибитки. Вихрь сырости расстилается над пустыней.

— Адорин, у вас есть лошадь? — спрашивает Максимов.— Жаль. Проехали бы вместе, поглядели бы вы, что это за озеро

Они отходят в ночь, за занавесу огня.

— Манасеин хочет перелить Аму-Дарью в Сарыкамышскую впадину и оттуда бросить в Каспий. Гениальный проект, может быть, хотя гениальность это, главным образом, своевременность. Гениальный и вместе с тем сейчас никому не нужный.

Легкие колеблющиеся зарева костров взбегали на голубые краски ночи. Где-то начиналась жалобно-радостная песнь.

— Кара-Кумы величиной с Германию, Германия песка! Вдоль нее идут следы старых русл. Занятно, конечно, что это за русла, куда они шли, какая жизнь текла на их берегах. Мы знаем, например, что Аму-дарья когда-то впадала в Каспийское море и что поворот ее в Арал — дела Хивинских ханов. Старые ложа протоков еще сохранились, и в общем он прав, ставя проблему возврата Аму-дарьи Каспию. Отвлеченно он глубоко прав, но практически его затея никуда не годится. Он предлагает прорыть канал в тридцать километров в районе Кумы-Дарьи, закрыть плотиной горло Аму у берегов Арала и повернуть всю или девять десятых реки путем этого своего канала и старых русл в пустое ныне Саракамышское озеро. От него к Каспию шла река Узбой, и как только озеро наполнится до известного уровня, вода найдет старый ход Узбоя и сама, без всякой или без большой, скажем, помощи проложит дорогу к Каспийскому морю.

Я опять повторяю, — в абстракции это все преотлично. Выгоды такого поворота колоссальны. Во-первых, будет достигнуто осушение заболоченных берегов Арала, освоены заброшенные площади вокруг Ургенча, окультурена пустошь на северных берегах Саракамыша, радикально решен водный вопрос на всем западе Кара-Кумов, снабжен водою Красноводский порт, погибающий от безводья. Зашлюзовав Узбой, можно добиться того, что пароходы из Астрахани и Баку будут доходить почти до Хивы, во всяком случае, проникать до северных берегов Саракамыша, то есть, иначе говоря, будет создан морской порт в центре пустыни. Хивинский хлопок без перегрузок пойдет на Волгу. Мало того, шлюзование Узбоя даст возможность соорудить мощную гидроэлектростанцию для нужд Кара-Бугаза, этой природной химической фабрики колоссальнейшего значения. Все может быть.

— Почему же вы возражаете? — спросил Адорин.

— Почему? Да просто потому, что его гениальный проект стоит дорого. Мы слишком бедны, чтобы всегда быть последовательными. То, что я предлагаю, не бог весть что, но это и дешевле и своевременнее. Одобрив его проект в абстракции, пересмотрим его практически. Он обещает освоить в дельте Аму новые земли в таком размере, что будет окончательно изжито малоземелье и, как следствие этого, туркмено-узбекские национальные распри. Это еще нигде не проверено и сомнительно. Второе — он освободит под культуры новые площади вдоль канала и возле Саракамышского озера. Зачем, когда тут нет никакого населения? Для совхозов? отлично. Он обещает дать 150 000 *га*. Дальше идет Узбой. Что он даст нам? Водный поток через почти необитаемую пустыню длиною почти в 600 или 700 километров — и только для того, чтобы бессмысленно, входостую

пройдя это дикое расстояние, дать воду городу Красноводску. Об электростанции говорить еще пока рано. Итак — что же? Реальных 150 000 га?

Из-за них не стоит поднимать шума. Обводнение Кара-Кумов? Да, но не всех, а лишь западной — да и то не всей их части. А теперь давайте подсчитаем, что нужно для манасеинских работ.

Ему нужно минимум 10 000 чернорабочих, десятки экскаваторов, не один и не два самолета для с'емок местности, штат геологов, агрономов, ирригаторов, врачей, больницы, общежития, мастерские. Вспомните, что работы Лессепса[1] погубила главным образом желтая лихорадка.

— Манасеин любит ссылаться на великие образцы. Учиться — это не значит ограничиваться запоминанием цифр и формул. Учиться — это самому хотеть производить новые формулы. Что касается меня, например, то я ни в грош не ставлю все эти разговоришки о таинственных высохших реках пустыни. Ерунда! Испанцы в Мексике двадцать пять лет искали реку от Пуэрто-Белло к Панаме, о которой индейцы рассказывали совершенно правдоподобные вещи. Конечно, ее на деле не оказалось!.. Манасеин по-своему прав в одном, что трудности всех мировых строительств (идея того же Панамского канала вынашивалась, если вы знаете, четыреста лет),— все эти исторические трудности для нас могут не иметь никакого значения. Об'ективных трудностей, как правило, не существует, есть недостатки рабочих методов. В наших условиях и Панама и Суэц были бы построены в более короткие сроки. Но кто сказал, что сооружение искусственных каналов наиболее радикальный способ борьбы с пустынями? Каналы — это всегда на крайний случай. Что осталось материального по берегам этих легендарных рек Унгуза и Узбоя? Почти ничего. А взгляните на следы колодезной культуры! Вчера только я встретил засыпанный колодец Крмызы-кую, кладка из жженого кирпича на цементном растворе, водоем с глиняными стенками и с бетонным полом вокруг колодца; преодолевая время, еще жили остатки тутовых деревьев, виднелись следы садов, густо лез гребенщук. А сегодня я проходил ложбинкой и натолкнулся у развалин большого колодца древности на кладбище рыб. Я шел по рыбьим костям, как по белому осеннему листу, он хрустел под ногами, распадаясь в крупный костяной песок. Здесь был устроен пруд,— поняли? Пруд возле колодезного оазиса, полный рыбы! Представьте себе, это вам профессионально легко, картину того, что здесь было. Ведь не голый же пруд только, а? Цвели сады вокруг водоемов, и в пруду баловались откормленные рыбы, в кибитках шла сытая, поэзии полная жизнь.

— Короче, что же вы предлагаете?

— Мы, инженеры, должны знать, для чего мы строим то-то и то-то. Я рассуждаю сейчас как инженер-скотовод. Наша очередная проблема — мясо. Предс'ездовские тезисы Наркомзема достаточно красноречивы в этом отношении. Что мы можем сделать с Кара-Кумами? Засеять их хлопком? Для этого надо двадцать лет сумасшедших темпов. Сейчас инженер-ирригатор должен думать о мясе, два, три, четыре, пять лет! Мой проект политически зрел и технически прост. Я не верю надземным каналам в пустыне. Надо иногда заглядывать в цифры торговой биржи, чтобы по ним поверять свои строительные расчеты. Я вижу — египетский хлопок дорог, он едва окупает затраты на орошение. Ставка англичан на Судан — это ставка на более дешевые руки. Египетский рабочий уже дорог. Индийский хлопок будет бить его, суданский тоже. Вода для нашего хлопка должна быть дешевой, как воздух. Удешевление воды плюс зверское поднятие урожайности — вот где наш выход. Но дефекты искусственного подземного

[1] Строитель Суэцкого и Панам...

орошения не исчерпываются его дороговизной,— в Колорадо потери воды на фильтрацию достигают пятидесяти процентов, и чем моложе канал, тем он больше теряет. А у нас грунт водопроницаем — подпочвы нет,— и первая вода почти вся будет уходить в землю на образование подпочвенных вод. В Мургабском, бывшем государевом, имении для района в двести квадр. километров на образование грунтовых вод было потрачено не менее трех миллионов куб. сант. воды, а — заметьте — вода шла местами по древним каналам. Кара-Кумы нам не оросить подземной водой, я в этом совершенно уверен. Надо использовать подземные воды под Кара-Кумом, проследить их и извлечь на поверхность посредством колодцев. Я не хочу отнять от Аму-Дарьи ни одной капли ее поверхностей воды, эта вода пригодится для орошения береговых земель; я беру воды, все равно уходящие в землю в результате неизбежной при всех обстоятельствах фильтрации, и под землею достигающие моря. От Аму в Каспий через весь Кара-Кум идет подземная река — ее я и хочу заставить работать. Что для этого надо? Привести в порядок существующие колодцы, учесть их, изучить, пробить сотни четыре-пять шурфов и приготовить карты подземных потоков. Четыре тысячи мелких колодцев, исправно функционирующих, возродят Кара-Кумы на всем протяжении. Никакой надземный канал не сравнится с моим унтергрундом. Наше дело указать скотоводам — можете рыть здесь, и не ройте там, вот вам карта движения подземной воды, и любой куса-уста, колодезный мастер, будет в силах поймать и вывести нашу реку, где ему нужно. Никаких расходов на испарение, на фильтрацию, никакой опасности размыва берегов, наконец, никаких работ по очистке каналов от ила, которые занимают массу времени и обходятся населению чрезвычайно дорого. Затем все работы по колодезному строительству осуществимы местным трудом, без ввозного. И главное — строить колодцы мы сможем, привлекая почти в половине средства скотоводческих артелей, или даже отдельных хозяйств, в то время как канал потребует особых вложений центрального правительства. Я думаю как скотовод, потому что проблема мяса, кожи и шерсти поставлена всей стране — а следовательно и мне — на решение в первую очередь. Я твердо отвожу всяческие хлопковые фантазии в Кара-Кумах. Это бред. Сеять хлопок на вчерашних барханах — бред. Мы проведем каналы, а агрономы еще десять лет будут ставить опыты по изучению почв. Кара-Кумы — Техас, и только дурак может сейчас ставить вопрос о решении хлопковой проблемы путем засева громадных неисследованных пространств. Если на каналах Манасеина хлопок даст 7 центнеров с *га*, не... чем шуметь. Нам нужны урожаи в 10—12 центнеров, их можно достичь в старых районах расширением хлопкового клина за счет других культур, установлением рационального севооборота, применением лучших сортов, удобрением. Кара-Кумы на ближайшие двадцать лет — база скотоводческая. Вот мой план! Я за гибкость, за приспособление к конкретным условиям, за твердый учет цели. Почему Туркмении надо повторять опыт Закавказья или Поволжья? Учиться на образцах? Но ведь образцы здесь, под рукой, все эти развалины древних поселений, остатки тутовых рощ, следы засыпанных каналов и иссякших колодцев. Вот что должно быть для нас классическими образцами.

Они давно уже сидели на склоне бархана. Неясная зарница, крадучись, вздрагивала где-то невдалеке и низко над самым песком. Ночь шла влагой.

— Понимаете, Адорин, иногда кажется, что лучше плохое новое, чем хорошее старое. В частности мы — водники — страшные консерваторы. Вот обратите внимание: никто из нас никогда не поднял здесь вопроса об использовании ветровой силы для орошения, а между тем кара-кумские

ветры для этого идеальны, исключительной трудоспособности ветры. Но нет же — мы лучше будем копировать Днепрострой, чем шевелить мозгами исходя из местных условий.

Вне эксплоатации солнца и ветра Туркмении нет. Солнце и ветер плюс вода. Надо советизировать эти энергии. Другого выхода нет.

— Слушаешь вас — вы правы, слушаешь Манасеина — он прав,— сказал Адорин.— Мне все-таки кажется, что у каждого из вас есть друг к другу какая то ревность, она мешает вам сработаться.

— У меня нет ничего кроме убеждения,— сказал Максимов.— Вот побудете с нами, присмотритесь — поймете, кто прав. Одно не забудьте — техника любого строителя, как и техника вашего брата — художника — это прежде всего его темперамент... Ну, надо ехать,— сказал он с сожалением.— Была бы вот у вас лошадь, проехали бы со мной до моего поста. Ну, идите, а то еще заблудитесь. Есть компас? — Главное, не верьте глазам. В пустыне глаза дают крен, как в темноте. Думаешь, что держишь прямую, а, оказывается, кружишь вокруг своей оси.

Колеблясь над горизонтом складками глубокой синевы, голубизны и зеленоватости, неслась ночь. Лунный пейзаж пустыни был холоден и неподвижен. Слух оказывался выключенным из действия, так сильна была тишина. и, казалось, могли бы произойти чудовищные события невесомой бесшумности, как тени или облака.

2

Всем, что ему сейчас выпало пережить, Адорин был счастлив до тоски. То, что происходило перед его глазами, нельзя было схватить и понять полностью, и ему захотелось желанием крайним, не знающим никаких уступок, остаться в пустыне и дожить до того дня, когда выяснится, кто же прав — Манасеин или Максимов? В силу чего, каких свойств ума, характеров, устремлений люди допускают ошибки в делах, существо которых, цифры, ясность, точность, неопровержимость. Провести бы среди этих людей год — другой и понять изнутри психологию и философию строительного искусства, больше — всей материальной культуры страны.

С этими мыслями он вернулся к кострам отряда. Все спали. У женского костра, между Осиповой и кухаркой, приготовлена была ему кошма. Он завернулся в нее и сейчас же заснул.

3

Итыбай[1], заведующий лавкой-кибиткой Туркменгосторга, всезнающий человек, собирал стада у колодца Мекан-кую, где можно было перегнать скот на левый берег с правого. Он послал палатку с двумя бригадниками, Ахундовым[2] и Ключаренковым[3] навстречу Манасеину, а сам налегке, верхом, в сопровождении третьего бригадника Вейсса[4] решил пробежать за колодец Мекан-кую, чтобы попытаться определить воду.

Он шел на коне целый вечер, ночь и день до сумерок, но конца воды все не было видно. Тогда он направил коня в поток и перешел его полуверстную ширину. Оседая на задние ноги и шатаясь, конь дотащил его до первого костра. Это было самое крайнее на восток от Аму стадо, и чабан его Гуссейн говорил, что дальше в песках никого нет. В час, когда они

[1] Сейчас уполномоченный Тургменгосторга в Сев. Кара-Кумах. Старик. Из батраков. Восторженный большевик по натуре.

[2] Переброшен в Узбекистан.

Директор промхоза в Кара-Кумах.

[4] Австриец, политэмигрант, погиб в катастрофе.

говорили о судьбе рек, песков и людей, Ключаренков с Ахундовым догнали караван инженера.

— Вы оба пойдете со мною,— сказал Манасеин.— Имеется решение райкома.

— А лавку куда же? — спросил Ключаренков.

— Так и носитесь,— сказал инженер.— Торговать-то все равно надо.

Итыбай же спал у костра на другом берегу потока. Он спал и видел сны, как молодой конь. Просыпался, бил себя ладонью по тельпеку и опять засыпал. Он видел во сне, что контрактация кончилась и он принимает каракуль, и шерсть, и копыта с рогами, и шкурки баранов, которые нынче отправляют за границу за их дороговизну, и что в лавке у него полный порядок. Потом река ударяла в кибитку, рвала ее на части, топила мешки с сахаром и ящики с табаком и угоняла каракулевые шкурки, как камышевые листья. Так сны — то плохой то хороший — бросали его из покоя в бред, он приподнимался; чобан Ибрагим, переживший возраст сна, разглядывал ночь и пел песню, собирающую баранов: гюрр-рой, гюрр-рой- гюр-гюр-гюр-гюр-рой. Псы подвывали ему. Интыбай снова ложился, чтобы сейчас же подняться, и наконец распутал коня, вскочил в седло и круто вошел в поток.

Бригадник следовал за ним молча. Поток вобрал их в себя и швырнул на самую середину. Огонь Ибрагима вдруг оказался торчащим высоко в стороне. Кони кряхтели. Вынув нож, Итыбай подрезал подпругу и сбросил седло. Бригадник сделал то же. Потом Итыбай снял с себя сапоги и бросил их в воду.

4

Повадки Хилкова, хотя о них никто не говорил вслух, стали общею темой. Все о них знали и над ними все подсмеивались в один голос.

Повадки Хилкова действительно были странны.

Он ходил в старых опорках на босу ногу, отпускал длинные ногти на коротких кривых пальцах рук, носил шерстяные браслетики на руках от простуды, никогда не пользовался письменными принадлежностями, потому что дал слово ничего не писать, а если приходилось делать расчеты или вычерчивать диаграммы — делал это с неприязнью и всегда аккуратно подписывал их.

Адорин очень точно прозвал его денщиком. У Хилкова не было ни родни, ни знакомых. Он никогда никому не кланялся первый, ни с кем не заговаривал на общие, к делу не относящиеся темы, ни с кем не дружил и держался очень безразлично ко всем окружающим. Семья Хилковых была одной из тех, которые встречаются в жизни каждого старого класса на всех ступенях его господства. Есть такие семьи, для которых государство их класса всего только историческая семейная летопись. Литература оказывалась поместьем дедушки Федора Ивановича, где плодились и размножались его потомки, наука пребывала под опекой дяди Семена и теток со стороны матери, в политике спорили двоюродные братья и какой-нибудь зять, тоже из старой и значительной семьи. Полтораста или двести лет Хилковы за фасадами искусства, науки и политики копили свои собственные сокровища — раздоры в искусстве, историю склок в науке, дуэли в политике, разводы, измены, геройства или мошенничества, они владели ключами всех событий и явлений российской жизни, которые за стенами их дома носили заголовки расцветов или кризисов общественной мысли, возрождения эпоса, тайн упадка пейзажа или истории нового реализма. Вся история культуры была сделана либо их представителями, либо представителями других фамилий, с которыми они обязательно состояли в родств

Вся история была для них историей семейных взаимоотношений, историей родовых карьер. Если бы когда-нибудь он отвечал самому себе на вопрос о причинах появления разночинской литературы, он бы сказал, что это оттого, что князь Сергей Николаевич проиграл в карты имение и, проигравшись, перестал с горя писать, а дядя Александр, увлекшись итальянской певичкой, поселился во Флоренции, и таким образом оба они освободили в русской литературе места, которые и были заняты предприимчивыми мещанами.

Григорий Аристархович Хилков кончил институт горных инженеров долго работал в Америке. Возвращаясь домой в отпуск, он заставал упадок в российской физиологии, запустение в литературе, истерические настроения в политике, и сейчас же, с американской быстротой и легкостью перезакладывал дедушкины поместья в целях оздоровления естественных знаний, увозил кузена-романиста в Грецию или Италию, предписывал ему омолодительные души классики или рекомендовал занятия археологией так же, как рекомендуют Виши, Кисловодск или Саки, доставал банковскую ссуду политикам и уезжал за океан с уверенностью, что, слава богу, домашнее хозяйство как-то налажено и продержится до следующего его возвращения. У него никогда не было никаких политических убеждений у себя дома, хотя в Америке он примыкал к какому-то учению. С брезгливостью относясь к правительственному аппарату, возглавляемому одним и ведомому другим его родственником, он только пожимал плечами — что делать, не вышли мозгами! Литературы он никогда не знал, убежденный, что раз в ней верховодит братец или дядя, или тесть такой-то, то большого смысла в ней быть не может.

Но он всегда с большой внимательностью относился, например, к географии, где подвизался умница полковник Яблоков, муж одной из его племянниц, а инженерию выбрал из уважения к памяти прадеда.

Когда в Америке он прочитывал об имени новой русской знаменитости, первый вопрос, который вставал перед ним, был — кто он у нас? Уже полтораста лет все большие люди, как правило, появлялись из их семейного муравейника и исключений почти не бывало. «Какой же это Михайлов?— думал он и находил его в длинном списке родственников по женской линии. В 1917 году Григорий Аристархович вернулся в Россию, так как дела его семьи, дела ее режима претерпевали небывалый кризис. Он приехал, когда правительство князя Львова, не собрав вокруг себя энергичного и делового дворянства, переписывалось, как перезаложенное и не выкупленное в срок поместье, на имя Керенского. В этом не было еще никакой беды, так как Керенские полтораста лет обслуживали Хилковых репетиторами, гувернерами, нотариусами и управляющими имений, и были в конечном счете почти домочадцами, своими людьми, мужьями неудачниц дочерей, или университетскими товарищами всех младших сыновей семьи Ему предложили место в министерстве путей сообщения. Он принял его чтобы отсидеть новый пост в крепости — дело было уже в ноябре,— и когда вышел на волю, ничего не узнал. Семья дралась на семи фронтах с меньшевиками, эсерами, монархистами, большевиками, против англичан и с англичанами, с немцами или против них. В этом не было еще большой беды, так как в семье существовали свои людские резервы — в семейных летописях были имена каторжан, революционеров, ссыльных. Он мобилизовал эти резервы и бросил их на руководящие посты. 1918 и 1919 годы он просидел в Чека. Когда он был выпущен — все было кончено. Дома, на Софийке, он подытожил банкротство семьи. Кое-кто очутился в Берлине, двое-трое отсиживались в Сибири, но это были последние и жалкие остатки рода. Он почувствовал себя в стране чужих людей, в доме, который ему совершенно

не знаком и в котором он неизвестно зачем пребывает. Но выехать было некуда, и он поступил на службу, чтобы отнестить ко всему, что происходит, так, как он отнесся бы в Америке — с очень спокойным любопытством и с искренним желанием вникнуть в дело, определить свои симпатии и жить стороной, считаясь теперь только с фактами и не обращая внимания на людей. Поскольку он был чужим правящему классу, он мог теперь спокойно отнестись ко всему происходящему с точки зрения того, что же именно, как и для чего происходит. Он служил в целом ряде учреждений, главным образом технических, руководил строительствами и общался с рабочими. Был он по-американски сух, но демократичен, быстр, ловок, бодр. Его всюду любили, ставили в пример, выводили в качестве показательного аристократа и специалиста, честно работающего на революцию. Да он и действительно честно делал все, что ему предлагали. В 1921 году бывший присяжный поверенный Сиверс, теперь юрисконсульт большого треста, сказал ему в «Метрополе»:

— Любуюсь вами, Григорий Аристархович, вот уж кровь у вас, да! Живучая кровь! Ведь исторически-то что интересно: годиков так через пятьдесят—семьдесят ваши потомочки, чего доброго, в самом Политбюро заседать будут. Ничего невероятного. Но какой сюжет для историка рюриковичи во главе компартии!..

Хилков сейчас же стал прощаться, избегая поддерживать разговор.

— Протаскивайте имя, протаскивайте, товарищ Хилков! — напутствуя, подструнил его Сиверс.

На другой же день Григория Аристарховича попросили в провинцию, и его очень неохотно отпустили на Урал. Он любил французские фразы в русской речи — и теперь отменил их. Он любил цитаты из классиков — и теперь перестал ими пользоваться. Он любил рассказывать о своих странствиях — и теперь не говорил ни о чем кроме непосредственных дел.

В 1923 году Страхкасса послала его в Эссентуки... В парке у четвертого бювета кто-то незнакомый сказал за его спиной:

— Все-таки, что он там ни крути, а князь в нем чувствуется. Какая речь! Какая широта взглядов! Какая эрудиция!

Не возвращаясь на Урал, он перевелся в Среднюю Азию. Быстро получил он маленькую и даже мелкую работенку по ирригации в заброшенном ауле на Аму-Дарье.

Его окружали туркмены и несколько человек служащих, из которых никто никогда не слыхал о былой славе его имени.

Григорий Аристархович взялся за самокритику. Во-первых — костюм. Он стал носить именно то, что носили работники сельской кооперации украинские вышитые рубашки, кавказский с побрякушками и висюльками поясок, туфли на босу-ногу с подвернутыми по-азиатски задниками, бархатную тюбетейку. Во-вторых — речь. Он перечел несколько старых романов, не целиком, а в разброд, и отложил их с чувством невероятной усталости. Ну да, конечно, в хозяйстве его семьи ничего не пропадало. Грехопадение дочери становилось проблемой романической эпопеи, пороки внука-гусара — темой пьесы. Герои литературы одного поколения были старшими родственниками читателей следующей генерации, ее образцами, примерами или семейными уродами. Забытые родственники освещались в памяти при помощи романов, заблаговременно о них написанных. Когда спорили о вкусах покойной бабки, раскрывали Тургенева или Толстого и восстановляли все в точности. Когда вспоминали покойного двоюродного дядю в двадцатилетие или тридцатилетие его смерти, молодежи рекомендовались одна или две главы из Достоевского. Григорий Аристрахович со скукой и отвращением отбросил книги. Действительно, он думал и говорил очень

традиционно, надо было изменить себя, вот и все. Он хотел жить и работать вместе со страной, в которой он оказывался гостем, и ему надлежало теперь заявить: с такого-то числа я порвал со своей семьей и не поддерживаю с ней никаких отношений.

Это значило для него забыть литературу, выбросить из головы все воспоминания, привычки, взгляды. Он пришел к выводу, что в конце концов свободно может обойтись четырьмястами слов. Они давали ему возможность все выразить, правда, без права называться очень разговорчивым или красноречивым человеком. Он стал пользоваться словами, с которыми ничего не случилось, такими, на которых не было ни кровоподтеков, ни пролежней, ни пристрастия к определенно классовым взглядам. Он говорил просто — дом, когда следовало сказать особняк. Он говорил «валяйте» в пяти или в шести разных применениях, а «пока» или «ладно» заменяли ему по меньшей мере пятнадцать различных слов. Он пересмотрел поэтому лексикон и свел его к двумстам словам, развив лишь междусловные комбинации. «Валяйте пока» могло заменить три или четыре самостоятельных фразы. Из ассортимента своих любимых поговорок он оставил одну. Вернее, он заново сочинил ее, и она нравилась, как поразительная по бессмысленности и невыразительности,— вместо: «вот так фунт!» он стал говорить, юродствуя: «вуаля ля ливр!» Но скоро он решил, что и эта фраза звучит неосторожно и может вызвать вопрос о знании им французского языка, и исключил ее из оборота. Впрочем она иногда проскальзывала у него в минуты раздражения. Ничего не выражая по смыслу, она неожиданно стала выразителем настроения. Он выписывал и исправно читал все газеты. Из них он почерпнул и ввел в действие «использовывать» и «головокруженцы». Это были слова, которые ни в чем нельзя было заподозрить. Новую литературу он не рисковал читать — она во многом напоминала его семейную, с той лишь разницей, что здесь совершенно непонятно было, о чем и о ком идет речь.

Герои новых произведений были теми же предками его и родственниками, только они говорили другое и совершали другие, не похожие на себя поступки, заседали в комитетах или сражались на фронтах, но Григория Аристарховича это не убеждало — они не могли этого делать — он знал,— и если все же делали, то только по безграмотности писателей, которые переодевали старые литературные модели, в то время как следовало построить свои собственные и притти в литературу со всеми бебехами, с родственниками, кляузами и привычками. Что касается мебели и вещей, то Григорий Аристархович выбросил все, что было старше семнадцатого года — все его вещи были куплены в кооперации. Вещей старше семнадцатого года он просто не узнавал. Мир кончался для него на рубежах СССР, и о своих американских делах он стал думать, как о выдержках из чужого романа. Раз в неделю он ходил в кино и раз в месяц ездил в баню в районный городишко. Он не возражал теперь против утверждений, что вши заводятся от тоски и скуки, а блохи указывают, что человек болен. Более того — он сам защищал точку зрения, что клопы заводятся в постелях от желудочных газов.

И когда однажды, в 1925 году, Манасеин —его начальник — сказал ему:

— Слушай, князь...

Хилков вздрогнул.

— Почему князь? — спросил он.

— Были такие князья Хилковы,— сказал Манасеин,— ты на них, брат, как баран на луну похож, вот это-то и смешно. Очень уж глупо выходит про тебя — князь.

Хилков остался доволен. С тех пор прозвище «князь» за ним укрелось и стало ему приятным.

После этого Григорий Аристархович присмотрелся к Манасеину и быстро отнес его к тем разночинцам, которые по инерции завоевывали еще какие-то позиции, передавали какие-то культурные наследства, вручали ключи и называли себя общественными деятелями, забывая, что общественное — это до некоторой степени выборное и, стало быть, ответственное перед избирателями. Но если бы Манасеину сказали, что люди, выбравшие его общественно служить инженером, предлагают ему перейти в кооперацию, он бы возмутился, послал бы их к чортовой матери, и запутался в об'яснениях, утверждая, что общественное служение — это призвание.

— Все Антона Павловича дети,— думал о нем Григорий Аристархович, и в минуты раздражения он даже так и передразнивал вечно спешащего Манасеина.

— В Москву! В Москву! — бурчал он.— Тоже Художественный театр.

— Да какой же я «чеховец»,— проводил усами Манасеин,— у нас, у казаков, сроду не было этого Чехова. Откуда ты взял?

— Да чорт его знает, в кино как-то слышал,— соврал Хилков.— Сижу, а за моей спиной одна говорит своему парню: «Коля, ты же вылитый Чехов. В Москву! В Москву! Тоже Художественный театр!»

— Вот чудак! — сказал Манасеин,— а это, ведь, действительно фраза из Чехова. «В Москву! В Москву!» Ты бы почитал когда книжки. Все-таки техник.

Всем сейчас вспомнился Григорий Аристархович из-за новой выдумки. Теперь, на привалах, он ловил варанов, с живых сдирал шкурки, надевал их на железные распялки и сушил у огня.

— На отпуск,— говорил он.— Я с Госторгом договор имею, по полтиннику за мерзавца, экспортный товар. Наберу сто рублей, поеду в отпуск. В экскурсию,— добавлял он.

Туркмены привезли ему в подарок громадного, в метр длиной, варана, и он оставил его в живых, чтобы предложить в музей, возил с собой в деревянном ящике и кормил сырым бараньим мясом.

5

Был девятый день похода, полдень, белизна соляных впадин в пазухах песчаных холмов. Под неощутимым ветром медленно, в перебежку, крадучись, шел песок с северо-запада на юго-восток. Воздух из красно-зелено-оранжевых волокон связывал и утомлял глаза, как связывает пароходный винт намотавшиеся на него водоросли. Глаза разучивались воспринимать линии и отвечали лишь на пятна резких тонов. Сердце нарывало в груди, готовое лопнуть на каждом вздохе.

Манасеина и Нефеса, как всегда, не было при отряде. Они шли одни и слали записки с десяти разных мест, руководя каждым километром пути. Караван, становясь на ночлег, находил их уже у костра в условленном пункте, с готовой программой на завтра. Вечером, когда прибывали верблюды с водой, Манасеин начинал обряд чаепития со своим конем. Конь Нефеса был чистый текин, угловатый, сухой, необщительный, и даже злопамятный, а манасеинский — добрых русских кровей, азартный и баловной. И ему жилось хуже. Он не ел колючки и не пил солоноватой колодезной воды, но уважал остуженный зеленый чай, которым ему заправляли воду, и выпивал такого питья ведра по полтора за вечер.

Миражи стояли по всему горизонту, скучно и постоянно, как реальность. Караван дремал на условленном месте. Хилков кормил варана. Кухарка пела у костра про девочку, зарезанную мачехой[1].

6

Вода шла размашистой скользью,— вынося коней на самую середину. Кони уже не плыли, а только держались на воде. Но вдруг стало мельче. Захлебываясь и подгибая ноги, лошади утвердились на мели, посредине потока. Вода им здесь доходила до коленных суставов. Они огляделись. Правого берега, который они покинули полчаса, не было видно, левый, в камышах, издалека брезжил кострами.

— О-хо-хо-о! — закричал Вейсс.

— Не услышат,— сказал Итыбай,— сами помирать будем.

— Думаешь, помрем? — спросил бригадник.

Итыбай оглядел воду, небо, прищурился на брезжущий берег и сказал:

— Так будет.

Тогда бригадник закричал еще раз. Крик его был тупым и не расходился вдаль, а падал возле. Он кричал, приподняв глаза и поводя головой в разные стороны. На крик отозвались шакалы, их визг разлетелся в разные стороны, как многократное эхо. Между криками Вейсс думал об Австрии, о семье, о том, как он год назад приехал в Москву, спасаясь от тюрьмы и каторги, и о том, что произошло с ним за это время в Союзе. Он обязан был умирать на смертных постах революции, но он обязан был и жить, когда можно было схватиться за жизнь.

Шакалы обстреливали его крик пискотней. Кони дрожали от страха и холода. Вода чесала их животы, стремясь еще выше. Крякнув, Итыбай тихо сполз в воду и стал рядом с конем. Вейсс остался сидеть на своем.

— Подожди, старик — сказал он,— подожди.

Вспомнилась ему тут старая, очень ласкающая душу история... Шли раз на греческом паруснике из Триеста в Бриндизи, с паспортами, наспех собранными вслепую. Стоял адриатический сентябрь, месяц вишневых красок и запахов расцветшего моря. Был месяц чистых горизонтов и штилей. Рыжие с черными, как древние грамоты, венецианские паруса кружились в море, радуя своей ветхостью и простотой. В Бриндизи пришли ночью и спали на паруснике, пришвартованном в самом дальнем углу мола.

Чистый, мелом протертый, белесоватый Бриндизи казался пыльным от своей белизны. Ветер ходил по набережной, как мертвая зыбь, разгоняя богомольцев, ожидающих судна в Марсель через Неаполь и Геную. Ребята устроились за городом, у каменотеса Луки, днем купались или ловили рыбу, а вечером ходили в портовые бары. В одном из них Вейсс подружился с танцовщицей Анни, венкой, выдававшей себя за сербку, так же как он выдавал себя за грека из Македонии. Боясь самих себя, они иностранно говорили на своем родном языке, уродуя его до нелепостей, но — как сменна и терпелива жизнь — думали, что из них двоих один, конечно, не замечает уродства речи, раз он не австриец. Анни была женой офицера, свинченного из сложных протезов, и танцовала в барах от Бриндизи до Стамбула, чтобы оплатить торжество сложнейших мужниных костылей, полученных в долгосрочный кредит.

— Я работаю на промышленность,— говорила она.— Пока выплатим то, что следует, непременно понадобится еще что-нибудь или испортится

[1] Она справляла, кстати сказать, юбилей беспрерывной пятилетней работы [illegible].

уже оплаченное. Мы никогда не выкупим своих мужей, хотя здоровыми они обходились нам даром.

Вечерами, после программы, Вейсс заходил за Анни и провожал ее до дому. Однажды они решили провести день или сколько придется вместе. Анни оказалась свободной по случаю ремонта бара, они катались на лодке, а потом долго и мудро сидели на белых камнях набережной, любуясь проходящим мимо них временем.

— Ты не из Македонии,— сказала Анни.— Но вот кто ты — не знаю.

Потом она рассказала с откровенностью нищей, как хорошо можно заработать на сообщениях полиции, и как не везет ей — никогда ничего не могла она сообщить. Когда наступила ночь, они купили вина и сыру и пошли в ее каморку. По дороге, встревоженный словами Анни, Вейсс быстро опустил в почтовый ящик письмо. «Матери, чтоб приготовила встречу»,— сказал он. Молодое вино придает азарт, они пили его, роднясь одиночеством, нищетой, бездомностью, и Анни пела ему сербские песни из несуществующих слов, а он — краснея — отвечал ей ласковым ворчанием по-гречески. Был тот час у них, когда уже ничего не остается у человека, кроме дыхания, когда все рассказано и услышано и нужно только вдышаться друг в друга, чтобы навсегда — так верится — стать одним существом. И тут, разыскивая слова, сброшенные как платье, вспомнил Вейсс — письмо!

Он бросил не то письмо. Он бросил не то письмо! Он опустил заявку на смерть.

Он вскочил и стал одеваться.

— Анни — закричал он, не забывая ломаться,— Анни, друг мой, со мной несчастье. Я не должен был посылать этого письма. Я погубил себя, Анни. Я ухожу сейчас.

Она вскочила вместе с ним.

— Ты с ума сошел, надо вернуть письмо,— сказала она.

— Да, но как? Нет, Анни, это невозможно.

Страх валил его с ног. Письмо подводило не только его, но и товарищей, он оказывался предателем, он разрушал дело.

— Дай мне чулки,— сказала она,— и пальто. Я не стану, пожалуй, возиться с платьем. Действительно, надо спешить. Ах, какой ты! А еще большевик! Кто вас, чертей, учил быть такими разинями? Корчите бог знает кого, а у самих слюна в голову бьет от страха.

Они выбрались темным двором на улицу. Все было тихо, даже пустынно. Так тихо, что слышалось, как фыркали через весь город машины больших пароходов в порту.

— Последняя выемка писем в восемь часов,— сказала она,— ты бросил десять. Письмо на месте. Жаль, у нас нет еще бутылки вина. Надо бы запить твой испуг, а то — смотри — заболит живот.

— На месте! Ты с ума сошла, Анни. Я не могу заявить, чтобы мое письмо вынули.

— Куда это заявить? — удивилась она,— мы сами и вынем. Одним словом, оно не уйдет. Молчи. Идем быстрее.

Было тихо. Одни их сердца суетились на улице, как колотушки пьяного сторожа.

Они подбежали к ящику, Анни достала из-под пальто скляночку с керосином и кусок ваты, просунула вату в отверстие ящика, облила ее керосином и зажгла. Огонь погас. Она повторила свой опыт — все то же.

— Ломай! — шепнула она...

Но и вдвоем они не могли бы за всю ночь сбить ящик с болтов.

— Подожди,— шепнула она,— если что, притворись пьяным,— и убежала в сторону своего бара.

Она вернулась с небольшим железным прутом. Они вставили его между стеною и ящиком и оторвали болты.

Он схватил ящик и понес к молу, и с адским шумом, ругаясь, бросил в воду. Анни, забрызганная с ног до головы, утирала лицо подолом сорочки, говоря:

— Жаль, что у нас с тобой нет бутылки вина. Ах, какая ты все-таки дрянь, дорогой мой, ведь ты же — большевик, не скрывайся, пожалуйста.

Он обнял ее и поднял на руки и так нес обратно, целуя и называя громко ласкательными словами.

— Будь моей женой,— сказал он,— будь, Анни. Ты не знаешь, какая ты радостная.

Она покачала головой.

— Не могу, милый мой грек. У меня — муж и ребенок. Они меня любят и ждут.

— Анни,— сказал он,— я не грек, я — как и ты — венец. Мы запуганы и гонимы. Анни, пойдем со мной.

Тогда она закричала:

— Я? Ты с ума сошел. Я — венка? Господи, я сербка. Я же тебе сказала это, проклятый.

У стены ее дома они долго плакали вместе.

— Иди,— говорила она,— иди к себе. Мне тебя стыдно. Подумать только, какого дурака мы ломали. Уходи и не встречай меня. Смотри, как страшно жить,— ты доверился мне только из страха смерти, и вот я тоже боюсь тебя и доверяю тебе мой страх,— уйди.

Она обняла его и толкнула.

— Иди, мой проклятый,— сказала она на прощанье.

— Подожди, Анни, подожди,— говорил он. И вот сейчас, эту историю вспомнив, он также торопился сказать:

— Подожди, старик, подожди,— но конь его качнулся, Вейсс схватился за реку, скользнул в нее и пропал. Вода забурлила и вспучилась вслед за ним.

Итыбай открыл глаза — ночь отходила вверх, огни далеких костров вытянулись столбами дыма. Вода еще ухнула где-то ниже, взвизгнул берег, время стало против Итыбая, и он не посторонился, а принял его испытующий взгляд. Ночь отошла, и долго неистовствовал день. Солнце в непонятном оцепенении лежало на гребнях барханов, погрузив день в забытье обморока. Такого долгого дня еще не запомнил Итыбай и счел его за свое счастье.

Он подергал коня за уши и, хлопнув по спине, велел плыть к берегу. Шакалы бесновались по всей линии камышей, потому что происходящее на воде было им видно. Шакалы готовились принять обессилевшего коня. Конь не решался плыть, но Итыбай отгонял его от себя взмахами рук. Сам он стоял по шею в воде.

Тогда очнулась от одури собака Манасеина — рыжий пойнтер Кольт. Припав на широко раскаряченных ногах, будто слушая землю, она сообразила, рявкнула растерянно и, поднимая людей, верблюдов, пустыню, помчалась в камыши, далеко от стоянки. Шакалы изрыгали из себя вопли и скрежет и вдруг смолкли. На барханах показались Нефес и Манасеин. Елена махала им рукой, визжа и визгом показывая на собаку...

— Тут чужой человек есть,— прокричал Нефес и, обгоняя пеших, пошел крупной юргой.

Конь Итыбая уже лежал на берегу, и Елена кричала сквозь слезы, оказывая рукой на середину потока, на голову Итыбая, мерцавшую в воде.

— Сначала — я, ты — после,— сказал Манасеин и на галопе вбежал поток. Он плыл невероятно долго и, казалось, что много раз наставало

время погибнуть его коню, но вот он доплыл до Итыбая, протянул ему руку, скользнул сам в воду,— и так, держась за коня с обеих сторон, они поплыли к берегу.

7

Под Юсуп-Кую, на одинадцатые сутки борьбы с водою, Манасеин заснул, как сидел, у костра. Он спал, будто древний оракул, единоборствуя с собою. У костра собирались гонцы отрядов — от Куллука Ходжаева, от Хачатряна, от Итыбая-Госторга. Шла самая свежая новость о курбаши Магзуме, шайка которого появилась в этих местах пустыни. Костер верещал, как сорока, сырыми ветками. Люди сидели, шарахаясь от плевков костра, и терпеливо ждали. Делибай, сумасшедший барин, игравший с водой смертельные шутки, спал после многих дней бодрствования. Он спал и уставал от сна, потому что все дела пустыни казались ему уже переделанными. Но вдруг мысль, что все еще впереди, выбросила его из сна. Он перевернулся через себя, расталкивая костер и в беспокойстве подымая рядом сидящих.

— Ну, валяйте в порядок очереди. Давай, Бегиев [1]! — тотчас же сказал Хилков, даже не подождав, пока Манасеин придет в себя полностью.

Конный от Куллука Ходжаева прискакал с тревожным известием: часть кибиток ходжакалинского общества, забрав с собой впавшего в болезненный сон Февзи, явилась с ним к хасаптану (звездочету и знахарю).

— Почему человек спит и ест исправно, а глаз не открывает и не произносит слов?

— Потому что это примета для вас,— сказал хасаптан.— Пророк замкнет ваши уста, и в молчании и в слепоте вы будете претерпевать ваши невзгоды.

— Долго ли будем в страхе воды?

— До тех пор, пока не откроет глаз этот человек и не прекратит движений пловца.

Тогда с криками и воплями повезли хаджакалинцы полутруп Февзи по всем кишлакам и кочевкам, требуя поддержки против инженеров, запутавших воду.

Вследствие их пропаганды обвалование озера было сейчас же мобилизованными прекращено, и народ разбежался.

Куллук Хаджаев доносил, что он бросился с десятком своих комсомольцев отбить тело Февзи и просил Манасеина немедленно схватить и изолировать хасаптана. Он сообщал еще, что техник Максимов оставлен им для наблюдений у озера с тремя ильджикскими декханами. Агент Госторга, зангезурец с воображаемым кинжалом, писал, что чилийские холмы приведены в порядок, открыты продовольственные ларьки, начато распределение кормов для стад и из Чарджуя срочно затребован ветеринар в виду появления каких-то странных, повидимому, нервных болезней у скота.

— Ну, Александр Платоныч совершенно дискредитирован,— сказала с ужасом Иловайская.— Вот судьба!

И не стала слушать Ахундова, бригадника, который только что приехал от Итыбай-Госторга с ужасной новостью о басмачах.

Адорин лежал на кошме у хилковского багажа и наблюдал за маленькой змейкой в ящике, пожиравшей мышь. Змея была сама не больше жертвы и налезала на нее всем своим телом, как тесная наволочка на подушку, сначала верхним краем, потом нижним. Когда Манасеин крикнул ему: «берите с собой студентку и одного проводника и срочно, перекинь-

[1] Милиционер.

тесь на правый берег, идите им до Юсуп-Кую, всех гоните к холмам Чеммерли»,— Адорин даже не удивился.

Елена сказала:

— Чорт вас знает, какой вы везучий! Всегда с дамой. Возьмите вместо нее меня.

— Неудобно,— сказал Адорин и заспешил собираться.

«С некоторых пор студентка начала его бесконечно раздражать. Заботливость ее от смущения и еще от чего-то, что выглядит как страх,— думала о поведении студентки Елена.— Осипова стремилась всегда встать раньше Адорина, чтобы он не увидел ее обнаженной или растрепанной; она приготовляла ему место для сна и будила к еде и всегда так устраивалась, чтобы он был чаще со мною, чем с ней. Раздражение Адорина от того, что Евгения начала беспричинно и опасливо его смущаться, невольно переходило у него в предвкушение, в симпатию, хотя я,— Елена улыбается своим мыслям,— откровенная и сумасбродная, нравилась ему больше. Но именно потому, что я ничего не стеснялась, ничего не выдумывала и относилась с простодушным спокойствием ко всем капризам окружающих, Адорин не углублял со мной своих отношений. Раздражение против Евгении перестраивалось у него в увлечение, перед которым, сам того не желая, все другое он отстранял. Желание снова видеть нас обеих, как в то ильдмикское утро, освободило бы его чувственность. Заботы Евгении, чтобы случившееся не повторялось, вооружили ее против Адорина. Я радовалась натянутости их отношений».

— Вам нужно быть проще,— сказал он однажды Осиповой.— Люди, которые, как мы с вами, живут и дышат вдвоем, от многого освобождены.

— Например? — спросила она.

— Живя вдвоем, отвыкаешь от многих условностей.

— Тогда мне проще быть сложной,— ответила она глупо.

8

Обычно костров разводилось не больше трех,— один для Манасеина и Нефеса, другой для всех европейцев с Хилковым, третий для туркменов — рабочих отряда.

Вот Семен Емельянович Ключаренков, уважительно отсидев с полчаса у костра Манасеина, идет переругиваться к Хилкову.

Как бы мирно ни истек их день — вечер всегда со скандалом. Подточав сапог, залатав брезент, накормив варана, Хиликов вынимает большой складной нож с разными отвертками и штучками и начинает свои ручные анекдоты. Как бы болтая всякую ерунду руками, он быстро срезает, склеивает, организует потешные штучки, силуэты из бумаги, модели колодцев из веток кандыма, ветряной двигатель из проволоки и старой консервной банки, фокусника из жести, прыгающего через голову на ветру. Руки, как и язык наш, любят иногда поболтать, пошутить. Шутки хилковских рук всегда остроумны. Желание общаться с людьми, заглушенное им в словах, выдает себя красноречивостью рук. Наговорившись руками, он отползает от огня, завертывается в брезент и тотчас же, еще протягивая руки, начинает храпеть — раскатисто и певуче, будто смеясь сквозь зубы.

Раз после трудного перехода, Адорин услышал:

— Анна, детка, ты бы помылась когда. Чего не моешься?— голос Хилкова и ему ответил кухаркин, раздраженный от лени:

— Ой, и так хорошо будет, уверяю.

Ночь у третьего костра бывала самой непринужденной. Тюячки[1], уставив огонь медными кувшинчиками, просторно укладываются на кошмы, — поговорить. Семен Емельянович Ключаренков приходит с неизменным Ахундовым и тотчас же, не теряя времени, вступает в разговор. Он произносит речи. Еще не дослушав его до конца, Ахундов вдохновенно закатывает глаза и кричит:

— Подожди, я переведу!..

Его останавливают, и потный, с трясущимися восторженными глазами он вполголоса воет от пафоса.

Ключаренков открывает ему возможность излить себя, и он беснуется из боязни забыть все нужные слова и пересидеть вдохновение. Иногда приходит Евгения — и с нею начинается музыка. Она молча слушает, закрыв руками глаза, и тихо просит повторить песню или мелодию несколько раз, потом воспроизводит ее сама. Мечта всех туркмен отряда подарить ей дутар, и они собирают между собой деньги для подарка. Дутар — она ничего не знает о заговоре — купят ей где-то за Юсуп-кую и поднесут на специальном тое[2].

Всем, в том числе и Манасеину, ее способность запоминать мелодии кажется фокусом. Ее зовут Евген-бахши и очень любят.

День был труден ветром. Ветер не дул, но переворачивал воздух, и воздух кувыркался на бегу и бесновался, то вздымаясь гребнями, то падая на пески и ползя по ним. Над пустыней вставали две зыби песка. Они шли одна против другой, качая землю. Запутанный ветром, прибился к отряду бахши Салтан-Ниязь, спешащий к прорыву, где живет его род. Едва напившись чаю, он вынимает из футляра гыджак и легко и тихо касается крючковатой рукой его корпуса, сделанного из полушара древесной дыньки и обтянутого поверху тонким пузырем. Коричневый загар дыни, полной, как женская грудь, очень матов и пестр оттенками. Елена говорит — гыджак похож на нашу грудь, правда? — Евгения кивает головой.

— Да. Мне даже щекотно, когда я вижу, как он трогает и гладит гыржак. Я и музыку воспринимаю как-то сосками, ты только не болтай об этом, Елена.

Бахши поет. От ветра быстро темнеет.

Евгения, откинувшись на кошму, будто глядя на что-то позади себя, засыпает. Ветер шевелит складки ее сарафана и кажется, будто она вздрагивает во сне. Елена отходит в сторону, к колодцу, вытаскивает из своего мешка маленький тазик, прикрывается ото всех большой манасеинской буркой и что-то полощет в воде.

Пустыня вздымается к ветру и несется в его тяжелом и страшном беге.

Здесь жизнь должна казаться невозможной, борьба немыслимой, радость человеческая вынужденной.

Бахши поет песню за песней. Они имитируют ветер и рев воды, вой шакала и свист ядовитых змей, они вызывающе и зло высмеивают природу, умеют смеяться, нежно любить и звать к бою, мстительны и обладают гордостью и самомнением большого искусства, не представляющего, чего не могло бы оно преодолеть в своей властной живучести. Бахши поет песни, останавливающие караваны, укладывающие баранов на отдых, вызывающие сыпь во время болезни казымак, и песню, которая умеет оцепенять пески.

Его голос и звуки гыджака легко проникают в мятущийся воздух, как запахи или как свет, и распространяются в нем естественно. И когда ветер срывает с Елены бурку и она видна сидящей на корточках перед тазиком.

---

[1] По[illegible]чики вер[illegible]люлов.
[2] Пра[illegible]пир.

голая, Адорину кажется, что это гипноз музыкального образа, и он не отводит глаз. Но раздается смех Хилкова. Бахши оглядывается, видит женщину, которая догоняет свою скачущую одежду, делает паузу и начинает новую песню о том, что в кооперативе есть папиросы, которых туркмены не курят, и нет табаку «нас», есть маркизет неизвестно на что и нет материи для халатов. Старик может еще спеть о любви, но он учтиво ждал заказа. Кто же знает, что именно нужно людям, которые интересуются всем и ни на что не жалуются и не сообщают, влюблены ли они, готовятся ли к свадьбе, или ожидают рождения сына? Он может петь песню, от которой худеют кони, или песню о комсомольцах, идущих в Красную армию, или о женщинах, которые раз'езжают по аулам и говорят речи.

Салтан-Нияз не читает газет по неграмотности и слепоте и никогда не был ни на каком заседании.

— А откуда все знаешь?

Он хитро смеется.

— Пока есть конь, выбирай дорогу. Пока гыджак в руках...— и поет о себе, как он пересекал однажды пустыню на старом белом осле.

Становится совсем темно. Елена, закутавшись в бурку, дрожит и спрашивает испуганно:

— Кто это смеялся?.. Все видели?..

Ты чего, товарищ Елена?— спрашивает Ключаренко.

— Ну, посмотрели на тебя, ну — что? Не полиняла, небось? Кто смеялся? Дурак и смеялся, а умный с толком на тебя смотрел — с толком и с уважением,— он хитро оглядывается на Адорина и отходит в сторону.

Костры сегодня разведены в ямах и прикрыты с боков. Ключаренков садится помолчать у огня. Ночью он становится моложе, память его, собравшись ко сну, вдруг расходится, как гуляка, и бедокурит напропалую, самого его удивляя смелостью. Отворяются двери во все прожитые года, и материал их событий заменяет небогатое красноречие.

Если бы изложить его мысли логически, они вылились бы в глубокую систему. Он был твердо уверен, что инженер вовсе не мастер домов, мостов и паровозов, а организатор рабочих сил для стройки домов и мостов, что врач — организатор масс по созданию общественного здоровья, а писатель организатор масс для обретения здоровых жизнеобильных эмоций

Впрочем, для писателя он, может быть, и сделал бы исключение, назвав его, как это сделал когда-то один француз, следователем по важнейшим делам человеческого характера. Он бы задал писателю вопрос — счастлив ли Манасеин? Честен ли техник Хилков? Чем кончит Елена?— и остался бы без конца удивленным, не получив ответа, потому что тот или иной человек еще не был до конца сочинен писателем.

Семен Емельянович принадлежал к пионерам новой профессии, родившейся на наших глазах. Слесарь мехмастерской на одной из Тверских текстильных, он последний год целиком пробыл в рабочих бригадах, чистил колхозы под Нижним, ревизовал сельскую кооперацию, ударничал на Турксибе, и вот был послан, в числе двадцати пяти тысяч, крепить связь текстильщиков с хлопководами. Он выбрал Ильджик за глушь, за трудность,— чинил плуги, об'езжал одряхлевшие катерпиллеры и контрактовал каракуль и шерсть в пустыне.

Пустыня не раздражала его, как Манасеина, и не пугала, как Максимова. То, что Манасеин с детства организовал себя на строительство нового моря, нисколько не умиляло его. Сам он, придись ему такой случай, давно уже поднял бы села и племена на полюбившееся дело. Что касается идей Максимова, Семен Емельянович сочувствовал им гораздо больше, чем манасеинской. В его мозгу слово «колодец» было более простым и дешевым, чем

«море». Ближе всего ему было чувство Елены, любившей пески обыденной, потому что они есть, потому что среди них идет жизнь, любовью. Он принимал пустыню, потому что она существует, и искал средства сделать ее жилой. Ему не хватало образов, то есть цифр, чтобы показать наибольшую практичность своей точки зрения. И вот он рассказывает у костра о хлопке, колхозах, семнадцатом годе, и Ахундов, которому, как дышать, хочется говорить, трясет его за рукав и хрипло шепчет:

— Чемён! Подожди, Чемён! Я переведу. Пей чай, теперь я скажу.

9

Полоса барханных песков походила на море в мертвую зыбь. Сорокаметровые волны барханов и сорокаметровые впадины между ними казались бешеной зыбью, омертвевшей на всплеске. Елену тошнило от одного вида этой конвульсивно застывшей волны, которая в любую минуту могла отойти от оцепенения и забиться страшным раскатом. Ее тошнило, даже когда она шла пешком. К ней в качестве няни приставили Анну, кухарку, но та, не понимая, что существуют слабые нервы, говорила:

— Да она ж в доску беременна, уверяю.

— От кого бы?— серьезно удивлялся Хилков.— От мужа? В отпуске человек.

Он прищуренно посматривал на Адорина.

— От ихнего мужа ничего такого не может быть, уверяю,— сжав губы, замечала Анна.

Она вскидывала глаза и говорила с уверенностью:

Уверяю, что от кого-нибудь новенького.

— Вуаля ля ливр! Кого-то бог послал ей? Не знаете?— вдруг спрашивал Адорина техник.

Верблюдов спускали с обрывов, как груз на талях. Дороги не было.

Анна, что про нее говорят?

— Да, что про нее говорить: шлюха, шлюха и есть. Вот тебе и весь анкет.

Адорин стал догонять Хилкова. Он шел и полз, версты были непроходимы, он шел и полз два или три часа — и добрых десять верст тянулась от Анны до Хилкова Еленина жизнь.

— Я не совсем понял, что вы сказали об Иловайской. В чем дело?

— Очень вам надо понимать.— Хилков записывал что-то в книжку, роясь в кустах гребенщика и озирая местность.

— Мне показалось, что вы связываете наши имена.

— Ну, извините, если показалось обидным.

Адорин разыскивал жизнь Елены, как потерянного в пути товарища. Вот он только что был здесь, прошел туда, свернул в сторону и на глазах потерялся.

К ней относились — он это выяснил — с презрительным уважением, как к человеку с общественно-нужной, но грязной и мало приятной работой. Она имела стольких любовников, что вслух имен их нельзя было произносить, ибо всегда из двух мужчин, один был, а другой собирался стать им. Это была женщина, тело которой возбуждалось не мужчиной, а для него чем-то своим, от себя исходящим. Ее тянула к себе безвольность, расхлябанность, неприспособленность человеческая, ее страстью было устраивать, определять, выводить в люди. Ей нужен был нытик, чтобы излечить его от меланхолии, и неудачник, которого она сумела бы сделать счастливым, или безработный, чтобы устроить его на службу.

Пустыня была тем участком жизни, который она застраивала людьми. Она хотела, чтобы вокруг нее были люди, и если для этого надо было сначала принадлежать им — она принадлежала. Заболев малярией и получив предписание врачей выехать на север, она осталась, так как необходимо было найти агронома. В конце концов она уехала в Кисловодск и вернулась с молодым застенчивым юношей тимирязевцем. Когда выяснилась нужда в получении мелиоратора, и возможный кандидат оказался в лице заезжего аспиранта из столичного института, она уступила ему одну из своих комнат, послала тимирязевца в район и пережила героическую любовь, отрывая аспиранта от надежд на кафедру и погружая его в любовь к пустыне и к себе.

— Семен Емельяныч, а вы?

И все, что осело в душе, вдруг отдал Адорин надежде, что все сейчас об'яснится.

— Знаете,— сказал Ключаренков,— не осуждаю. Она, чорт, крутится с нашим братом, будто всю свою жизнь в научной командировке какой. В данном положении даже полезно, скажу тебе. Даже полезно.

Но он сказал это так, что не мог бы защитить своего мнения ни перед какой контрольной комиссией.

Чайники неистощимы. Ночь закипает в чаю. Ночь огромна, высока и отстраняет небо так, что то едва просвечивает звездами сквозь голубизну. Луна оказывается вся в зеленой ночи и ныряет, как утопающий пловец, на самое дно ночи, все не умея выскользнуть вверх, на поверхность, над ночью.

— Чемён!— говорит Акундов,— скажи что-нибудь, я переведу!

— Спать пойдем, вот что,— отвечает Ключаренков,— спать пойдем, браток. Товарищ Адорин больной, как вернувшийся из тяжелой поездки Жар у него.

Он трогает голову Адорина

— Смотри, до чего горяч. Интеллигенция, сукины дети, красоты добиваются — загорают без штанов на солнце, а тут — одна лихорадка от солнца. Солнце-то тут лихорадочное,— говорит он задумчиво.

«Меня укусила змея»,— хочет сказать Адорин, но видит — никого нет, ночь, шорох песков, все это было сном, сном, и завтра с утра на коня — догонять отряд. Он еще думает предупредить о чем-то Евгению, но откладывает: «пусть спит. Вот Елена — та милая, той все можно сказать.

У Елены заболел слух, не уши, а самый слух, как может заболеть голос. Это было от страшных — в ожидании ветра, басмачей или воды — ночей, когда предметы и расстояние познаются на слух. Она устала выслушивать голоса стад, кочевников, зверей, гадов и везде могущего появиться потока.

(Окончание следует)

Четыре сабли

(Отрывок из романа)

Ю. Яновский

Первая песня

Голос: Благословите искренний мой труд.
Бывалых дней да отомкнутся двери.
Перу и рвенью недостойных рук
Не откажите с первых строк в доверьи.
Как много в этом мире есть отрад,
Краев далеких, зеленью богатых.
На солнце зреет синий виноград,
И плещет море в песенных раскатах.
Стальные дива ходят на морях
И кличут нас, и флагами нам машут,
Но для чего нам их бунтарский стяг,
Коль он чужой нам и отчизне нашей?
Сотрется юность пылью позолот.
Лишь вечный труд не сгинет во вселенной,
Когда стране покорный сын дает
На выкуп сердце молодое вено.
Полощутся под ветром руки рей,
Окрай земли обманы заозерий.
Хор: Плечом к плечу стоим мы у дверей —
Пред нами мир открыт, как двери.

Они замерли, будто глотнули крепкого яда, и от него у них сперло дыхание. Только чуб Галата шевелился, свисая над глазом. Изрытое оспой лицо Марченко стало страшным сразу — обитое морской водой лицо, цвета сухой полыни. Остюк беззаботно держал в руке подсолнечник и положил руку на плечо Шахая. Последний угрюмо пригнулся на стуле, протянув вперед сцепленные руки. Он точно сидел в седле. Новенький френч с пятнами на плечах, где были погоны, солдатские штаны и новые шевровые сапоги со шпорами, букет свадебных восковых цветов на груди — так выглядел Шахай.

Это сидели на скале орлы, проникнувшиеся всей серьезностью застывших минут. Это еще не нарушенная ничем тишина, которая разорвется громким плачем стрел, лязгом щитов, ржаньем коней, и задрожит степь, затрясутся дороги под копытами смелых всадников. Знают ли они свою силу и власть, размах клинков своих, мужество сердец и ясность глаз? Не знают они ни силы, ни власти, ни мужества сердец, ни размаха клинков.

Да что им до таких мелочей, если они чувствуют, что живут! Они четверо командуют всем Новоспасским. Они летают, как птицы, кружась над ровными кровлями, выше и выше, на синюю скалу неба, едва заметными точками останавливаются там, и с трудом может долететь с высоты замирающий крик. Они живут!

— Шевелись, чортова защелка! — сказал сквозь зубы высокий Галат. Однако сам не шевелился, упершись рукой в бок и отставив левую ногу Самый младший из четырех — он был и самым нетерпеливым.

Марченко сердито скосил глаза на Галата, и в этот момент фотограф щелкнул затвором. Так они и остались на пластинке, эти косые глаза Марченко.

— Готово,— сказал фотограф, грациозно поклонившись четырем друзьям.

Вышли на сельскую улицу. В воздухе летала длинная белая паутина. Утро, чудесное утро свадьбы Шахая, кончилось. Галат бежал впереди — длинноногий, стройный и чубатый. Остюк вбирал всю землю под себя, ступая кривыми ногами кавалериста. Он махал правой рукой, а левая все время висела, не шевелясь, точно ею вечно поддерживал Остюк саблю. На Марченко была матросская рубашка и шапка, только знаменитый клеш был засунут в сапоги. Шахай шел, неслышно ступая по пыльной дороге.

— Мы снялись на карточку,— мрачно сказал Марченко. Он немного картавил.

— На карточку! — прокричал Остюк сильным голосом: он привык вахмистровать в эскадроне.— Теперь революция!

— Мы забыли сняться с саблями. И с револьверами в руках...

— Мы выходим на дорогу,— вдруг начал Шахай, перебивая Галата,— дайте мне только повенчаться. Как на карточке мы вместе, так и всюду четыре наши головы не должны раз'единяться. Вот мы все неженатые идем. а сегодня я повенчаюсь, и все мы повенчаемся, и поженят нас с собой далекий путь и грозная жизнь.

Так разговаривая, они дошли до обоза подвод, разместившихся в стороне от ярмарки. Хорошие военные фургоны, лошади вот-вот лопнут от сытости, брезенты сверху, а под ними на двух телегах пулеметы. Хозяева лошадей степенно ходили вокруг, щелкая семечки, и их грудь распирало ожидание.

— Здравствуйте,— приветливо сказал Шахай.

— Здорово,— ответил ему Шворень — рябой мужик, кичившийся своим пулеметом, который он с братом Санькой привез с фронта.

— Молчи, дурак! — крикнул на него Санька, проворно подбежав к Шахаю.

— Мы приехали,— понизил Санька голос,— приехали со всей бандой. Нас двое, да Вырывайло четверо, Бубон Петро с пулеметом, Василишиных два брата с хутора, дядька Макар — пастух. Вот какие мы все.

— Сила большая, а главное — надежная,— сказал Шахай, здороваясь за руку со всеми перечисленными людьми. — Я вас приглашаю к себе на свадьбу сегодня.

— А пулеметы?

— И пулеметы. Галат отведет вас на мой двор, а я пойду еще побеседовать с людьми.

— А мы? — спросили Остюк и Марченко.

— Вы же дружки. Подите, постерегите, чтобы никто церкви не украл.

Шахай пошел между телегами, расспрашивая про цены, про урожай. про количество солдат, пришедших с фронта. Он ходил по ярмарке, переступая через лужи, как через широкие реки. Помидоры напоминали ему

кровь, стебли камыша у палаток превращались в его глазах в роскошные бунчуки[1], плахты[2] на руках — в знамена, и ветер над ярмаркой — в гул и шум армии. Пчела села на руку Шахая — он не прогнал ее, пока она сама не слетела, отдохнув. Пахло свежей соломой и осенью.

...В церковь люди сошлись, как на пасху. Церковь когда-то строили запорожцы,— она была тесная и старинная. За всем присматривал, вероятно, хозяйский глаз братчика низового[3], потому что сделать церковь прочнее не хватило бы таланта и ныне. Все оковали железом. Даже паникадило было такой невероятной тяжести, что летом, во время службы, скрипели сваи, на которых оно висело, трескались доски, и, казалось, втянет крест с купола в церковь эта искренняя запорожская жертва. Суровые обычаи Сечи Запорожской отразились на церкви. Иконы писали с братчиков-строителей, с кошевого атамана, с куренных. В такой церкви становилось страшно среди усатых черных рыцарей, украшенных чубами, в казацких свитках — рыцарей жестоких и отважных. Они взирали со стен, перемигивались друг с другом — часто с презрением к молящимся, иногда — прощая, редко — с поблажкой. Но прихожане уже привыкли к своим иконам.

Ой, сложимся да и по талеру,
Да купим коня атаману!

Галат мурлыкал себе под нос, обходя церковь. Свечей явно не хватало. Усатые иконы сердились со стен: им нужно больше света. Но церковь давно не была уже так освещена. Разве что запорожцы, возвращаясь из морских походов, клали возы свечей перед святыми кошевыми в церкви и выкуривали им же целые шапки росного ладана из Смирны.

Ой, сложимся да по другому,
Да купим коня с подпругой!

Галат недовольно передвинул кованый подсвечник с сотней свечей от святой Варвары к иконе Покрова, где в толпе стояло не мало черноусых казаков с булавами и перначами[4]. Его не успокоило это регулирование почтения к своему брату-мужчине. Шпоры его звенели то тут, то там, по всем углам, в притворах. Он не останавливался до тех пор, пока не нашел где-то в кладовой еще охапку свечей. Пономарь только издали следил за Галатом. Шутки плохи, когда справляет свадьбу сам Шахай!

Купим коня, да вороного,
Да и поедем во чисто поле!

Свечи все порастыканы. Церковь точно наполнилась желтым жаром. Он лежал на подсвечниках перед иконами, шевелился, колыхался, будто жил многогранной жизнью среди бела дня, под лучами, прядями света сквозь окна.

Поедем да во чисто поле,
Да во чисто поле, во дубравушку!

Галат остановился, удовлетворенно оглядывая свою работу. Заметить кой-кого в церкви — того, кто пришел только к Галату,— он не заметил. Люди стояли, не понурившись: при венчании церковь делается веселым

[1] Пук конских волос на древке. У казаков вместе со знаменем развевался впереди.
[2] Яркий, цветной домотканный кусок материи. Носится в старинном украинском женском костюме, как юбка.
[3] Член Сечи.
[4] Булава — знак власти атамана, пернач — полковника.

храмом языческого древнего бога. Это Даж-бог, бог-солнце, бог-погода, бог понятный, простой и гулящий. Девушка преградила дорогу Галату. Стыдливая, нарядная девушка посмотрела в его черные глаза, как в колодезь с холодной водой.

— Выйдешь, Фома, на улицу? Как я по тебе соскучилась!

— В церковь несет тебя, Васка,— проворчал Галат.

Взяв за рукав девушку, он повел ее на клирос. Там уже стояли певчие.

Ударили в колокола. Медное овканье входило в церковь сквозь двери. Вошел Шахай. Его невеста еще не приехала, он послал за ней дружек — Марченко и Остюка. Надежда охватывала всего Шахая. Широкие степи лежали перед ним и его селом. Колоссальный хаос, овладевший землей, был как море, разбившее челны. Надо ему держаться острова, пока потеряет силу шторм и хаос станет пассивнее. Тогда — саблей защищать руины. Отрубить руки всем, кто потянется покорять свободный народ, кто захочет резать его землю, как хлеб, и есть, захлебываясь от жадности, от страха, что кто-нибудь более сильный отнимет кусок. Шахаю приходило в голову царское владычество. Вся история народа — славная, громкая и всегда великодушная. Казаки-серомахи проходили длинным караваном: все праведники, храбрые гуляки, морские разбойники гордо выступали по великим землям, все рыцари чести своей горемычной и мученики. Максим Зализняк, Семен Неживой, Яков Швачка, Иван Бондаренко — все славные «калии» [1], чистые сердца семидесятых годов XVIII века, мстили за кривду, за бедных! Они проходили перед Шахаем, как жестокая памятка, как предостережение, как напоминание о господском вероломстве, царской расправе, о поругании хлеба-соли за дружеским столом; они проходили с вырванными ноздрями, с клеймами на лбу, неся в руках свои головы, набитые гречневой половой; они проплывали, неся свои ноги, положив на плечи отрубленные руки. Петро Кальныш — последний кошевой Сечи — стучал четками в одиночном заключении Соловецкого монастыря: двадцать семь лет прял старик степные думы, смотрел на свою страну с самого Белого моря, плакал, сквозь туман не различая грядущих веков, радовался солнышку, когда оно проглядывало сквозь мглу севера. Шахай клянется, обходя церковь, останавливаясь перед святым казачеством на стенах, клянется не допустить жалости в сердце. Клянется, что не будет верить никому, кто будет лежать под его саблей или сидеть за его столом. Он клянется и целует плечо седоусого куренного. Надежда обволакивает его, как марево, как ядовитый фимиам великих событий. «Революция — большое слово,— думает Шахай и чувствует, как по хребту у него бегают мурашки.— Все счастливы,— нет царя, будет править народ, разольются медовые реки, счастье и радость».

К церкви под'ехала тачанка с молодой. Сразу все люди в церкви загомонили. Шахай проснулся от своих мыслей и поспешил к выходу. Там он встретил молодую и вошел с ней назад. Певчие запели: «Гряди!» Голос Галата перелетал далеко за клирос. Во всех углах звенели стекла от пения Галата. Вышел из алтаря поп и начал венчать. Марченко и Остюк перемигивались со своими дружками...

Свадьбу справляли по старому обычаю.

Дружки летели верхом на лошадях по улице, на рукавах белели платки. По дороге спешно готовились заграждения, чтобы задерживать молодых и требовать выкупа. В домах у молодого и молодой в последний раз осматривали столы и проверяли, все ли так, «как полагается». Баба-распорядительница не слезала с печи и оттуда руководила свадебным обрядом.

[1] Эпитет гайдам.

Она захворала, пойдя к молодой расплетать косу и петь печальные песни. Песни были удивительно звонки и жалобны, а бабье горло скрипуче, года бабы лежали на ее сухих плечах, как горючий войлок, а ночь осенняя холодна. Выстрелов прозвучало столько, сколько полагалось, приданое было отвезено к молодому, а тачанка с Шахаем и его женой заехала на двор к тестю.

Сколько песен утеряно теперь — старых и утешных! Сколько мелодий вобрала в себя чужая гармошка — охрипшая истеричка, у которой ноги тусклы, а песни суетливы и несерьезны, у которой снижается художественная глубина мелодии,— гармошка-демагог, многоголосая торговка! Вот поет скрипка, или разговаривает кобза. Одна, едва заметная нота протягивается в воздухе, и ее колебания такие же, как и колебания воздуха. Струна дает чистый до сумасшествия звук. Колышутся века, узкий круг времени расширяется на всю жизнь всего народа. Ровная, прозрачная, простая до гениальности нота об'единяет века. Замирают люди, дрожат их плечи от раскрытой тайны, дрожат ресницы от набежавшей счастливой слезы. И скрипка играет дальше. Нота меняется, пролетают мелкие всплески звука, точно у скрипки прорывается смех. Лица светлеют. Расчувствовавшаяся до пределов душа жадно воспринимает веселые звуки. Ноги сами выстукивают такт. Не сдержать уже их, когда играет волнующая скрипка. И старый и малый идут в пляс. Ходуном ходит двор. Бубен щелкает и топает, как веселый парнишка. Перепутались пары: на потеху, на смех. Но скрипка уже утомилась. Десятки рук угощают скрипача, каждый хочет с ним выпить, поцеловаться, каждого скрипач хочет пославить на скрипке, и начинается шум, говор.

Между тремя дорогами,—

начинают легко, медленно женские голоса.

Рано, ра-нó!

помогают им парни.

Между тремя дорогами, ра-не-шенько!

Девушки стоят вместе, обнявшись. Парни окружают девушек. Радостная песня охватывает двор.

Там встречался князь с Дажбогом, рáно, ра-нó,
Там встречался князь с Дажбогом, ранешеньк

Солнце спускается к вечеру. Оно удивляется, как можно встретиться ему с князем, с молодым. Солнце пламенеет.

Ой ты, боже ты, Дажбоже, рáно, ра-нó,
Сверни ты мне с дороженьки, ранешенько.
Ведь ты богом год от года, рáно, ра-нó
А я князем раз во веки, ранешенько!

Парни подмигивают девушкам. Скрипка отдохнула и приглашает вновь к танцу. По земле растекается вечер. Вечерняя тишина овладевает землей. Только на дворе тестя Шахая гремит бубен.

Пьяная баба-распорядительница поет на печи. За столом тянутся разговоры, слепой музыкант опрокидывает чарку для чистоты голоса, примащивает свою кобзу, настраивает струны. Почтенное общество сидит за столом. Краснощекая невеста стыдливо поглядывает на гостей. Галат держит голову обеими руками, чтобы она не упала на стол.

Ой, в саду голуби гудут!
Ой, в саду голуби гудут,
А в светлицу голоса идут...

Баба поет старческим, визгливым голосом, она вспоминает молодость. На нее сходят видения далеких лет, молодых желаний.

Помоги мне, матушка,
Помоги мне, родная,
Кого брать да в бояре?

Интересно, кого нужно брать в бояре? — сказал Шахай.— Должно быть, богатых и сильных. Или, может, казаков из Сечи?

Все засмеялись.

Собери, сынок, всю родню,
И близкую и далекую,
И близкую и далекую,
Убогую и богатую.

Никто не мог выдержать, чтобы не захохотать на всю избу. Бабу угостили чаркой. Она взяла чарку в руку и допела песню. Откуда у нее взялся голос?! Последние слова, как драгоценные яства и напитки, баба клала прямо на стол, и еще долго радовалась им восторженная кампания.

Богатую — подарочки нести,
Убогую — порядок вести.
Богатую — чтобы напиться,
Убогую — погрустить.

Певица выпила чарку так, как любой девке в пору, и бросила посуду на пол, молодецки крикнув: «Горько!»

Среди общей тишины, которая настала после поцелуя Шахая, заскрипели слегка струны кобзы: зашумели, загудели, как весенние шмели, как желтые трудолюбивые пчелы. Руки дотрогивались до струн нежно, и кобза звенела, точно в ожидании.

— Что же ты нам споешь?— спросил молодой.— Про честь или про храбрость, про долг человеческий или про рыцарскую славу?

— Мало теперь чести среди людей,— неожиданно басом ответил кобзарь, поднимая к гостям свою голову с невидящими белыми глазами. Это было замкнутое в себе человеческое существо: за пятнами глаз горел человеческий мозг, и никогда у него не было надежды выйти на свет.

— Мало чести,— сказал слепой,— и нет храбрости. Хожу я по свету, до моря доходил — вороватый народ теперь пошел. Сколько раз меня обкрадывали, били и смеялись над моими песнями! От деда и прадеда помню я песни, а самому не довелось еще и одной сложить. Слухи ходят всюду по земле, я прислушиваюсь ко всему, что вьется по дорогам, ко всем песням, ко всем разговорам. И еще ничего я не услышал, люди. Слепому тяжело, а зрячему — еще тяжелее.

— Слушай, дед,— в голосе Шахая зазвенела воля.— Вот тебе моя голова, дед! Клянусь родом своим честным, клянусь дедом крепостным, прадедом-запорожцем — не погибла еще честь и храбрость! Любовь и ненависть, дружба и самопожертвование уже поднимаются из забвения. Революцию мы не проспим. Какая свобода веет над землей!

Остюк, Галат и Марченко, как по команде, опрокинули рюмки. Они уже ощущали придорожный ветер на щеках. Обыкновенные слова, может, и непонятные им, возбуждали в их сердцах гордость. Поэтому верили в звезды и в прекрасные идеи, в чистоту и мужество человеческой души. Такие люди ходят по страницам истории, как по своей хате, и кажется странным, почему после них остаются разрушенные города, кровь, пустыри, вонючие трупы. Может, всегда искание человеческого, справедливого, достойного дает такие результаты!

Тем временем Шахай потчевал гостей: братьев Шворней — умного Саньку и придурковатого Митьку; Макара — бывшего пастуха, рыжего великана со страшными усами, лохматой красной головой и с детскими голубыми глазами; Бубона Петра — лучшего в мире наводчика, который мог бы снарядами окопать вокруг, как межой, свое поле с трехкилометровой дистанции; братьев Василишиных — несравненных разведчиков, телефонистов и — в свободную минуту — музыкантов; Вырывайло—четырех соколов, всех погибших впоследствии один за другим, рубя шляхту, стреляя кадетов, домучивая генералов: Вырывайло Ивана — гениального трубача с невероятными легкими, который мог перекричать все стихии, разбудить мертвых и наполнить поле битвы тревожным, пугающим, волнующим победным сигналом; Вырывайло Петра — комбрига Конной, будущего героя Успеньевской операции, которому сделал поминки Марченко, приказав зарубить над его телом сотню пленных; Вырывайло Семена — первого в армии вора, обкрадывавшего все конные полки и ежедневно имевшего нового коня, а его эскадрон — даже птичье молоко,— Семена зарубил третий эскадрон, окружив его со своими ста двадцатью клинками в поле, выслушав издевательства и ругань, дав ему возможность попрощаться с белым светом; Вырывайло Панька — гордость пеших и конных полков, пулеметчиков и канониров,— Панька, слагавшего песни, острые, как бритва, певшего их так, что верховые падали с лошадей от хохота, и выучившего основательно ругаться весь свой полк,— он командовал потом полком.

Уже поели. От стола шел запах всех кушаний. Под водку стояли соленые помидоры — зеленые и красные, огурцы и капуста, зеленое постное масло с мелко накрошенным и посоленным луком. От разварной рыбы шел пар.

Самое важное — выбрать людей. Это Шахай знал, пытливо оглядывая гостей. Тут были нужные люди. Они целиком подчинятся воле вождя и командира. Наполеон и Петр Первый всегда стоят примерами — как нужно выбирать людей. Жестокий Даву, стратег Удино, Ней, блестящий Мюрат, интриган Меншиков, еще сотни неизвестных — все и умерли бы офицерами, сыновьями скульпторов, писарями у нотариусов, корчмарями, пирожниками. Их всех нашел государственный ум, гениальное предвидение великих людей.

— Ты, Марченко, с нами не поедешь. Тебе я отдаю вот этих десять человек. Хлопцы, слушайте Марченко. Оба Шворни, все Вырывайло, Петро Бубон, Василишины и Макар — я оставляю вас Марченко. Со мной поедут Остюк, Галат и вот эта сотня охотников, что пришли сюда на наш клич.

Шахай прошелся по залу станции и немного помолчал. У него было тринадцать людей. Мерцала на столе керосиновая лампа. На перроне шумели партизаны: их переволновало это туманное утро, понемногу разгонявшее темень ночи.

— Мы встретим эшелон в Варваровке. Попробуем его обезоружить и пустить дальше без оружия. Мы не вступим вовсе в бой. Нам нужно только оружие, и мы его заберем у тех офицеров, которые едут с фронта домой. Оружие любой ценой — вот наш сегодняшний лозунг. У кого в руках оружие, тот и будет диктовать события.

— Понимаешь,— сказал Остюк,— они могут еще перед Варваровкой повернуть направо и поехать другой дорогой. а мы на Варваровке их не увидим.

— Эта дорога ближе, Остюк. Телеграмма говорит, что они могут поехать только через Варваровку. Они хотят скорей добраться до дому, чтобы защищать свои имения от революции, и зачем им ехать не по прямой дороге?

Остюк согласился, а за ним закивали головами Марченко и Галат. Все предусмотрел их друг!

— Но я подумал и о том, чего ты боишься, Остюк. Я не беру с собой этой десятки во главе с Марченко, хочу, чтобы Марченко повел их на станцию Полтавку и там пересидел день, ожидая эшелон. На тот случай, если этот эшелон не пойдет на Варваровку, а пойдет на Полтавку, мы будем уверены, что он все равно от нас не убежит. Ты возьмешь его, Марченко?

Последний — еще не совсем трезвый после свадьбы — заморгал глазами и почесал волосатую грудь. Младший Вырывайло улыбнулся Шахаю и ударил рукой по плечу Марченко. Остюк щелкнул шпорами.

— Ты возьмешь его, Ничипор [1] Александрович? — повторил Шахай.

Глупый Митька Шворень поплевал на руки и крикнул:

— Заметем!

Наконец, Марченко пропитым голосом произнес:

— Дашь мне фугасов взрывать рельсы? С ними я и чорта возьму.

Шахай согласился и приказал Остюку дать Марченко то, что он просил.

— А мы с чем поедем? — сказал Остюк.— У нас их штук пять всего.

— У нас сила больше, мы и без фугасов и пулеметов обойдемся, а Марченко должен иметь и подрывные средства, и оба наши пулемета.

Эта фраза была сказана таким тоном, что никто не посмел возвысить голос, чтобы возразить. В голосе Шахая звучали ноты непоколебимой воли, и слышался металлический тембр.

— Только выезжай сейчас же в Полтавку,— сказал Шахай,— туда насчитывается сорок верст с гаком. Чтобы ты не опоздал мне, Марченко!

С этими словами Шахай пошел на перрон.

— Братья!— об'явил Шахай, став на лесенку, ведущую в товарный вагон.— Склоним наши головы перед теми, кто пал на фронтах, перед памятью тех, кого растерзал царский режим! Да будет им вечная память!

Партизаны поснимали шапки и держали их смущенно в руках. Каждый вспоминал брата или товарища и растапливался, как лед.

— Вам уже говорили, куда мы идем. Мы идем добывать оружие, чтобы не вернулось никогда назад то, что было: ни кровавые фронты, ни вампиры-цари, ни проклятые паны! Эшелон идет с фронта и везет много оружия, которое мы должны отобрать...

— А чем?— неожиданно отозвался кто-то в толпе.

Шахай молниеносно понял, что проиграл эффект речи. Он слишком уже положился на влияние своего авторитета.

— В Варваровке нас ожидает трехдюймовка из Оситняга и оситнягские партизаны. Мы перекопаем колею и перережем дорогу эшелону. Он не знает, сколько нас...

— А на что нам столько оружия? — отозвался тот же голос.

— Товарищи! — закричал Шахай.— Пусть выйдут вперед все те, кто боится или плачет за маменькиной юбкой. Пусть мы посмотрим на них и посмеемся над подлыми трусами! А потом мы прогоним их от нас, потому что мы все пришли сюда только по своей воле, по своей охоте. Вытрите слезы страха тем своим соседям, которые хнычат уже, только садясь в вагоны! А ты, Грицко, ты разве знаешь, сколько нам надо оружия? Или, может, ты не слышал, сколько пудов пшеницы стоит винтовка? Ты боишься гранаты и хочешь маминой сиси?

[1] Никифор.

Шахай почувствовал, что слушатели вновь стали верными ему. Легкий смех прошел по толпе. Грицко надвинул свою черную мохнатую шапку на самые глаза.

— Садитесь в вагоны!— скомандовал Шахай, и все товарищи, толпясь, хохоча и ругаясь, полезли в теплушки.

Стоял туман.

Проехали две станции, на которых паровоз брал воду. Туман редел. Поезд как будто выезжал из долины, где вечно сновали туманы. Иногда проглядывало и солнце, сейчас же прячась за тучу, порой разрывалась серая волна на-двое, и между стенами такого земляного пара простиралась осенняя степь, как лесная просека. Наконец, и Варваровка—одинокий полустанок, безлюдный остров среди моря степи и моря тумана.

— Выгрузимся, а поезд свой отошлем назад, чтобы отрезать путь к отступлению,— сказал Шахай Остюку, выходя из своей теплушки, где они ехали только втроем — с Галатом. Дорогой они переговорили обо всем, и теперь каждый знал, что ему делать. Ни о каком орудии из Оситняга не слышали поблизости. Это не удивило Шахая, так как орудие было плодом его митингового задора. Со станции вышло несколько служащих — перепуганных, молчаливых.

— Выгружайтесь! — закричал Остюк, и трое друзей быстро имели перед собой армию из восьми человек: девяносто два партизана убежали дорогой. Галат покраснел, его уши и даже руки набухли кровью. Остюк повертел головой, точно ему был тесен воротник френча. Шахай вытянулся весь, как струна. Никто не шевелился. В эту минуту где-то вдалеке послышался гудок и чавканье паровоза.

— Все по местам!— подал команду Шахай и махнул машинисту убрать поезд.

Поезд ушел, все увеличивая скорость, а десять человек во главе с Остюком и Галатом побежали по рельсам к насыпи и спрятались за нею.

Их всех закрыла волна тумана, которую прикатил или придвинул ветер. С противоположной стороны ясно слышалось, как приближается к Варваровке эшелон.

Шахай встретил его, стоя на перроне, держа руки за спиной: такой вид бывает у учителя, когда он стоит в классе и снисходительно ожидает, пока рассядутся ученики. Едва остановился эшелон, как Шахай начал прохаживаться мимо него, пересчитывая вагоны и записывая что-то в записную книжку, которую он вынул из кармана. Его окружила толпа. Но вид у Шахая был такой, что никто не осмелился преградить ему дорогу. На говор выглянул офицер из пассажирского вагона, и все зараз стали ему кричать, производя невероятный шум.

— В чем дело?— закричал офицер.

— Комендант?— услышали все среди тишины голос Шахая.

Офицер подтвердил это кивком головы.

— Пусть комендат эшелона и командиры отдельных частей зайдут для переговоров о капитуляции. Я буду ожидать вас десять минут.

Шахай медленно пошел на станцию и, сев в комнате у кассы, стал ждать.

На перроне будто начался ураган. Кричали все разом, возмущенно щелкали затворами винтовок, и через окно Шахай заметил, что в дверях некоторых теплушек появились пулеметы. После пятиминутного ожидания вошло шестеро офицеров. Они растерянно и в то же время строго оглядели Шахая. Последний не предложил им сесть, и так прошел весь разговор, — сидел только Шахай.

— В чем дело? — повторил человек, который перед этим выглядывал из вагона.— Кто вы, и что вам нужно? Мы вас расстреляем, не выводя из комнаты...

Шахай выдержал паузу и лениво посмотрел на говорящего.

— Я вам даю пятнадцать минут на размышление. Заметье себе — только пятнадцать минут. Все ваше оружие эшелон должен сдать мне, а вас я тогда пропущу ехать дальше. Я — командир этого района. Через...— Шахай сделал вид, что смотрит на часы,— через двенадцать минут мои орудия разнесут всю станцию вместе с эшелоном. Дорога дальше загорожена.

— Мы не можем сдать это оружие,— мы везем его, чтобы сдать там, где будут расформировывать нашу часть. Это — казенное имущество!

— Я не отпускаю от себя никого с оружием.

— Мы должны еще посоветоваться. Сейчас придет наш полковник.

— У вас еще девять минут. А потом — будет поздно.

Офицеры не знали, что им делать. Они уже примирились с неизбежным и теперь только хотели просить Шахая, чтобы он оставил им оружие для самообороны.

— Никаких уступок!—сказал Шахай и встал со стула.

В комнату вбежал взволнованный Остюк. Он стал во фронт перед Шахаем и поспешно сказал несколько слов, смотря прямо в глаза последнему.

— Господин генерал, артиллеристы волнуются! Они не могут дольше ждать. Они думают, что вас тут задерживают.

— Глупости!— отвечал Шахай.— У них же есть мой приказ! Пусть начнут тогда, когда я приказал.

— Слушаю. Но разрешите просить вас выйти на минутку — там стоит делегат от батареи.

— Пусть войдет сюда,— решил Шахай, но увидев в глазах Остюка что-то непонятное ему, не закончил фразы и вышел из комнаты. Остюк поспешил за ним.

— Бежим отсюда! — прошептал Остюк.— На станции им сказали, что поблизости никого нет. Еще прихлопнут нас тут!

Они встретили по дороге раздраженного полковника, закричавшего на них:

— Где он тут, самозванец?!

— Там ждет,— ответил Остюк.— Я бегу за хлопцами.

Друзья свернули в какие-то сени, перебежали квартиру начальника Варваровки и выбежали во двор. На их счастье снова на землю пал туман. Они бежали до тех пор, пока не оказались за насыпью, где должны были быть партизаны. Там лежал Галат и тихо ругался, угрожая кому-то ручной гранатой.

— Где же люди?

— Поудирали,— гады, трусы, сволочи!

Шахай и Остюк уселись возле Галата и засмеялись. Потом они смеялись уже втроем. Им приходили в голову разные веселые остроты. Наконец, они полезли по насыпи выше и, лежа, начали смотреть вниз, на рельсы, где лежало поперек несколько шпал. На станции стоял шум. Прозвучало несколько выстрелов. Кто-то говорил речь, за что-то агитируя. Понемногу все там улеглось, и эшелон двинулся по направлению к Шахаю, Галату и Остюку. По приказу первого, Галат бросил вниз гранату, которая разорвалась там с большой силой. Машинист выпустил лишний пар, и эшелон остановился почти перед самыми шпалами, лежавшими на рельсах.

— Любопытно,— сказал Шахай, когда эшелон вдруг пошел назад и за ним побежали те, что еще не успели сесть,— не проспит ли Марченко этот

эшелон? Нас здесь всего трое, а у него там одиннадцать — все надежные и верные! Если не проспит, у него будет богатая добыча.

Галат вскочил на ноги, стал швырять камнями вслед эшелону и протанцовал халяндру[1]. Потом все трое пошли по шпалам домой.

— Поехали! — закричал Галат.— А мы, как победители, пойдем пешком верст тридцать! Завоевать — завоевали, а в руки не попало. Споем, что ли?

И он начал:

Гей, хвалился да казак Швачка,
Под Белую Церковь идучи:
«Гей, будем брать, да китайку драть,
Да в онучах топтаты!»

Потом подморгнул Остюку и Шахаю и запел совсем весело:

«Гей, говорил еси казак Бондаренко:
А что славы-то будет!
«Гей, будем брать, да полы драть,
Да плечи латать!»

На песках растет вощанка меньшая; на воде — клевер белый, ситник светлоплодный, осока; на скалах — перстач альпийский, шеломница хмелеватая, нечуй-ветер, тонконог и миколайчики; в степи — чистотел, чебрец, деревей голый, ковыль; спесивится грудница желтая, ширей, серпник лучистый и дремлики осенние; колышется змейка — желтая как одуванчик, только высокая, головатень степной. А слава человеческая растет из единства и отваги!

Вторая песня

Голос: Подняты реи, сбиты паруса,
Команда не дождется абордажа,
На марсе стража смотрит в небеса,
Локтями на борт оперлася стража.
Над парусами ширь небесных карт,
Раскачивает реи бриз-бродяга,
Ведет орду мушкетов и бомбар
Толедская негнущаяся шпага.
Три сабли — стража всех земных широт,
И шпага заменяет их в дозоре,
На крыльях бригантин летят вперед
Через моря, через чужие зори.
И сабли те не выпадут из рук.
Мишень для шпаги — вражеское горло.
Сшибаются с чужим бортом — и вдруг
Все море им широкий плат простерло.
Вниз якоря! Дрейфует бриз! Начнем!
На абордаж! Канаты не ослабли!
Хор: Стоим в кругу, стоим к плечу плечом
И на четыре ветра сабли.

Ничипор Марченко, которого судил трибунал за самовольные расстрелы и отоорал партизанскую армию — его спас от шлёпки[2] только Шахай,— сидя до суда в концентрационном лагере, так рассказывал камере про дело под Полтавкой, когда ему пришлось встретить и обезоружить офицерский

[1] Цыганский танец.
[2] Расстрел.

эшелон, который повернули на Полтавку от Варваровки Шахай, Остюк и Галат:

«Мой Полтавский бой,— говорил Марченко,— дал столько оружия, что я смело через пять минут стал командовать фронтом. Ближайшие села обезлюдели, когда узнали про оружие. Мне пришлось формировать по одному полку с каждого села. Скоро мы переехали на узловую станцию, собрали духовую музыку и стали готовиться к походу на французов, на греков и на весь мировой капитал. Вы знаете, чем это кончилось, и вот я сижу за свою славу и за это рядом с вами — барахольщиками, бандитами, спекулянтами и буржуями. Слушайте же хорошенько про мой Полтавский бой.

Мы не дали коням стареться в Ново-Спасском и мигом промчались сорок верст до Полтавки. На подводах у нас грохотали две бочки — ведер по сорока, одна бодня [1] с двумя перерезами [2]. Бабы, у которых мы полюбовно забрали посуду, долго бежали за нами, проклиная нас и наших родичей. На станции мы нашли инструмент и испортили четыре обреза: мы почти до прицельной рамки отпилили дула. Таким образом у нас были готовы орудия разного калибра. Мы заперли всех станционных в одну комнату, чтобы они целый день не выходили, а сами приготовили для орудий позиции. Из бочек повыбивали днища, оставили по одному. В центре прорезали дырки для обрезов. Глупый Митька Шворень выстрелил, бочка затряслась и загавкала, такое эхо пустила по степи и по ярам, что покрыла лучшую трехдюймовку. Я назначил орудийных начальников, выбрал тех, которые будут руководить взрывами снарядов, собственной рукой поотвинчивал рельсы и лег на станционной скамье — выспаться после свадьбы Шахая.

Прибежал Макар и известил нас, что идет эшелон... Я послал братьев Вырывайло в четыре стороны за станцию, а сам с Макаром остался на перроне. Если кому надоело меня слушать — предлагаю лечь на нары и не дышать. Сейчас вам рассказывает Марченко, командир революционной армии, и он не привык повторять чего-нибудь дважды. Смирно, барахольщики! Шестая, бандиты! Сдохните, спекулянты и буржуи! Вы думаете — легко мне с вами сидеть? Я даже нашивки свои поспарывал с френча, потому знаю, каких грехов я натворил. Человек любит жизнь, а я любил свою армию, у меня в голове лежали седла, ржали лошади и скрежетали зубами трусы-бойцы. Да, я их стрелял, гадов, и всегда буду стрелять своей рукой, так как я сам делал свою армию, сам ей судья,— ее люблю и за нее умру сто раз, и пусть с меня сдирают шкуру!..

Значит, я ходил по перрону, пока пришел эшелон. Я предложил им сдать оружие. К моему удивлению, они долго смеялись, показывая на меня пальцами. Потом позвали командиров.

— Опять самозванцы?— спросил грозно один, подойдя ко мне.

— Предлагаю сдать оружие,— сказал я.

— И холодное, и горячее?— насмешливо переспросил офицер.

— Все оружие!

— Может, вы дозволите нам так проехать? — выступил вперед солдат с веснушками по всему телу.— Мы никогда в жизни уже не будем воевать. Это оружие — для охоты. Мы будем из трехдюймовок бить уток на лиманах. Прошу вас,— упал на колени солдат,— смилуйтесь над бедными, несчастными! Мы — сироты безродные, обиженные!

Вокруг нас с Макаром собралась толпа. Хохот раздавался после каждого слова солдата, постепенно входившего в роль и пускавшегося в плач. Мы ничего не понимали.

[1] Бодня — выдолбленный липовый ствол служит ульем или же помещение для сала.
[2] Перерез — кадка (перерезан[illegible]ам бочка).

— Да братики же вы мои родненькие!— голосил солдат с веснушками,— да дайте же хоть на свет божий насмотреться-наглядеться! Прости, свет, простите, добрые люди, что провинился, может, в чем, простите хоть перед смертью! С'едят меня хищные звери без оружия, с косточками пошамают!..

Я крикнул, чтобы эта обезьяна замолчала. Мой голос будто испугал толпу.

— До каких пор ты нас будешь дурачить?— строго спросил меня старший офицер эшелона, протискиваясь вперед.— Просто удивительно становится, сколько расплодилось мошенников! На каждой станции они выходят к нам и предлагают сдать оружие! Спятили вы тут, или не верите, что мы прекрасно можем вас расстрелять? Отвечай, когда спрашиваю!

Я попросил тишины и, догадавшись, что этот эшелон уже, верно, расстрелял моих трех друзей — Шахай, Галата и Остюка, заложил пальцы в рот и свистнул. Я свистнул так резко, точно порезал свистом губы. Свистеть я умею. Вот слушайте, слушатели, как я свистну. Фиу-у-ить!!! На минуту я замолчу, потому сейчас в камеру заглянет надзиратель и посмотрит, не обвалилась ли стена от такого звука. Я рад, что вы оглохли. Это сейчас пройдет. Редко кто так сумеет свистнуть, братва. Наша военная жизнь без свиста не обходится, а ваша, бандиты, и совсем стоит. Ишь, как буржуйчик трет ухо рукой! Он, верно, вспомнил, как его клали на землю вот таким посвистом.

Да, свистнул я два раза. Четверо Вырывайло услышали мой знак и стали выполнять инструкцию. Застрочили два пулемета, две винтовки. Пули свистели над эшелоном, как сумасшедшие, и все люди падали на землю. Вырывайло перестали стрелять. Настала тишина. А потом заговорила моя артиллерия. Ба-бах!— гавкнул обрез из бочки, и ававакнуло эхо по степи. Б-бах!— взорвался за полверсты от орудия фугас. Ба-бах!— второе. Б-бах!— фугас. Канонада, как часы.

Я вам сказал уже, что был вечер и туман. Эшелон мы забрали, как птичек. Они пробовали броситься на меня, да я рукояткой нагана ударил полковника по лбу. Я свистнул трижды —даже заколыхался туман. Четверо Вырывайло подхватили мой свист, и мне показалось, что засвистело все вокруг. Еще раз грохнуло орудие, и разорвался фугас.

— Вылазь из вагонов!— закричал я.

В тумане сновало множество людей. Мы поставили их всех в кучу. Вырывайло направил на них пулемет. Вскоре, прицепив несколько пустых вагонов к паровозу, мы напихали туда наших пленных и отправили дальше от места Полтавского боя. Я об'явил себя командиром партизанской армии, осматривая вагоны оружия и снарядов, орудия на площадках и другие военные свои трофеи.

Тревогу протрубил Иван Вырывайло. Среди темной ночи растеклись звуки в черную неизвестность. Набрав воздуха в легкие, Иван выдохнул его весь сквозь медные губы покорной трубы. «То-ро-пись, то-ро-пись! На борьбу то-ро-пись!» — выводил Вырывайло, не желавший никому из трубачей уступить эту честь — созвать партизанскую армию перед очи Шахая, разбудить армию глухой ночью и начать организацию дисциплинированных полков и бригад для приближающейся Успеньевской операции. Ночь лежала и дымилась. Кругом блестели фонари, стучали подковами лошади, перекликались полки. Иван Вырывайло еще раз пропел в трубу. Пешие и конные сотни размещались в поле. Команды с броневиков Галата стали на левом фланге. За ними замерла дисциплинированная конница Остюка. Дальше стала небольшая группа артиллеристов. Пехотные полки расположились на крайнем правом фланге. Они шевелились в темноте, как большие кусты

травы или стаи гудящих черных насекомых; они жужжали, как шмели, щелкали затворами и перебегали от одного полка к другому. Начал моросить дождь, подул холодный осенний ветер, мелкие капли сеялись и сеялись, образуя над фонарями розовые и голубые нимбы.

Шахай остановился около галатовцев. Позади него шли, как маршалы, Марченко, Галат, Остюк. По бокам — Санька Шворень и двое штабных. Галат выбежал вперед и стал во главе своего войска рядом с четырьмя Вырывайло, отдал честь и скомандовал:

— Смирно!

Шахай поздоровался с командами броневиков. Марченко, номинальный командир армии, не шевелился, стоя сзади Шахая — начальника штаба.

— Сколько у тебя людей?— спросил Шахай, и двое штабных мигом достали из карманов карандаши.

Одиннадцать броневиков,— с гордостью ответил Галат. Молодость засияла в его глазах, как чистый огонь — он поглядел на Вырывайло и других командиров.

— У меня полсотни бойцов,— проговорил командир главного броневика Галата,— два полевых орудия, пулеметы, и мы никогда не пойдем назад до последнего снаряда, до последнего сердца и пачки махорки. Запиши, штаб.

— Орудий всего десяток на всех броневиках,— Петро Вырывайло достал из мешка всю свою военную канцелярию.— Два десятка пулеметов и около четырех сотен бойцов.

— Снаряды, патроны, еда есть?

— Все есть, всего достаточно на складах этой станции,— военное имущество. Только одежды нам не хватает.

— Одежды вам не нужно,— пехота на первом месте,— сказал Шахай и крикнул громко, чтобы его услышали команды броневиков: — Кто никогда не служил в армии, напра-азо! Десять шагов — шагом марш!

Отошло около сотни партизанов.

— Запишите их всех,— приказал Марченко, который до этого времени не выпустил и пара изо рта. Он начал понимать намерение Шахая, ему стало досадно, почему это не пришло ему раньше в голову.

— У тебя останется шесть броневиков, Галат,— остальные придется расформировать. На каждом у тебя будет по орудию, по два пулемета и по полсотне людей. Остальное оружие и людей я распределю по другим частям армии. Нужно осмотреть броневики, усилить и отремонтировать одни, разоружить и оставить другие. Я у тебя заберу еще Семена Вырывайло в пехоту.

— Шахай!— встрепенулся Галат, видя, что Шахай направился уже к коннице Остюка.— Не убивай меня окончательно,— позволь итти за тобой.

— Хорошо! — донеслось от Шахая из темноты, за светом фонаря.— Иди за мной и пойми все, что я буду делать.

— Немного левей!— закричал Остюк.— Бригада, смирно!

Его голос утонул в свисте его конницы, в выкриках «ура», в бряцании сабель. Так встречала конница Шахая и Марченко. Остюк отрапортовал Шахаю, что конницы у него около тысячи сабель, а точно — он не знает сколько; не служивших никогда в армии у него почти нет, все же он может отдать сотню-другую в пехоту. Фураж есть, патронов хватит. Остюк спокойно сидел на коне, за ним чувствовалась большая масса людей, лошадей и ненасытных клинков.

— Понимаешь,— сказал Остюк задумчиво,—я с ними, варварами, и море переплыву.

Позади него послышался смех, смех раскатился и зазвучал по рядам; вся конница рассмеялась от остроты своего самого старшего бога. Шахай

подозвал Остюка к себе и крепко поцеловал его в губы. По рядам прошел шепот: «Поцеловал... поцеловал».

— Остюк, ты — великий воин! Твои сабли будут купаться в крови врага. Ты, как железная стена, Остюк! Спасибо, бригада!

Фонарь поплыл дальше по темноте, еще несколько фонарей мелькало по бокам, в темном поле за фонарями шли командиры партизанской армии дальше, разговаривая, советуясь и не обращая внимания на осенний дождик, на холодный ветер ночи.

Уже совсем светало, когда были сформированы пехотные полки. Во главе их стал сам Шахай, который все еще назывался Марченко. Полки имели по тысяче штыков; Шахай надеялся превратить эти полки в бригады. К пехоте присоединили около тысячи бойцов конницы, броневиков, артиллеристов,— вышел целый полк. Это был пятый железный. Вообще всю армию Шахай построил так, чтобы каждую минуту иметь возможность влить в ряды новые и новые партизанские сотни. Железные каркасы полков, сотен и батарей были учтены, они не ломились и не гнулись, если находились лишние самоотверженные бойцы для сотен, батарей и полков.

Успеньевку выбрали не случайно. Карта показала чудесные узоры оврагов, прекрасные поля для конных атак и даже лесок для засады. Река извивалась по широким лугам, текла по такому низкому месту, что все луга были залиты водой. Шахай измерял и высчитывал, офицер Соса из артиллерии Саньки помогал расставлять орудия. Галат угрюмо сидел и обдумывал приказ, полученный им от Шахая: сумасшедший, жестокий мозг подсказал Шахаю такой план. Шесть броневиков Галата должны погибнуть, прорвав фронт и разбив себе головы. На броневики нужно было взять лошадей, чтобы, потеряв рельсовый путь, пойти с командой броневиков, с орудиями и пулеметами, в рейд вплоть до Успеньевки. Три сотни пеших людей (подводы дадут ближайшие деревни), шесть орудий, двенадцать пулеметов, трое Вырывайло — Иван, Петро и Панько, сам Галат — с такой горсточкой нужно было выполнить сумасшедшее задание: прорваться сквозь фронт, который уже создали французы и греки, наступая с моря, где высадился на берег их десант, промчаться со своими броневиками в тыл, насколько будет возможно, дать героический бой, взорвать рельсы и свои броневики, разрушить станцию, штаб, телефоны и телеграф, и потом лететь с тылу на Успеньевку, привлекая тем временем к себе вражеское внимание и вражеские снаряды.

Шахай изучал Успеньевские холмы и долины, измерял дороги вокруг Успеньевки и рассказывал Марченко грубую схему своего плана. Он говорил только про один план. Однако, на всякий случай другой план сложился у него в мозгу, разместился до мелочей в его воображении. На тот случай, если первый план провалится, Шахай, не теряя ни минуты, должен был выполнить другой, смело и решительно, трезво и непоколебимо.

Успеньевка не видала такого размаха и таких масштабов: все мужчины были выгнаны на земляные работы. Шли неохотно, работали еще неохотнее, лопаты вязли в липкой земле, в глине, отсыревшей после ночного тумана.

— Так и норовят, где бы сесть!— пожаловался Шахаю Остюк.

Шахай успевал одновременно бывать всюду. Он подумал, что-то решил и поблагодарил Остюка. Через час верховой обскакал все местечко и все траншеи и известил, что атаман Марченко дал приказ платить за работу, и что скоро будут раздавать материю: сукно и шерсть, ситец и шелк. Начальники работ сделали свои выводы, и все работы сделались урочными: за блиндаж для орудия давалась штука сукна, за пулеметное гне-

здо — ситец, за сажень траншей — сажень шерсти. Скоро почернело все поле от успеньевских жителей. Старики, женщины, дети — каждый хотел заработать материи на одежду. Жены подгоняли мужей, дети рядом с родителями работали, как взрослые, бабы выносили землю в мешках и не чувствовали усталости, увлекшись ритмом огромной работы. После обеда развозили материю и складывали около каждой группы рабочих — расплата происходила вечером. Из среды партизанов сразу выделились старые фронтовики. Они собственно и показали, как надо копать, как укреплять, как маскировать. Общий план фронта набросал сам Шахай, а Соса — артиллерист, бывший офицер — размерял все на земле.

— Наша жизнь дешева,— сказал Шахай Остюку, под'езжая на лошади к фронту, где распоряжался Остюк.

— Дешева,— согласился и тот.

— Только мы дорого ее отдадим,— вмешался в разговор Панько Вырывайло.

— Одно, что мы идем в бой с врагами, которые выиграли мировую войну, поднимает нас на один уровень с ними. Новых людей народят нам степные плодовитые женщины, мы можем гибнуть спокойно. Бывает один момент, когда птица счастья садится на землю,— тогда ее нужно и ловить. Прозеваешь момент — будешь ждать сотни лет и носить на своей шее проклятие миллионов.

— Хватай, дьяче, пока горяче,— послышалось от Панька, стоявшего вдалеке и будто бы ничего не слушавшего.— Или славы добыть, или дома не быть. Утек — не утек, да побежать можно.

Остюк оглянулся на Панько, потом на Шахая и с облегчением рассмеялся.

— Боже, помогай! С корытом на Дунай!— пропел себе под нос Панько, будто выполняя задание — волновать Остюка и раздражать Шахая.

— Жаль отца в могилу, да надо,— в тон Вырывайло сказал Шахай.— Над поповской кошкой смешки, а как своя сдохнет, так и заплачешь.

— Прости, боже, этот раз и еще десять раз, а там увидим,— серьезно и молитвенно обратился к кому-то Панько. Потом он весело вонзил в землю лопату, которой он копал, подошел к лошади Шахая и фамильярно начал заплетать лошади гриву.

— Мучит меня Галат,— тихо начал Панько, и его голос прервался.— Ты посмотри на него, батьку, какой он страшный! Дай нам кого-нибудь другого, потому у Галата губы дрожат.

— Ты думаешь, он трус?

— Мы думаем, что он храбрее всех нас. Но у него дрожат губы. Ты не представляешь себе, батьку, как волнуются бойцы из-за его губ! Дай нам Остюка на нашу смерть,— холодно с Галатом умирать.

— Забудь все, что ты мне сказал. Ты увидишь, как Галат скажет слово перед походом. Если он будет волноваться, я пойду с вами сам.

Панько молчал, заплетая гриву Серого.

— Иди уже к броневикам. Скоро вечер, и вам надо выезжать,— сказал Шахай и нокнул на коня. Он поехал по фронтам и траншеям, приглядываясь ко всему хозяйским глазом. Всюду кипела работа. Солнце лежало совсем на горизонте, точно оно собиралось катиться по земле, как большое красное колесо. Дул по земле осенний ветер, дул прямо в солнце и, наконец, столкнул солнце за горизонт. Долго горели вверху тучи, пока солнце катилось где-то за землей и падало ниже и ниже. Тучи делались розовыми, как пальцы. На небе происходило театральное представление: день померк, сквозь потемневшие тучи пролилась (и льется) осенняя холодная лазурь,

звезды едва заметными миганиями появились на небе, будто приближались к земле их вечные огоньки.

Шахай под'ехал к броневикам, готовившимся к прорыву. Один за другим размещались броневики. Паровозы шипят и чавкают. Люди суетятся перед вагонами, забегают внутрь и снова выбегают. Бойцы с расформированных пяти броневиков стоят в стороне. Они завидуют и в то же время радуются, что не им выпала на долю первая возможность умереть. Они приветствуют Шахая, когда он останавливает коня у вагона Галата. Галат выходит на площадку вместе с Марченко. С первого броневика приходит командир его, Петро Вырывайло, со своими бойцами; со второго приходит брат его — Иван, с четвертого — брат их Панько, с пятого и шестого бойцы приходят сами,— их командиры вышли вместе с Галатом из его броневика.

— Все ли надели чистые рубашки? — спрашивает Шахай, и все содрогаются.

Дожевывая последние слова своей речи, Галат повел броневики в ночной бой. Передний, на котором было написано мелом «Прощай, мама!» — им командовал Петро Вырывайло,— передний наскочил первый на врага и славно погиб, полетев в воздух вместе с орудиями, лошадьми и большей частью людей во главе с командиром. Остальные люди присоединились ко второму броневику. Враг неожиданно оказался вблизи Успеньевки. Галат начал страшную канонаду из всех своих десяти орудий, выгрузил лошадей, амуницию, снаряды, по очереди поскатывал на землю орудия, построился и пошел в наступление на полустанок, возле которого только что погиб бедняга Петро. Там все было уничтожено снарядами, штабные бумаги разбросаны всюду по земле, и французы окопались поблизости, растерянные и напуганные Петром Вырывайло. Первые ряды армии были позади Галата, их он проскочил у самой Успеньевки, на полустанке начинался близкий тыл. Поле битвы уменьшилось, когда против полной луны, сбоку от Галата поднялись, чтобы итти в атаку, голубые французы,— их Галат ни за что бы не заметил раньше. Но переходить на другую сторону железнодорожной насыпи было слишком поздно. Оставленные позади броневики начали по очереди взлетать на воздух. Задний броневик вдруг попятился назад и помчался искать гибели под откосом. Галат наскочил на полустанок, как коршун. Каждая минута была дорога, пока не сомкнулось еще вокруг него кольцо. Полустанок вскоре запылал, как факел, затмив звезды, а партизаны, поклявшись страшной клятвой отомстить за товарищей, двинулись на голубую стену врага. В передних рядах бились двое Вырывайло — Иван и Панько. Позади, на двуколке со снарядами, лежала голова их брата Петра, ошпаренная порохом и обожженная огнем взрыва. Ее положил туда Панько, снимая после смерти коня седло, к которому была привязана и голова Петра. Братья бились, как сумасшедшие. Да и вся кучка людей выглядела и действовала так, точно все они потеряли разум и искали только сладкой внезапной смерти среди ночных запахов степи. Лезть в петлю к врагу целой массой, итти, не глядя, сколько друзей падает рядом, лететь, как мотыльки, на огонь — это могли только партизаны. Больше удивленные, чем испуганные,— французы должны были дать дорогу таким безумцам. Галат выскочил из ловушки, выведя с собой восемь орудий, десяток пулеметов и сотни две людей. Он легко вздохнул, направляясь прямо в степь. Партизаны рассыпались во все стороны и отступили с жестоким боем. Скоро отряд Галата исчез за ближайшим холмом. В дальнейшем о нем доходили до Шахая лишь слухи на протяжении всего первого шального дня Успеньевской операции.

План Шахая, когда Галат сразу же возле Успеньевки напоролся на врага, наполовину провалился: врага не надо было заманивать — он лез на фронт сам. Ночная атака французской пехоты вышла достойной и блестящей. извещенные об Успеньевке, французы бросили туда свои победоносные полки, лучшие десантные единицы. Восемь танков шли перед пехотными рядами. Долина заполнилась голубыми силуэтами, казавшимися Шахаю и Марченко ночными перелесниками [1], ночными туманами реки. Шахай послал 5-й Железный полк во главе с Семеном Вырывайло ударить врага в лоб и заманить на болота и вязкие луга. Семен выполнил задание. Луна освещала ровными лучами долину, воздух от такого света сделался густым и изменчивым: снаряды разрывались в воздухе не так бледно, как днем, не так огненно, как темной ночью. Пороховой дым повеял со всех сторон, долетел до Шахая и Марченко, стоявших вместе на холме, имея у себя под ногами все поле битвы.

Шахай ждал, смотря на циферблат часов, пока начнет свое дело Санька Шворень. Танки двинулись по долине, стреляя из пулеметов. Шеренга пехоты перебегала, падала, нагибалась, шла вперед на Успеньевку. Успеньевка молчала. Марченко стал нервничать. Но Санька знал свое дело — его орудия вдруг начали бешеную стрельбу. Снаряды сразу попали на пристрелянные места, на голубые ряды врага. Ураганный огонь орудий разбудил к бою винтовки и пулеметы. После недолгой, но убийственной стрельбы партизаны выскочили из шанцев в атаку. В последнюю минуту к ним примчался Марченко и повел полки сам. Через час французы отходили. Марченко остановил свою пехоту, дал место Остюку, выскочившему из околицы Успеньевки. Остюк захватил два танка, которые не могли вылезти из болота, вырезал поголовно экипаж танков и возвратился к Марченко и Шахаю с куском французского знамени, повязавшись им, как платком.

— Первый вареник в зубах не вязнет,— улыбнулся Остюк.— Пойти разве да поразбивать их штабы?

Шахай, на которого смотрел Остюк, ничего не ответил. Он задумчиво осматривал долину, по которой отходили французы. Стрельба понемногу редела и вскоре совсем утихла. Остюк понял сам, что вырываться из фронтов Успеньевки и гнать врага дальше мог бы только дурак. Лишь опираясь на мощь крепости, можно было бороться с врагом, который сильнее в пять раз. Надо разбить вдребезги, до белого знамени, не выходя из Успеньевки.

— Как дальше?— спросил Марченко, вкладывая новые патроны в наган и выбрасывая пустые гильзы.

Мы этих победителей мира завтра порешим,— процедил сквозь зубы Шахай. Вероятно, все время, пока происходил бой, у Шахая были крепко сжаты зубы.— Я ненавижу нашу нацию за то, что она не умеет до конца думать и до конца действовать. Хмельницкий под Зборовом испугался брать в плен польского короля. Кто-нибудь, может, испугался бы и тут французов, послал бы сейчас к ним парламентеров и просил бы их помириться с нами, уехать прочь от наших берегов, заплатил бы французам дань. Я хочу тут поставить свою жизнь и жизнь всех наших партизанов. Мы будем биться до смерти, оздоровим головы и найдем энергию бороться до конца, до победы, за честь, которую разбудила в нас великая революция.

— Разве то, что кто-то послал бы парламентеров, означает испуг? Ведь мы сегодня прогнали французов? Надо иногда иметь рассудок и не проливать кровь там, где можно договориться словами,— сказал Марченко.

Шахай долго не отвечал. Они втроем с'ехали с холма и направились в Успеньевку.

[1] Метеор.

На стороне французов загорелись два прожектора, засновали по небу, скрещивались, как клинки, забивали светом луну и выметали звезды.

— Великодушие иногда граничит с глупостью. Если дело идет об одном человеке, великодушие никому не вредит. Сейчас, когда враг силен и невредим, когда дело наше — это наше будущее, кто смеет говорить о глупости?

Марченко ехал впереди молча. Не видно было, как он воспринимает последние слова Шахая. Только лошадь его стонала от немилосердного нажима шпор. Разговор оборвался. Всадники молча доехали до походного госпиталя и, проведав его, домчались карьером до штаба действующей армии, находившегося в вагоне на станции. У вагона Марченко остановил раненный в руку кавалерист. Он держал за повод коня. Конь совсем мокрый, бока были в мыле.

— Ничего не вышло,— сказал кавалерист Марченко,— а Василия убили. Мы идем с белым флагом, мы машем этим флагом и кричим «мир!», а они шкварят пачками. Потом — еще и пулеметом. Васька лег, меня ранило, белый флаг я отдал в лазарет на бинты.

Остюк пристально посмотрел на Марченко. Тот, не останавливаясь, ушел к себе в вагон. Остюк похлопал по шее истомленного коня.

— Загнал коня, браток,— сказал Остюк.— Ты положи его, сукиного сына, где-нибудь на солому и накрой на ночь тулупом, пусть упреет. Не легко было вам гоняться за миром. Айда, завтра будет день!

Кавалерист, не понимая последних слов Остюка, вскочил в седло и исчез в темноте. Шахай задумчиво посмотрел на север, где опять начали скрещиваться прожекторы.

Удар сабли Остюка едва не снес французу головы. Но лейтенант был незаурядным фехтовальщиком. Он жалел лишь, что пошел в атаку с парадной саблей — с блестящими никелированным ничтожеством; этой сабелькой можно было только рисоваться в мирное время да на маневрах. В руке Остюка была небольшая сабелька с черным эфесом, незавидная и скромная, но она врезывалась даже в железо, не зазубрившись. Лейтенант, встретившись с этим хищным врагом, надеялся ослепить его блеском парадного клинка. Остюк же, не задумываясь, рубил своим клиночком — куда попало, так как знал, что его верная подруга перерубит все на свете. От смерти лейтенант спасся только тем, что умел фехтовать. Отбив первый наскок Остюка, француз хитро оборонялся, выбирая момент и удобную позицию для внезапного выпада. Вокруг двух командиров бились солдаты.

Выйдя до рассвета из Успеньевки, конница Остюка выполняла тактическое задание — маневрировала на правом фланге, маскируя обходное движение пехоты Шахая. В Успеньевке остался Марченко с орудиями и небольшими силами пехоты, которая, однако, увеличивалась без перерыва новыми десятками и сотнями людей,— они приносили свои головы из окрестных сел. Шахай выполнял сложный и рискованный план. Союзники — греки и французы — наседали на Успеньевку. Они с утра ходили дважды в атаку, но Марченко отбил обе атаки. Шахай маневрировал с пехотой на обоих флангах; он неожиданно появлялся в одном месте, шел в бой с той частью, которая там была, бился жестоко и, когда враг стягивал больше сил, исчезал и появлялся в другом месте. Шахай, дезорганизуя вражеские фланги, стремившиеся окружить Успеньевку, заставил врага почувствовать перед собой колоссальные силы партизанов. Отовсюду, из каждого овражка или рощи, можно было ожидать атаки и немилосердной резни. Так все должно было итти до вечера, когда имелось в виду одновременно ударить с нескольких сторон (с помощью Галата), а перед этим несколькими десятками храбрецов локализировать вражеский штаб. На несчастье союзников и на счастье

партизанов — французские аэропланы опоздали прибыть вместе с десантом и не могли увидеть сверху все карты, которыми играли партнеры. Эти аэропланы прилетели поздно, когда Успеньевскую операцию Шахай уже закончил.

Вокруг Остюка и лейтенанта французской конницы бились их солдаты. Эта встреча произошла неожиданно. Остюк увидел эскадрон конницы, шедший, очевидно, на разведки окрестностей Успеньевки. Спортивная жажда конного боя охватила Остюка, как пламенем. Он вырвал из своего отряда сотню и, подкравшись по лощине, выскочил на французов. Те сначала не хотели принимать атаки и бежали километра два, да верно, и их лейтенанту захотелось побиться на саблях, так как эскадрон сразу остановился, рассыпался, вынул сабли и принял бой. Остюк летел только на офицера, и они встретились. Остюк страшно выругался, подбадривая себя этим, и послал свою кубаночку в воздух над вражеской головой. Француз спокойно отбивал нападения, и горячка-Остюк начал осторожнее размахивать, понимая, что так можно и пропасть. Клинки звякали, кони люто ржали и кусались, француз отбивал бешеные выпады, Остюк невероятно ругался. Лейтенант не вытерпел ругани Остюка.

— Проклятие бога!— закричал лейтенант и ударил саблей сверху в то время, когда сабля Остюка не успела еще подняться для защиты. Две причины задержали движение французского клинка: шапка-кубанка на густых кудрях Остюка, и скверное качество парадных сабель французской армии. Однако, череп Остюка как будто хрустнул — так осветилось у него в глазах все поле.

— Душу, балалайку, бога! — ответил Остюк, взмахнул саблей и сгоряча промахнулся.

Француз, поняв, что ему не разрубить Остюка парадной саблей, стал неожиданно колоть ею. Остюк не любил таких приемов. По его мнению, саблей можно было только рубить, и поэтому он не мог защищаться. Лейтенантская сабля ударила острием в левую руку Остюка, которой он держал повод, пробила ладонь, прошла толстый кожаный пояс, полушубок, френч, рубашку и попала в кость. Воспользовавшись этим, Остюк прижал вражескую саблю тесней к своем ребру, чтобы ее не так легко было выдернуть, размахнулся правой рукой и начисто отрубил офицеру шапку с головы и зацепил плечо. Лейтенант упал с лошади и, падая, рванул свою саблю. Остюк покачнулся в седле и помутневшими глазами стал осматривать поле битвы. Он увидел себя среди чего-то такого страшного и фантастического, что едва не упустил из руки клинка. Это была греческая кавалерия, сидевшая на ослах. Сотня Остюка, увлекшись боем с французами, не успела оглянуться, как ее окружили греки. Греческой конницы было до чорта. Это увидел из-под Успеньевки Марченко, выехавший на пригорок посмотреть в бинокль на свою конницу. Он побледнел, соскочил с коня и ударил шашкой об землю.

— Сдохну, пулю себе пущу! — закричал Марченко.— Чтобы Остюка исусова кавалерия полонила?!

Ординарцы Марченко молча переждали, пока он бесился. Потом он опять посмотрел в бинокль и радостно захохотал. Сотня Остюка, как обожженная, карьером налетела на греков, смяла длинноухих коней, выскользнула из западни, помчалась об'единиться с остальной конницей. Остюковцам было стыдно, что греки могли осмелиться воевать с ними на ослах.

— Ей-богу, застрелился бы! — сказал Марченко, садясь на коня. Перед ним по долине беспрерывно катились волны атак. На флангах и в центре сновали танки. Газовые бомбы падали на землю и быстро окутывались пеле-

ной газа. Низовой ветер потихоньку катил эти газовые кусты и, прибивая их к земле, расстилал над водой речки.

«Газами душат»,— подумал Марченко, и ему захотелось вонзить кому-нибудь клинок в горло и повернуть его там. Пять танков сильно потеснили центр. Марченко послал туда подмогу и поехал на этот участок сам. Он бросил коня, выхватил наган и побежал с ним по брустверу вдоль траншей, угрожая бойцам расстрелом. Пробегая участок своего любимого Новоспасского полка, Марченко закричал:

— Цистерну спирта даю за танк! В атаку, хлопцы!

Новоспасский полк выскочил из траншей, как пробка из бутылки, и заулюлюкал на все поле, призывая с собой другие полки. Моментально облетело по траншеям обещание Марченко, и он быстро увидел результаты призыва. Такой неблагоразумной атаки французы до сих пор еще не встречали. Как косой, клали партизанов их пулеметы. Танки остановились и поднялись фортами, но невозможно было устоять перед атакой Новоспасского полка. Он честно заработал свои три цистерны спирта, деморализовав ручными гранатами экипажи трех танков. Все же, к концу атаки многим новоспасовцам пришлось отказаться от спирта: они полегли на поле борьбы. Марченко загрустил, когда увидел, сколько людей не вернулось из атаки, и велел выдать Новоспасскому полку еще одно красное знамя из штаба. Глубокая осень, как бы сойдя в долину с окрестных холмов, охладила поле битвы. Выстрелы стали утихать, будто враги собирались зализывать раны. Ни на чьей стороне не чувствовалось победы. Смелость, хитрость и отчаянность не в силах были одолеть такого множества французов. А французские солдаты уже чувствовали утомление, хотели кофе, и вспоминали, что они, собственно, бьются против революционного народа, за реакцию.

Гонец Шахая передал приказ — быть наготове. Перед вечером должен был подойти Галат. Полусонный Марченко об'езжал позиции. Он дремал, сидя на коне, и видел тяжелые сны. На батарее Петра Бубона делегация от Новоспасского полка обступила Марченко. Газовые бомбы ослепили многих бойцов. Погибшие от газов не протестовали, ослепшие же размахивали кулаками перед Марченко и угрожали застрелить его или зарубить.

— Хлопцы!— ответил им Марченко,— если победа будет за мной, я вам сделаю электрические глаза. Если нас разобьют — идите и пойте по дорогам о нашей доблести и призывайте к мести. Слепого дорога кормит.

Марченко последние слова проговорил как бы сам себе. Потом он выхватил саблю и закричал пронзительно на всю батарею:

— Браточки, не дрейфь! У французов барахла полные вагоны!

По рельсам со стороны французов появилась дрезина. На ней развивался и вздрагивал белый флаг парламентеров. Их сидело трое на дрезине — угрюмые, бледные офицеры союзного десанта: капитан — грек, капитан и полковник — французы. Они были без оружия. Железнодорожная насыпь проходила поперек долины, с нее были видны все позиции и траншеи; партизаны перебегали с места на место, стреляя в воздух в честь гостей. Парламентеры заметили прекрасное расположение опорных фортов, верные линии траншей, в которых лишь опытный глаз мог заметить замаскированные пулеметные гнезда. Решительного боя так и не произошло до сих пор. Маневры Шахая, восстания в тылу, которые поднимал бешеный Галат, наскоки остюковской конницы, упорная оборона Успеньевки — дело Марченко, скверные настроения среди солдат десантной армии,— все это было причиной того, что французско-греческое командование решило начать переговоры с бандитами-повстанцами, оттянуть время, сберечь за собой славу фактически не побежденного войска и, отступив к морю, начать поход вновь. Пар

ламентеры под'ехали к Успеньевке, сдерживая отвращение и страх. Бандиты были способны, по их мнению, зарубить или замучить вестников мира. Но ничего этого не случилось. Путь был свободен. Шахай хотел показать дисциплинированность своей армии. Только у штабного вагона стоял почетный караул — человек около сорока. Впереди виднелись медные трубы оркестра. Почетный караул стоял перед вагонами, как шайка разбойников — грязный, закопченный пылью и порохом, с кровавыми пятнами на руках, лицах, на одежде, обвешавшись множеством гранат и пулеметных лент, револьверов. и кинжалов. Оркестр со всей силы бахнул бравурную мелодию, которая как бы сделалась уже национальным партизанским маршем,— так часто ее играли.

— Марш из «Кармен»?—сказал удивленно полковник, слезая с дрезины.

На площадку вагона вышел встречать сам Шахай. Гости вошли в вагон, а караул стал громко смеяться над французскими мундирами. Оркестр кончил играть, и тогда послышались далекие пулеметные и винтовочные выстрелы. Они летели откуда-то издалека, точно из-за вражеского лагеря. Парламентеры встревожились, и грек, который знал русский язык, спросил о причине стрельбы.

— Вас, гадов, где-то бьют! — ответил мрачно Марченко.

Шахай выбежал из вагона, через пять минут вернулся и позвал за собой Марченко. Последний погрозил парламентерам револьвером и строго приказал не выходить из купэ. Парламентеры остались одни.

— Это пришла наша смерть,— заметил спокойно полковник.

Оба капитана согласились. Далеко где-то загремели орудия. Четко были слышны пулеметные речитативы. Бухали ручные гранаты.

— Это в нашем тылу,— прислушивался капитан-француз. Он вынул из кармана карту и разложил ее на столе.— Сегодня оттуда были известия, что большая банда крестьян со многими орудиями и пулеметами приближается из степей к Успеньевке. Ведет ее тот сумасшедший, что пустил на ветер шесть броневиков и сжег полустанок. Он мобилизовал все села, этот дьявол.

Палец капитана показал на карте участок, откуда слышалась отчаянная стрельба, на которую уже отвечали французские орудия и бомбометы, и которая все разрасталась и делалась громче.

— Они не дураки,— сказал грек.— Они здорово разрушат наш тыл. К этим мы приехали мириться, а те, что пришли из степи, не знают о мире и лезут в драку. И, конечно, они будут разбиты.

— Только бы эти в Успеньевке не поняли подольше, в чем дело, и сохранили бы мир, пока там разобьют того мужика,— процедил со злостью полковник.

— Надежда слабая,— послышалось от капитана, который все время прислушивался к стрельбе.— Слышите, уже трещит левый фланг. С правого тоже слышны одиночные выстрелы. Стойте, тут у них должна быть конница,— равнина, видите, хороша. И рубиться они умеют.

— Смотрите,— почти закричал грек, глядя в окно,— вот она, проклятая конница! Она передвигается за холмами, как большой удав, она ждет, чтобы в последнюю минуту добить и разогнать обессиленную пехоту.

Капитан наклонился над столом. Профессиональная привычка к этому делу вынудила его забыть, кто именно бьется. Капитан видел абстрактные военные единицы, двигавшиеся в руках опытных мастеров войны по полю. Союзный лагерь показался ему островом среди штормовых волн. Успеньевка начала орудийную подготовку. В долине рокотали уже и пулеметы. Карандаш капитана обвел черту вокруг всего союзного лагеря. Парламентеров охватил ужас. Партизаны умело подготовились и приступили к последней

игре. Пока что грохотали орудия. С фланга и с тыла ревели на союзников их стальные глотки. На левом фланге притаилась пехота, разместившись для атаки. Правый фланг охранял Остюк — первый конный боец. На его долю выпал последний удар, и Остюк надеялся выполнить его в конном строю. День шел к концу. Через час солнце висело уже над самым горизонтом. Стихли орудия, настала жуткая тишина перед атакой. Парламентеры будто видели, как перебегают одиночные стрелки и занимают свои места. С тыла давно уже наседают сумасшедшие крестьяне, не понимающие ужаса смерти и сладости жизни. Они ложатся кучами перед дулами пулеметов. С фронта вошел в долину успеньевский гарнизон. С левого фланга начинает атаку пехота. Есть только один выход для союзного войска, но и там ждут его клинки Остюка. Солнце заходит среди тысячи смертей. Последние вздохи тысяч людей холодеют, взойдя на осеннее холодное небо. Парламентеры видят в окно, как с последними лучами солнца идет в бой конница. Это безумие, так как половина ее погибнет, не дойдя до врага. Полковник и два капитана чувствуют страх от такого самопожертвования, от такого чрезмерного самоотречения. Точно и конца нет человеческим существам, столь беззаветно мчащимся в бой. Темнеет. Парламентеры сидят еще часа три, прислушиваясь к каждому звуку. Понемногу утихает бой. Где-то идет молчаливая расправа. В конце четвертого часа ожидания к парламентерам вошел Шахай. Он так и вошел с револьвером в руке, как держал его все время, руководя боем. С усилием разогнул он пальцы и положил на стол пустой револьвер.

— Простите, что пришлось немного подождать,— мы как раз подписывали кой-какие пункты предварительного соглашения,— сказал Шахай так, точно у него совсем пропал голос.

— Какие результаты боя? — спросил полковник, и грек повторил эти слова по-русски Шахаю.

— Пленных мы не брали, так как не умеем их стеречь, а так: кто лег, кто побег, кто поездом поехал.

— Вы нарушили законы белого флага,— закричал капитан, и грек, волнуясь, начал переводить.— Мы еще вернемся и огнем пройдем по вашей стране. Вы еще пожалеете, что задержали парламентеров, а сами сделали позорное дело.

— Мы готовы вас выслушать,— ответил шопотом Шахай.— Говорите, что вы хотите нам предложить?!

Голос Шахая был хриплый и утомленный, но чувствовалось, что говорит победитель. Какие требования можно ставить победителю, когда каждый мускул его кричит: «горе побежденным»? Все то, с чем парламентеры приехали, далеко отбросил последний бой.

— Мы просим,— проговорил полковник,— мы просим отпустить нас к своим. И если вы выиграли бой, дать нам возможность отойти к морю, сесть на пароходы и отплыть домой. Двух недель нам достаточно.

— Я не дам вам и часа,— усмехнулся Шахай.— Завтра утром мы будем у моря и заберем все, что только найдем на кораблях к тому времени. Вас троих я отпущу немного погодя, когда мы найдем средства для вашей охраны, пока вы доедете до своих. Сейчас вы получите возможность увидеть моих маршалов. Я дал приказ не преследовать вашей армии, и командиры мои скоро будут здесь.

В вагон вошел Марченко в разодранной матросской рубашке. Глаза его горели, как у волка, красные веки опухли. Он нес в руках прекрасную французскую офицерскую куртку. Не стыдясь присутствовавших, Марченко снял рубашку и надел куртку, которая едва сошлась на его широкой груди.

— Это вошел маршал Бернадот,— сказал Шахай.— Он пока еще не князь Понте-Ковро и не кронпринц Швеции, но у него все данные для этого. Он — сын новоспасского корчмаря, как Мюрат. Рано пошел во флот, переплыл два океана и несколько морей. Слишком любит женщин и славу. Для этого живет и хочет быть первым. Сегодня он командовал Успеньевкой и сам водил в атаку полки. Вы могли слышать, как он бился. Это его сабля била вас с фронта.

Марченко дремал, обессиленный боем. Он не слушал Шахая, в груди его клокотал сон.

— Вот это входит маршал Остюк,— сказал Шахай, когда в дверях появилась фигура Остюка, с перевязанной левой рукой. Кавалерист звякнул шпорами и поздоровался с офицерами. Он едва передвигал ноги — его измучило седло.

— Хозяин,— Остюк сел рядом с Марченко,— порубила моя сабля левый фланг. Если бы не твой приказ, мы гнали бы их до самого моря. Сколько коней наловили мы в темноте! А ослов разогнали по степи.

— Остюк — сын крестьянина и уже семь лет не снимает военной одежды. Это его конница на левом фланге сеяла панику. Сабля у него — маленькая кубаночка, черная певунья. Плачено за нее табунами лошадей и сотнями голов. И еще никогда она не зазубривалась.

— Сейчас войдет маршал Галат,— продолжал Шахай после паузы.— Советую вам поглядеть на этого юношу. Он пробился с броневиками сквозь ваш фронт, и это он налетел с тыла — неудержимый и безжалостный. Вспомните генерала вашей революции Лазаря Гоша, умершего двадцати девяти лет от роду. Он равнялся лишь Наполеону военным гением. Это — Галат, сын рабочего, сам рабочий, приехавший в Новоспасское к своей тетке и оставшийся у нас жить и после революции.

Двери широко открылись, чтобы пропустить Галата. Он сообщил Шахаю, что Вырывайло хотят ему что-то сказать и просят выйти наружу.

— Пусть войдут сюда.

— Они несут голову своего брата Петра и рубят всех пленных, которые встречаются у них на пути.

Шахай побледнел, как бледнеют от гнева. Марченко поднялся и вышел из вагона.

— Пусть войдут сюда,— повторил Шахай.

Галат нехотя пошел к дверям и крикнул кому-то в темноту. Вошли трое Вырывайло. Семен нес черную голову Петра. Угрюмое величие братской скорби потрясло весь вагон. Французы с'ежились, когда Семен положил голову на стол и начал плакать перед Шахаем, ударяя себя в грудь. Мертвая голова Петра точно спала. Вечная улыбка лежала на губах ее.

— Братик наш родный,— стонал Семен,— да чем же тебя поминать, величать? Кровью ли, песней ли, или высокой могилой? Смотри, брат-сокол, вот сидят твои вороги. Гляди на них, братик, упейся мольбами ихними, потому я сейчас их резать начну...

Шахай подошел к Семену и положил ему руку на плечо.

— Сколько вы людей уже казнили, хлопцы?

От дверей вышел вперед Панько, неся охапку сабель.

— Не сиди, прохожий, так и бог поможет,— сказал Панько и положил сабли на стол рядом с мертвой головой. — Чужое горе — лакомство, а свое — хрен. Свечи с'ели, а сами глазами светим.

— Это французские полки,— об'яснил Иван.— Каждая сабля — полковник. Погуляли мы сегодня, батько. Дозволь теперь брату честь воздать и достойно похоронить.

— Несите его, хлопцы, на гору. Там будет яма для всех наших братьев. И сверху положим голову Петра. И насыплем высокую могилу.

Вырывайло вышли. После них остался легкий трупный запах. Парламентеры, огорошенные и испуганные, чувствовали, что они сходят с ума. Полчаса в купэ была мертвая тишина. Галат и Остюк спали, храпя во сне. Шахай вдруг встал и предложил французам отправить их к своим. На рельсах нашли дрезину, сели, и Шахай проехал с парламентерами все опасные места. Попрощавшись, Шахай на своем Сером возвратился на станцию. Ему пришло в голову, что нужно известить столицу и население Советской Республики о своей победе. Телеграфиста он застал у аппарата. Рядом лежал черновик телеграммы, подписанный Марченко. «Разбил французов под Успеньевкой,— писал Марченко.— Шахай убит в бою. Марченко».

— Телеграмма эта уже послана?

— Послана.

— По какому адресу?

— Новоспасское. Наталке Шахаевой.

Шахай удивился и удивлялся довольно долго, составляя новую телеграмму жене, исправлявшую сообщения Марченко...

В большом портовом городе шумела толпа. На рейде еще покачивались перегруженные пароходы, крейсеры и миноноски, некоторые из них еще изредка стреляли по городу, в котором уже хозяйничала партизанская армия. Она очень сильно увеличилась после победы под Успеньевкой. Оркестры гремели на улицах — это был тот же марш из «Кармен». На балкон гостиницы вышла группа командиров. Их встретили пронзительными криками и приветственным свистом. Должен был говорить председатель местного подполья.

— Не нужно! Шахая! — кричала толпа.

Тогда вышел вперед Шахай.

— Не нужно! Шахая!

Ничипор Марченко протолкался вперед и стал, заложив руки за лацкан французской куртки.

— Я был атаманом Шахаем! — хрипло и картаво бросил он.

Несколько минут ему не давали говорить человеческие страсти.

Он поднял руку вверх, и все затихло.

— Я победил победителей мира! Европа первого сорта села на корабли и плывет от наших берегов! Европа второго сорта переходит в эту минуту границу, и моя славная кавалерия, во главе с маршалом Остюком, топит их в реке.

Через реку по понтонам отходили разбитые французские и греческие полки. Конница Остюка наседала без перерыва. Арьергард врага отстреливался из пулеметов, защищая переправы. На дорогах валялось имущество, разбросанное в панике. Оседланные лошади бегали одни по степи. Прекрасный осенний день угасал, как звон. Остюк со своим штабом разместился на холме и пил из фляги вино. Остатки французов перешли реку. Арьергард еще защищал понтоны, и кавалеристам не хотелось слезать с лошадей, чтобы в рукопашную схватиться с арьергардом.

Неожиданно сбоку, за километр от Остюка, появилась группа французов, которая опоздала к переправе. Их было около шестидесяти. Они шли, редко рассыпавшись по полю, имея на флангах по пулемету, шли — винтовки на ремнях. Их быстрый марш и спокойная выдержка рассмешили Остюка. Он указал на них пальцем сотенному Василишину.

— Возьми их, Васько!

Василишин помчался к сотне, пропел около нее команду и повел сотню за собой на горсточку французов. Василишин знал, что надо спешить людей для такой атаки, но ему помешала самоуверенность победителя.. Французы подпустили сотню на близкое расстояние, повернулись, легли и так встретили конных, что Остюк даже покраснел, смотря, как разлеталась сотня на кусочки от французского дружного отпора.

— Возьми их полком!— сказал сердито Остюк второму брату Василишину.

Второй брат, еще более самоуверенный, повел полк, точно на парад. Ничтожная кучка французов снова легла и достойно встретила полк. Затарахтели с флангов пулеметы. Полк остановился, разбился на две половины и стал удирать в степь. К Остюку подскочили взбешенные командиры других полков, но Остюк приказал играть отбой. Трубач протрубил отбой.

— Пусть идут,— были слова Остюка.— Ну, где ты возьмешь еще такого славного врага!

Он улыбнулся, и его лицо стало прекрасным, как пламя.

Четвертая песня

Голос: Конармии суровое житье,
Не пропадешь, не сгинешь никогда ты.
А жизнь летит, и плечи трет ружье,
В боях уставшие идут солдаты.
Далекий край, чужой безвестный док,
Закутанный в плывущие туманы.
Давно в патронах порох наш промок,
Давно на бой не кличут барабаны.
Заря надежды за море падет,
Звериным голосом бесчестье воет.
Кто конную бригаду поведет
Бесчестную — на поле боевое?
Покинь свою красотку, командир!
Твоя на кухне сабля, меж ухватов.
Опять на бой бригаду поведи,
Комбриг — Галат, встань, выручай собратов.
Что, смелые головушки, заснули?
Иль это жизнь пошла ко дну, как мед?

Хор. Солдат на землю валится от пули,
А жизнь его еще летит вперед.

Звезда мигнет неожиданно, тоненький, едва заметный луч повиснет от нее вниз и, как паутина, понесется на землю. Звезда в космосе давно погасла, за квинтильоны километров падает, вырвавшись из общей системы, только ее блестящий труп. А свет, который она послала в пространство, еще летит и летит, вибрируя и преломляясь в атмосфере.

В тот день, когда целую дивизию Шахая враг охватил кольцом, и бригады бились каждая порознь, конная бригада товарища Галата имела шестьсот клинков. Настроение бригады было барахольное, и в результате она погромила местечко N. Комбриг Галат, пулеметчик, принявший бригаду

после последнего боя, после молчаливой рубки в степи, и ставший на месте убитого Вырывайло,— комбриг сидел около своей деревушки на хуторе. Он ждал расплаты за скандал, хоть и не принимал в нем участия, потому что лежал в это время пьяный, запутавшись в юбке своей милой. Комиссар бригады исчез после того, как его кто-то подстрелил ночью. Галат пьянствовал, чувствуя, что бокал переливается через край, а комиссар капает на него Шахаю. Девушка была огонь, ноздри у нее горячие, как у коня, и, когда она обнимала за шею Галата, он чувствовал, что еще немного — и она задушит его. Осень прошла грязными сапогами по полям. Подул холодный ветер с севера. Скоро должен был выпасть снег на охлажденную землю и одеть ее в белое полотно.

Бригада еще не отдохнула, когда пришел приказ выступить. Приказ застал Галата на хуторе. Ему подвели вороного жеребца «Флориду». Галат поцеловал крепко свою девушку, так крепко, что она упала в обморок. Рванулся жеребец, выскакивая из ворот хутора, от крика и свиста Галата. Но не долго он мчался. Трезвый ветер холодной осени обвеял всадника. Он перевел галоп коня на рысь, а потом на широкий шаг.

Голова была остужена и своя. Теплое тело девушки не привлекало уже его. Он, как настоящий мужчина, овладев женщиной, оплодотворив ее, став ей ближе креста на теле,— отдалялся, и мыслей о ней не было в его голове. Таких девушек много выросло на нашей ароматной и крепкой земле. Не от них ли мы должны ждать гигантов на утеху нашей жадности?

Галат возил девушку в обозе. Гордая и гибкая, она не подпускала к себе Галата и тогда, когда он клал перед ней револьвер и божился всеми пулеметами, что погибнет без ее поцелуя. Весь обоз полюбил девушку, и товарищи Галата в восторге выпускали свои чубы на глаза.

Часто в боях Галат вдруг терял память: у него в глазах вставала девушка, и только слепое военное счастье спасало его голову. Шахай заметил это сразу.

— Галат,— сказал ему Шахай,— из-за твоей сестры мне весь обоз перестреляют.

Галат, который никогда не считал своих побед на женском фронте и забывал, их одержав,— Галат покраснел.

— Галат!— продолжал Шахай.— Бригада Вырывайло просит пулеметчиков. Может, ты бы поехал, голубчик?

Галат загрустил и приложил руку к шашке.

— Только присмотрелся к людям, вижу — бригада ненадежная. Я их давно хочу уже послать в жестокий переплет и превратить в смельчаков.

Шахай говорил, вяло постукивал по планшетке, и Галат знал, что это —немилость. Сердце загорелось и заболело, а пули в заживших ранах шевельнулись, точно под магнитом. Он встретил во дворе Остюка и пожаловался на комдива. Остюк прошел с ним до ворот, припадая на раненую ногу.

— Поезжай, Галат, тихонько и навостри свою руку. Так тебе будет почище, чем мне было в рейде.

— Я там буду один, Остюк.

— Понимаешь,— сказал Остюк,— он тебя собственной рукой застрелит, если ты растеряешься среди сотен бригады.

— Ты думаешь, я растеряюсь?

— Я — комиссар дивизии, и кавалерист, и командир!— закричал Остюк.— Я зарублю тебя до земли, если ты забудешь обо мне, о Шахае и покойном Марченко.

Они обнялись и сейчас же застыдились такого проявления своих чувств. А над ними вечер раскинул свои покрывала, такие высокие, что их никак не согреешь дыханием,— они темные и бесстрастные. И людям под ними холодно.

«Флорида» любил Галата. У него была привычка мириться с людьми. Это был жеребец, но жеребец смирный. Он иногда мог ржать, вставая на дыбы, выпрямляясь на задних ногах, весь залитый слюной. Он не любил вестовых, предпочитавших лучше поспать, чем своевременно его напоить. «Флорида» тихо ржал и лизал руки Галату, когда тот вспоминал о нем и приносил ему воды. Особенно «Флорида» любил хлеб. Кто его выучил и кто испортил таким образом его вкус,— неизвестно, но «Флорида» всегда с наслаждением глотал пережеванную массу хлеба, и эти лакомства в нем ассоциировались с какими-то необычайными воспоминаниями. Его подарил Галату маршал Остюк.

Галат опустил поводья и мчался вперед, по направлению к местечку N. Он был вполне свеж, будто и не было того вина и тех девичьих даров, когда кровь пенилась, а он лежал изнеможенный и обессиленный. Далеко где-то были товарищи — жестокий Шахай, отважный Остюк и тень расстрелянного Марченко. Здесь, среди степи, увидел он далекие руки, сплетающиеся с его руками. Мысль ужаснулась, вспоминая всю бездну падения. Нахмуренные глаза грезились ему повсюду, боевые товарищи грозили кулаками и саблями. Героический Остюк мрачно качал головой. «Пулю гаду,— бормотал Остюк белыми губами,— шкура барахольная!»

Галат не оправдывался. Он заплатит за то, что допустил любовь к своему боевому сердцу! Пусть беснуются все небесные ветры. Пусть тучи плывут на небе, как безлюдные корабли, как неизвестный неумолимый гнев комдива!

Заморосил мелкий дождь, точно все небо сделалось мокрым. Начала лететь мерзлая крупа. Сыпалась крупа, а потом мокрый снег кружился и устилал дорогу и степь. Шел снег и тут же таял.

В местечке было полно оседланных лошадей бригады. Обоз уже выезжал за околицу. Два орудия стояли в центре площади. Помощник комбрига выстроил бригаду возле орудий. Галат, подлетев на «Флориде», весь в грязи, разгоряченный от галопа, сделал смотр. Потом он сказал речь.

— Хлопцы!— крикнул Галат и покружился на лошади перед бригадой. Казалось, что она начнет петь.— На нас кадеты нагоняют полки, сжимают кольцо. Бой будет жестокий и кровавый. Мы побарахолили в этом проклятом местечке, и на нас теперь плюет вся дивизия.

Галат поехал впереди бригады. Вплоть до станции бригада молчала. Лошади чувствовали на себе жестокость человеческой руки и острые прикосновения шпор, рвавшие нежное мясо на ребрах. Удила раздирали лошадиный рот, захлестанный слюной, в слюне же краснела кровь разодранных десен.

Солнце выкатилось из-за туч, плыло по синему куску неба, обливая все безмолвной тревогой. Потом оно заходило за тучи, его покрывал серый туман, шел снег, ветер нагонял снежинки прямо в лошадиные ноздри и в красные лица людей.

Хмурое молчание прерывал лязг подков и хлюпанье копыт по мокрой дороге. Солнечные лучи, появлявшиеся неожиданно и неожиданно исчезавшие, наполняли людей беспрерывным беспокойством. Головы храбрых погромщиков то склонялись к поводьям, то поднимались вверх до бодрой песни солнца. Они чувствовали на себе тяжкий грех, который смывает лишь кровь. Человеческая жизнь, которая всегда надеется, порой напол-

няла их безмерной наглостью. А предательское сердце сжимается, неизвестно почему. Оно предчувствует смертельные прикосновения. Оно предчувствует, бойцы!

Истомились кавалеристы. Тишина и лязг подков, и нерешительный голос проносится над бригадой. То Галат распевал, как весенний жаворонок. Этот новый комбриг не был по вкусу бригаде после покладистого Вырывайло. И молчаливый моросящий дождик, холодной осени журчащее молоко, стоит между рядами лошадей, под которыми плывет назад дорога.

А впереди доносится песня Галата. Он точно отвечает кому-то на больной вопрос.

Мне дороги не искать,
Прямо по степи блуждать.
Гей! Ге-ей!
Судьбу догонять.

Его голос так добр и так убедителен, что все верят в судьбу, которую можно догнать и которую догонят.

А самая мелодия песни напомнила зеленый солнечный день, процеженный сквозь густой лист верхушек деревьев в темный таинственный сумрак леса.

Летят наверху галки. Плывут вечерние тучи высоко и не подвигаются вперед. Покачивается верхушка высокого тополя на станции. Стоит бригада колонной. Впереди — Галат.

И все это отражается в огромной луже, целом озере воды, которое не шелохнется между бригадой и крыльцом станции, где замер одинокий человек. Отражаются лошадиные морды в воде, отсвечивается небесная глубина, и всадники срослись лошадиными копытами — в воде и над водой.

Лица кой у кого из людей захляпаны грязью. Едва заметные черты провел карандаш страха. Разбрызгивая воду и разбивая копытами небо лужи, от'ехал Галат от бригады к станции. Человек на крыльце приветствовал его левой рукой, и все увидели тогда под шинелью раненную правую руку. Это был комиссар бригады.

— Вольно-о!— крикнул Галат и вошел вместе с комиссаром на станцию.

Они пробыли там столько времени, что погода успела перемениться дважды: пошел дождь, потом тоненький лед начал застывать на лужах. Они высказали друг другу много горьких слов, много горячих слов. Галат шлепнул бы комиссара за некоторые нахальные выражения, но последний нес на себе волю и величие Шахая. Комбриг конной вступил на единственную дорогу, на кровавую тропинку расплаты за преступление, левой рукой только плотно сжимал эфес сабли, подаренной Остюком. Он молча выслушал приказ Шахая.

Вскоре бригада услышала его певучий голос, когда он с крыльца вызвал к себе четырех сотенных командиров. Те привязали к дереву лошадей и вошли на станцию, лениво позвякивая шпорами, переваливаясь с одной затекшей ноги на другую. Эти сотенные командиры были, собственно, диктаторами конной. Бешено храбрые и отважные, они всегда выделывали чудеса. Рубили головы, не скривившись, крали лошадей в соседних бригадах и любили отступать последними, разыскивая барахло. Слава этих сотенных никогда не радовала Шахая. Комбриг Галат знал об этих своих подчиненных значительно больше, чем может знать командир без того, чтобы не поставить сотенных перед фактом их смерти.

Бригада увидела, как заходило солнце, прорвавшись в эту минуту из-за облаков, и от'ехал паровоз по рельсам влево от станции. Тогда вышел в

сумрак вечера Галат. Почему-то погода сделалась как будто более теплой. Комбриг дал распоряжение, и всю станцию наполнил звон шпор.

Лошади ни за что не хотели входить в теплушки, кусали людей и все старались выбить хоть одну доску из ненавистной теплушки. Грузились прямо с перрона, асфальт сразу покрылся щепками от досок, сеном и лошадиными экскрементами. Фонари качались от ночного ветра. Обоз оставался до утра на станции. Только разобраны были по вагонам все снаряды и гранаты.

Галата вызвал комдив к телефону. Комбриг поправил на себе шапку, кобур револьвера и саблю, потом осторожно взял трубку телефона, будто она была стеклянной.

— Есть!— ответил громко Галат на первый вопрос, переложил телефонную трубку в левую руку, а правой расстегнул кобур и взялся за наган.

— Я вам уже отправил их с комиссаром,— ответил он потом, вытягиваясь перед телефоном.

Затем Галат молча слушал гневные слова комдива, не реагируя на них ни одним мускулом лица. Он слушал долго, и слова прожигали ему мозг, как раскаленное олово прожигает бумагу. От таких слов провод в степи между столбами должен бы закручиваться, как стружка. Галат не отвечал ничего Шахаю. Тот, сказав все, что считал нужным сказать, передал трубку Остюку.

— Галат,— послышалось от Остюка,— передай поклон Марченко, и пусть он тебя еще раз расстреляет после твоей смерти. Бейся, Галат, и прячь «Флориду» от пуль. Мою саблю не отдавай врагу. Мы должны разбить кольцо.

Галат все еще стоял, не слыша уже слов и наливаясь гневом, как кожух пулемета водой. Он повесил трубку, согнув вилку телефонного аппарата, и повернулся к дверям. Его остановила фигура наглого бледного кавалериста, который стоял, упершись в бока и рассыпая искры из глаз.

— Товарищ комбриг!— прошептал кавалерист.— Куда ты дел моего брата? Куда ты отправил еще трех наших командиров?

Галат, будто скучая, взглянул в окно, что-то подумал и вдруг прижал ногу к ноге, поворачиваясь к кавалеристу. Тот вздрогнул и выпрямился.

— Я их послал за бронепоездом, товарищ. Они поедут вслед за нами.

Но кавалерист не был так прост и не в теплой воде купан. Брат успел научить его, как нужно обращаться с оружием и с командирами. Он побелел еще больше, и голос его срывался на тонкий визг.

— Куда ты дел брата моего, комбриг? Братика моего милого куда ты закапываешь?

Кавалерист схватился за саблю и уже до половины вытянул ее из ножен, но Галат подскочил к нему и ручкой револьвера выбил сознание. Потом погасил лампу и вышел на перрон.

Ветер, как беззвучная песня, пролетал вверху. Точно после взрыва снаряда, ухо не слышало гудка, и Галат видел только небольшой фонтан пара у трубы паровоза.

Конная бригада, загнанная с воли в эшелон, мчалась навстречу боям. Ночь обволакивала бригаду и весь мир. Туннель ночи нависал над эшелоном уже несколько часов. Молчаливый эшелон вез бригаду, которая, как живой таран, должна была неожиданно появиться перед врагом.

У бойцов уже апатия и сонливость. Было жутко мчаться так в ночную темень на неизвестный фронт. Самые крепкие заснули. Хилые сердцем и нервами суетились по теплушкам, как птицы. Если б их предсмертную энер-

гию можно было превратить в крылья, то, верно, все небо закрыл бы шелест отчаяния человеческих крыльев.

Осенняя ночь, поздняя осень перед зимой и верхний ветер неслись навстречу. Наконец эшелон остановился. Это была глухая станция. Отсюда конная бригада шахаевской дивизии должна была начать наступление, осмотрев лошадей, посоветовавшись с картами, почистив пулеметы и испробовав, как вынимаются клинки.

Галат не вышел из теплушки. Он сидел на скамье за столом, развернув перед собою карту. Карандаш он держал так, будто это была тяжелая сабля. За теплушкой суетилась станция. Ржали приглушенно лошади. Грохотали колеса орудий, когда их скатывали с площадки. Звенели ведра у водопоя. Сдержанный шум шести сотен людей навис над станцией, не разлетаясь ни вверх, ни в сторону. Ночь посерела от массы тумана и от далекого разгорания дня, критического дня в жизни конной бригады.

К Галату вошли трое кавалеристов. Это были делегаты от бригады. Комбриг принял их угрюмо и неприветливо.

— Куда ты нас ведешь?— сказали, перебивая друг друга, все делегаты.

— Я веду вас,— сухо информировал Галат, не поднимая глаз от карты,— на проклятого врага. Я веду вас на поля, за бедных людей и за правду.

Кавалеристы засмеялись.

— На смерть ты нас ведешь, Галат! Нас оторвали от всего на свете, и мы в кольце положим здесь свои шкуры.

— А выбиться нужно из кольца.

Галат обвел карандашом большой круг. Кавалеристы наклонились к карте, но смотрели они, как в воду. Карта перевернула им душу и чрезвычайно подняла авторитет комбрига...

— Отсюда нужно нам проскочить,— показал деликатно пальцем один кавалерист. Его палец прошелся по карте, стирая леса и озера и разрушая горы. А к этим горам бригаде нужно было бы мчаться галопом не одну неделю!

Кавалеристы ушли от командира удовлетворенные. Их природная хитрость не позволяла им спросить о том, что будет бригаде за скандал. Теперь все думали о расплате, но никто не признавался громко. Делегаты проинформировали бригаду, что Галат знает, куда ведет, и конная выбьется из мешка.

У комбрига были другие мысли. Жестокая неизбежность хоть кого могла вогнать в отчаяние, и Галат сидел, смакуя темные линии карандашом. Его огорошивала только ответственность. Лучше было бы, если б кто-нибудь послал его в бой, дав правильное направление Он был из тех людей, которые знают тайну безрассудной храбрости, но не умеют написать приказ о наступлении.

— Я пускаю бригаду с обоих сторон железной дороги,— задумчиво бормотал сам себе Галат.— Орудия пойдут посередине. Я дойду до станции, возьму ее и буду держаться до обеда.

Галат вспомнил бой под Павловкой. Тогда конница Остюка почти погибла, стягивая на себя все вражеские силы с фланга и с тыла. Тогда они с Марченко освобождали полумертвого Остюка и спасли его сумасшедших кавалеристов. Победа тогда сошла с солнцем на полки, и раненые забывали умирать.

Теперь у Галата было то же задание, что когда-то и у Остюка. Он стягивал на себя, на станцию, которую должен был взять, соседние вражеские полки. А Шахай, Остюк и остальные бригады дивизии пройдут мимо него, пробьются сквозь ослабленный фронт и об'единяться с армией.

Никто не вспомнит о Галате. Остюк пожалеет о «Флориде», а Шахай начнет формировать новую бригаду.

Теплушка походила на гроб. В открытую дверь заплывал туман — вечный меланхолик. Туманы настоящими волнами стояли над людьми. Туман не поредел, когда Галат сел на коня.

Сотенные обступили его и молчали.

— Не гоните лошадок, братцы. Берегите силу для атаки.

Галат вдруг выхватил револьвер, услышав, что приближается к станции паровоз. Бригада рассыпалась за помостами, и кое-кто от'ехал дальше. Четверо сотенных командиров и пятый, брат одного из них, сошли с паровоза. Кроме последнего — все без оружия. У одного в кармане был револьвер раненного комиссара бригады. Они возвратились к своим и, едва ступив на перрон, начали страшными словами проклинать Галата. Они хвастались, что вымотают ему кишки на телефон, отрубят голову и бросят ее под лошадиное копыто. Это были храбрые безумцы. Галата, сидевшего недалеко от них, развеселила такая выдумка смертников. Он нацелился из ручного пулемета.

— Стой!

— Галат, выходи на расправу! Мы твоего комиссара худого выкинули и вернулись за оружием. На суд, Галат... — Но последние слова их покрыл рокотом пулемет «Шоша», и они попадали на орошенный туманом перрон.

Где-то всходило солнце, начал подниматься туман. Галат под'ехал к собранной бригаде. Враг уже услышал, вероятно, пулеметные выстрелы, и взять станцию будет трудно.

Бригада шумела и свирепела. Если б не враг близко, она разорвала бы Галата на куски и развеяла бы по селам. Общая опасность держала еще всех вместе.

— Шворень, выходи!— кричали из бригады.

— Шворень пусть поговорит! Шворня сюда!

Наконец, выехал и Митька Шворень. На лице у него была смесь из веснушек, оспы и сабельных шрамов. Он улыбнулся Галату и начал выполнять приказ бригады.

Галат вынул саблю — подарок Остюка. После первого же наскока Шворень узнал, как тверда была сталь клинка Галата. Они сошлись еще раз. «Флориде» Шворень зацепил за ухо. Жеребец круто повернулся и высоко ударил задними ногами, доставая врага. Бригада разразилась смехом. Сабли лязгали и звенели. Это было страшное зрелище, атавизм татарской эпохи. И главное, каждый будто бы забыл о враге, о будущем прорыве фронта и о руке Шахая.

Шворень нападал уже не так уверенно. Галат даже пробовал напасть сам. Наука Остюка только теперь ему понадобилась.

Дуэль продолжалась. Начал пролетать снег. Погода была изменчива, как военное счастье.

Когда над джунглями лениво плывет луна и по далеким предгорьям звучат боевые песни охотящихся зверей, мускусным паром дымят растения, и гниют пни, полные чудесных светляков, точно непотухающих углей, зелено-голубых огней; когда бенгальская удушливая весна выльет все свои бесконечные теплые дожди, и оплодотворится от воды земля, и забеременеют реки, широкие и священные воды, и над джунглями лениво плывет луна,— тогда на лесную поляну выйдут два волка, два серых брата. Они провоют друг другу смертельный вызов, подняв морды к светлой луне. Обегут поляну дружной иноходью, будут бежать рядом, щелкая зубами и

толкаясь боками. Зеленые глаза будут гореть, как угли. И тогда начнут они биться.

Могучими лапами будут раздирать друг другу бока. Шерсть полетит клочьями, и они собьются в один движущийся клубок. Кровь и пот зальют поляну. Хруст и бешенство разнесутся вокруг, пугая мелких и робких жителей джунглей.

Только тигр тогда, ступая мягкими лапами, выйдет к бойцам. Он крикнет, и будто полетит на джунгли множество серебряной пыли от задрожавшей луны.

Четко, размеренно ступая, вышел на перрон невысокий Шахай. Осмотрел расстрелянных кавалеристов, плававших на сухом. За ним не вышел никто из вагона. Он был в серой шинели, на широком ременном поясе висел кобур с револьвером, планшетка с картой и через плечо на ремешке бинокль.

— А-а-а!— пролетело по бригаде и сразу же умолкло.

Шворень и Галат вложили в ножны клинки.

— Смирно!— закричал хриплым и запыхавшимся голосом Галат. Он выхватил саблю и отсалютовал ею.

Конная бригада не сводила глаз с комдива. Он казался нечеловеческой силой. Это был гипноз. Все ждали, что Шахай скажет магическое слово, и от него встанут на перроне мертвые. Когда на перроне действительно кто-то из пяти зашевелился, всех бойцов проняла дрожь, и они начали ожидать еще более невероятных событий.

Галат стоял перед Шахаем, держа в левой руке повод. Комдив бросил ему несколько слов. Галат осадил бригаду на землю, и коноводы отвели лошадей. Бригада стала в большую, растянутую колонну.

— Товарищи!— начал Шахай.— Сегодня мы должны пробиться к своим. Или же мы все ляжем со славой, напившись крови врага.

Пауза. Гудят провода.

— Сюда за мной идут другие бригады нашей дивизии. Летят орлы конной бригады Остюка, славной бригады. Их революционные знамена украшены победами. На них нет ни одного пятна.

Пауза. Провода гудят на легком ветре.

— Погромщики и барахольщики! Храбрые бабники и шкурники! Где вы взяли в долг совесть? Где вы сейчас заняли глаза, чтобы глядеть на меня и не проваливаться сквозь землю?

Пауза. Гудят провода, и гудит бригада. Недовольное, злое гуденье многих людей.

— Я плюю на вашу совесть, бригада! Мне стыдно за мою дивизию!

Молчание.

— Хлопцы! Я хочу верить, что вы те же самые, которые ходили со мной в рейд. Помните, какое множество врагов сгибалось перед нами? Я поведу вас сам в бой, и горе тому, кто оглянется назад.

Бригада что-то прокричала. Грязные и небритые лица зашевелились, и неизвестно было, какое чувство растрогало бойцов.

Шахай достал из кармана бумагу и развернул ее. К белому клочку бумаги были прикованы глаза всех. Шахай держал его перед собой молча, иногда опуская, и тогда все глаза опускались за ним. Комдив взглянул на Галата.

— Смирно!— прокричал Галат.

Среди зловещей тишины начал читать Шахай фамилии. Прежде всего откликнулся приземистый казачище из той категории, что зовется по селам «старыми парубками». Он смело вышел из рядов бригады и подошел к

Шахаю, посматривая через плечо назад, на товарищей. Это была безгранично наглая фигура. Он чувствовал, что за ним стоит всемогущая бригада. Короткое пальто не сходилось на его выпирающей груди, и руки вылезали из рукавов. Он остановился перед Шахаем, лениво ожидая, что будет дальше. Комдив вызвал его недаром,— бригада может кичиться им. Взгляд избегал Шахая, блуждал где-то вдалеке, и весь вид кавалериста выражал величайшее снисхождение ко всему человечеству.

— Сдай оружие!— неожиданно услышал он.

Кавалерист нахально посмотрел в глаза комдива. Его сердце екнуло. Суровый, твердый и тяжелый взгляд серых глаз Шахая лег на него, как тяжесть. Он потерял свою наглость, сделавшись виноватым. Почувствовались огоньки смерти в глазах комдива. Бригада молчала, затаив дух.

Понемногу кавалерист побледнел. Он был побежден. Будто большой молот ударил его, и теперь звенело все вокруг мелкими неприятными звуками. Снял с себя пояс с саблей и с револьвером и бросил на руки Галату. Потом отошел на десять шагов и одиноко остановился.

Шахай вызвал следующего. Из рядов вышел безусый нежный юноша и, еще не приблизившись к комдиву, побелел, как стена. Он едва ли слышал приказ сдать оружие, но дрожащими руками снял с себя, положил Галату на руку и отошел, став рядом с первым. Бригада молчала.

Комдив вызвал еще одного. Ему отвечало молчание. Тогда из первых рядов послышался робкий голос:

— Уже!—сказал голос.

Такие выкрики подала бригада еще четыре раза, невольно смотря на перрон. Шахай дальше вызывал кавалеристов. Они выходили из рядов и шли к комдиву, точно на высокую скалу, с которой обрывается в неизвестность земля.

Когда Шахай перестал вызывать, стояло уже шестеро. Галату тяжело было держать оружие, и он положил его на землю. Вызвал переднюю полусотню и поставил ее перед шестью кавалеристами. Комдив принял команду.

— Галат!— сказал он комбригу конной.— Сдай оружие и ты.

— Шлепнешь?— спросил Галат.

Бригада никогда не видела, чтобы так ходили люди, как пошел их комбриг. Это была походка человека, который только железной волей выпрямил свое тело и несет его туда, откуда тело бежало бы, не оглядываясь.

— По врагам революции!— скомандовал Шахай.

Полусотня подняла винтовки и прицелилась. Смертники смотрели на комдива. Он последний раз стоит перед глазами. Они не управляют уже, как следует, языками и затуманенным рассудком. И все-таки они кричат. Это какой-то хрип. Кричат громче. Кричат, как пни кричат на зеленой лесной поляне.

— Слава Шахаю,— слышит комдив, и слышит вся бригада.

Смертники кричат, и есть опасность, что к их крику присоединится бригада.

— Отставить!— говорит Шахай.— Пойдем все вместе в бой.

Кавалеристы видят, как опускаются винтовки, и Галат, как влюбленный, припадает к земле. Бригада не может этого вытерпеть. Она нарушает строй, сбегается к комдиву и поднимает его на руки.

Бригада пошла в наступление, как бригантина, надув паруса и поскрипывая снастями. Станция взята, и снег покрыл гибель большинства кавалеристов. Остальная часть дивизии тоже прорвалась за вражеское кольцо поблизости. Остюк, сделав прорыв, примчался к месту, где, по его мнению, погибла бригада и погиб безумный Шахай.

Остюк увидел удалявшийся обоз. Он узнал издалека Галата на захваченной тачанке. За ним замирала песня:

Красного знамени алая звезда
Обойдет с нами далекие моря!

— Хорошая была часть!— крикнул Шахай, как бы продолжая эту песню. Остюк молча согласился. Они переломили кусок черствого хлеба и начали его есть, давясь слюной, в тишине могучего утра.

Около них молчала степь. Вороной «Флорида» с седлом примчался, растерянный и оскорбленный. Он смело подошел к своему первому хозяину, протянул губы к хлебу и толкнул головой Остюка. Над землей солнце показывалось из-за туч, как выкрашенная тачанка, и начинало обстреливать из беззвучного пулемета позиции.

Долго еще после того, как бригантина пошла под воду, белели на поверхности моря оторванные паруса ее. Регулярные армии вставали среди хаоса и руин. Стихия, выступив из берегов, снова вошла в них.

Авторизованный перевод с украинского *П. Зенкевича.*

Перевод вводных стихов *П. Антокольского.*

Памяти В. Дмитриева

Начало

(Из книги «Окраина»)

Константин Финн

Александр Иванович Гремучин служил весовщиком на железной дороге 30 лет. Грузы шли в различные города, возвращались оттуда,— и мало-помалу перестал считать Александр Иванович города эти городами: города превращались в железнодорожные пункты, а превратившись в таковые, утрачивали свежесть и прелесть свою, вид свой, площади, дома, уличную толчею — все, словом, утрачивали.

За время службы Александра Ивановича в железнодорожной конторе так и умирали города: раз — Тула, два — Тула, три... пятнадцать — и нет Тулы. И если кто-нибудь сказал бы теперь Александру Ивановичу, что Тула летом покрыта пылью, что в Туле есть сквер, что у людей в Туле болят зубы, был бы удивлен Александр Иванович чрезвычайно.

Так умирала Российская карта. Она умирала медленно. Однажды груз отправляли в неизвестный Александру Ивановичу город.

«Лучинск,— писал он на рогоже.— Лучинск».

Груз давно уже был в пути, а Александр Иванович все еще размышлял о городе Лучинске. Лучинск — город среди полей. Каменные дома, деревянные тротуары, извозчичьи пролетки, дребезжащие извозчичьи пролетки, звенит отскакивающий железный номер, стукается о перекладину; кошки с вытертыми боками, собаки,— и все это среди полей. Сочная трава — и кошки с вытертой шерстью. Жаворонок — и извозчичьи пролетки. Какая невероятная смесь! Все вместе — страна, государство. Лес, наконец, прохлада, тени, шопот деревьев, одиночество, а в двадцати минутах ходьбы — собственный дом мещанина Грызлова, скрипучая лестница в щелях, вонь и дворник с бляхой, на которой написано: «Район 4-й, квартал 2-й». А все вместе — страна, государство.

Лучинск... Поля заливают его окраины и неожиданно выплескиваются зеленью на Интернациональной, против банка, или на Советской, против почты. Деревянные тротуары обрастают травой. Трава даже на железных ржавых крышах. Город пророс травой.

На Базарной площади поле побеждено в полной мере. Можно прямо сказать, Базарная площадь — городская и по-городскому замощена кривым булыжником. Но иногда и здесь соскакивает от удара копытом или от чего еще камень, и на освобожденном месте начинает расти трава. Она растет быстро и торопливо, как быстро и торопливо текла бы сюда вода. Лучинск наполнен зеленью, как водой, из каждого отверстия течет зелень.

И, наконец, Лучинск умер: пятнадцать грузов прошли в Лучинск убили его для Александра Ивановича. Лучинск стал железнодорожным пу.

том. Кисть, обмокнутая в краску, порождает его легко и просто, как легко и просто порождает она Ленинград, Тулу, Воронеж, Харьков. Прощай, Лучинск!.. Поля, кошки, извозчичьи нумера,— об этом не будет больше размышлять Александр Иванович Гремучин.

Лучинск был последним городом, и осталась для Александра Ивановича одна лишь Москва, в которой жил он всю жизнь. Грузы из Москвы не отправляются в Москву. Но как-то раз пришлось Александру Ивановичу поработать в кассе прибытия. «МОСКВА» — было выведено краской на всех тюках, «МОСКВА», «В МОСКВУ»... И Александр Иванович ощутил, что он может потерять и Москву, что и она вот-вот должна будет превратиться в железнодорожный пункт. Он ушел из кассы прибытия. Он боялся потерять Москву. Он пробыл в кассе прибытия недолго, и Москва еще не была потеряна. Но что-то механическое было уже в ней, какая-то частица мертвечины, какой-то запах рогожи, веревки и краски.

Душно в багажном отделении, где работает двадцать пять лет Александр Иванович. Цветок, если поставить его на окно,— жалко будет глядеть.

В этот вечер Александр Иванович ушел со службы поздно. Он шел медленно, было прохладно, после духоты багажного отделения дышалось приятно.

На углу чистильщик сапог складывал в ящик щетки и банки. Чистильщика звали Сандро. Он был желт и сух. Каждый вечер сидел он подолгу после того времени, как некого уже было ждать, и каждый вечер приходил сюда сапожник Юртов. Он бывал всегда пьян и зол.

— Отработался?— спрашивал Юртов у Сандро.

Сандро не отвечал. Он привык к ежевечерним посещениям Юртова, он презирал Юртова.

— Эх, нация вы! — сказал теперь Юртов.— Ну, и нация! Всем миром сапоги чистите. Изо всего народа никто другому делу не обучен.

— Пошел, пошел,— сказал лениво Сандро.

— Что значит «пошел?» Ну, а если вам, например, цельное государство отдать,— например, Россию, такое государство? Что б вы делали? В государстве требуются различные мастера и умные люди, а вы только сапоги чистили бы. На этом государство не продержишь, на одной сплошной чистке сапог. По прошествии времени, государство у вас бы и отняли.

— Пошел,— сказал опять Сандро. Подумал и добавил:— Не отняли бы: государство свое — тогда жизнь другая.

— Надеетесь, что не отняли бы? — усмехнулся Юртов.— Ну, надейтесь. Вот я вам предлагаю: отдайте мне своего мальчишку, я его делу обучу Ах, нет, боишься? Бить буду? Что ж, может, и буду бить. Ах, нет, нельзя?— и вдруг он закричал бешено:— Русский человек — ничего, терпит, а вы не можете? Нация вы отвратительная!

— Это есть оскорбление нации,— сказал Александр Иванович, слышавший эти слова Юртова.

— Убей меня, гражданин!— закричал тогда Юртов отважно и весело — Убей меня, а я все равно жить буду.

Он кричал так, потому что хотел спорить. В моменты тоски спор облегчал. Он не понимал, зачем выкрикивает эти слова. Потом подошел совсем близко к Александру Ивановичу и узнал его: они жили в одном доме.

— Сумерки упали,— сказал Юртов неведомую для себя фразу. Он никогда раньше не сказал бы так. Он вдумался в эту фразу, повторил ее мысленно, удивился и обрадовался.— Сумерки упали. Не узнал вас, Александр Иваныч.

Он говорил еще долго. Но Александр Иванович не стал слушать его. Александр Иванович ушел. Ушел и Сандро, а Юртов все говорил тихо и настойчиво.

Комнатка Александра Ивановича была легкая, скрипучая, такая, каких много в деревянных домах окраины. Эти комнатки подпевают гаммам разбитого пианино, они моментально уничтожают запах любых цветов, они заставляют не верить в существование тяжелых, массивных вещей, они бормочут постоянно что-то и шепчут неопределенно и односложно, как шепчет неполный спичечный коробок.

Александр Иванович открыл окно. Со двора донеслись до него голоса. На двор выносили стулья, табуретки, готовилось общее собрание жильцов.

Было уже совсем темно, и тощий тополь оказался пышным. Казалось, что много-много тополей растет на дворе. А за ними — прохлада, ветер. Александру Ивановичу почудилось поле и посреди поля последний город в его, Александра Ивановича, жизни, город Лучинск. И странно: Лучинск представился дневной. Как будто бы не было сейчас вечера. Так просто, за вечерним двором, за вечерним разбухшим тополем представился дневной, солнечный Лучинск.

«Неужели все?— подумал Александр Иванович.— И больше уже ничего не будет?

Он знал, что от комнатки его далеко до Лучинска. Он знал об этом еще вчера, но теперь ему стало очень обидно. Обидно и скучно. Тогда пошел он к кассиру багажной конторы Зотову.

Иван Иванович Зотов жил в одном доме с Гремучиным. И Зотов и Гремучин почти что одновременно начали работать в багажной конторе: один кассиром, другой весовщиком. Оба были бобылями и дружили. Особенно сблизил их один случай.

Несколько лет назад в контору пришел работать молоденький паренек. Александр Иванович и Зотов встретили паренька ласково. Паренька звали тоже Александром Ивановичем. Паренек даже застеснялся, когда узнал, что Гремучин носит такое же имя. Гремучин был несколько обижен этим обстоятельством. Зотов, в угоду Гремучину, стал звать паренька Сашей, и обида Гремучина прошла. Иногда, впрочем, кто-нибудь называл паренька Александром Ивановичем, и тогда Гремучину казалось, что молодость его, гремучинская, поселилась в багажной конторе. Он искоса поглядывал на свою молодость. Он понимал: вот пройдут годы, и паренек станет таким же, как и он, Александр Иванович,— пожилым и тихим человеком. Он представлял паренька валетом, а себя королем, так как ежевечерне играл в карты с Зотовым, и это представление было очень понятным. Иногда в минуты странных раздумий ему казалось, что, по прошествии времени, карточные валеты становятся карточными королями в старой, засаленной колоде, точно так же как в жизни молодые люди превращаются в стариков.

Однажды Саша попросил разрешения протереть окно в багажном сарае. В багажном сарае было полутемно, всегда горела лампа, окно выходило во двор, оно было ни к чему, его никогда не протирали. Саша тщательно промыл стекло. Александр Иванович и Зотов внимательно наблюдали за ловкими его движениями. В сарае стало светло, и лампу пришлось потушить. Березка глядела в сарай через светлое стекло. Люди теперь иногда заглядывали в окно, наблюдали за работой в сарае. Была между светлым стеклом, светлой березкой, дневным светом, заменившим лампу, и молодостью Саши связь: было это одно целое. Оно внесло беспокойство в жизнь Гремучина и Зотова. Оно что-то опровергало, кого-то стыдило. Гремучин и

Зотов изменили отношение к Саше. Они не сговаривались между собой об этом. Саша ушел со службы, и Гремучин с Зотовым были рады этому. Они и теперь не говорили об этом.

Союз против Саши и светлого окна сблизил их очень. Окно опять заросло пылью, горела желтая лампа, и опять потекли дни.

Они и после никогда не говорили о Саше. Они понимали, что нехорошо было поступлено с пареньком, что нехорошо было ворчать по пустякам, по пустякам придираться, делать так, что невозможно было Саше остаться работать. Каждый из них понимал это, и вместе с тем каждый был уверен, что иначе нельзя было поступить. Почему? Да кто его знает, почему. Наверно потому, что с появлением Саши в конторе стало беспокойно, обидно, жалко прошлого и еще многое, чего рассказать нельзя, потому что даже для самого себя выяснить невозможно.

— Умрете вы здесь,— сказал Саша, уходя со службы.— А мне вот вас жалко, несмотря ни на что. Попробовал я на вас разозлиться, а получилась жалость.

Каждый вечер в течение уже многих лет ходил Гремучин играть в карты к Зотову, а сегодня вот не хотелось итти. Все же пошел, потому что куда же еще итти.

Мягко и тихо было в комнате Зотова. И сам он был мягкий и тихий. Александр Иванович сел на обычное свое место против окна.

— Сыграем,— сказал Зотов, как говорил уже много лет.

Они играли молча с час. Но сегодня игра не интересовала Гремучина.

— Я вот мечтал в провинции жить,— сказал он,— с молодых лет мечтал об этом и думал осуществить. Год и год, год и год, год и год — и конец. А теперь, понятно, куда уж!

— Сдавайте,— попросил Зотов.

Пили чай, и струя пара из чайника то-и-дело обдавала стенную гравюру, на которой была изображена красивая женщина. Испарина мерцала, ползла по гравюре и пропадала. Лицо женщины то оживлялось, то замирало, и казалось, что женщина открывает и закрывает глаза.

Гремучин отодвинул чайник. Женщина на гравюре замерла. Капелька воды текла по ее лицу. Была в этом какая-то нежность. Гремучин поглядел на гравюру, потом на Зотова. Женщина казалась живой, а Зотов мертвым. Красный, с припухлыми веками, с бесцветными глазами,— мертвый. Гремучину стало невыносимо. Он попрощался и вышел.

На дворе происходило общее собрание жильцов. Александр Иванович сел на заднюю скамейку. Его заметили и удивились: он никогда не посещал собраний.

— Пришел старик,— сказал кто-то.— Удивительно даже!

Через несколько минут вышел во двор и Зотов.

Разбирался вопрос о культобслуживании дома, выбиралась культкомиссия. Александр Иванович неожиданно для себя сказал одно только слово: п р а в и л ь н о. Все удивились: речь председателя никак не могла вызвать такого возгласа.

— Что — «правильно»? — спросил председатель.

— Все правильно,— сказал Гремучин.

— Намеки здесь не при чем,— произнес председатель.— Вы что срываете?

— Я не срываю,— тихо сказал Александр Иванович.

Молчать он сейчас не мог: он должен был говорить.

— Ежели комната скрипит,— спросил он,— то это как: считается или, может быть, это не считается?

— Считается,— сказал председатель.— Только я не понимаю, к чему все эти вопросы. Тайный срыв с вашей стороны?

Вмешался водопроводчик Филов.

— Очень просто,— сказал он,— человек насчет культкомиссии очень правильно мыслит. Культкомиссия должна за всяким делом следить. Я с Гремучиным вполне согласен. Он — тихий человек, а выразился, как понимает, а ты сейчас же, председатель, про срыв. Старичок пришел на собрание. чтобы принять участие. Это ясно каждому.

— Правильно,— сказал Александр Иванович,— именно, чтобы принять участие.

— И насчет комнаты правильно,— не унимался Филов,— именно насчет комнаты и правильно, культкомиссия должна в таких вопросах разбираться.

— Избрать его в культкомиссию,— предложил кто-то.— Если он такой, то избрать. Человек, видно, всей душой желает работать. Очень правильно Филов сказал. Мы должны привлекать.

И Александра Ивановича избрали в культкомиссию. Все ласково стали с ним говорить. Даже строгий председатель сказал примиряюще:

— Если бы ты сразу сказал, что хочешь вступить,— пожалуйста. А-то как-то непонятно начал.

— Хочу,— сказал Александр Иванович,— потом добавил:— Прошу сказать слово.

— Говори,— разрешил председатель.

Александр Иванович не знал, о чем говорить. Ему хотелось сейчас сказать такое, чтобы все поняли. А что поняли? Ну, это... ну, самое...

Неожиданно ему представилось печальное лицо чистильщика сапог Сандро.

— Для защиты нации,— сказал Гремучин,— предлагаю избрать комиссию.

— Какой нации? —спросил кто-то.

— Всякой.

— Это как же?

— В настоящее время,— продолжал Гремучин,— многие есть такие, что оскорбляют национальности,— евреев, или, к примеру, этих, что сапоги чистят. Надо их защищать, чтобы все видели и понимали...

Он запнулся и решительно кончил:

— Предлагаю избрать комиссию по защите наций.

— Правомочно ли домоуправление защищать эти нации? — спросил Чушин, гимнаст и учитель на гитаре.— Думаю, что нет.

Проголосовали, и комиссия по защите наций была создана при домоуправлении. Александра Ивановича избрали и в эту комиссию.

Когда собрание расходилось, к Гремучину подошел сапожник Юртов.

— Именно насчет Сандро и против меня создана эта комиссия?— спросил он.

— Из трех человек,— сказал важно Александр Иванович.

— Я не боюсь комиссий этих,— сказал Юртов.— Подумаешь, какое дело!

— В теперешнее время, при свободе трудящихся, нации должны быть поставлены в первую голову,— произнес Александр Иванович радостно.

— Вы на меня комиссией, значит, пошли,— продолжал Юртов.— Один на один не можете против меня. Ну, валяйте!

Он отошел на несколько шагов, потом вернулся и сказал.

— А с Сандро я приятель. Друзья мы с ним. Только я учу его. Сапоги кто шьет? Я. А он их только чистит. Кто, значит, здесь имеет первое место? Я или он?

— Мы разберем,— сказал Гремучин,— там мы разберем, кто имеет место.

— Вы разберете,— сказал Зотов, слышавший весь этот разговор, и неожиданно закричал:— Ну, поедемте в Лучинск, ну, поедемте! Я знаю, вы давно мечтаете. Почему вы мне прямо не сказали— «Зотов, поедемте в Лучинск». Я в один день соберусь, если вы хотите знать.

— Лучинск здесь не при чем,— сказал Гремучин.

Зотов закричал еще громче.

— Вы Сашу из конторы выжили. Да-с! А он — кто был Саша — я вас спрашиваю! Он был комсомолец... А теперь вы примыкаете, несмотря ни на что. Это как же? Да стоит мне сказать одно слово только...

— И вы, Иван Иванович, можете примкнуть,— произнес Гремучин ласково.— Поздновато нам с вами, но и вы можете примкнуть.

Зотов разыскал председателя в углу двора. Председатель беседовал с жильцом.

— Я извиняюсь,— сказал Зотов.

— Пожалуйста,— сказал председатель.

— Предлагаю очистить двор от нечистот, а потом его песком.

— Это уже предложено и проводится в жизнь,— ответил председатель.

— Предлагаю поставить радио во всех квартирах.

— Это уже предложено и проводится в жизнь. Больше ничего?

— Ничего,— ответил Зотов и пошел прочь.

Он медленно шел по улицам. Рассвет только начинался, и окраина была темная. Только в одном из переулков наступило уже утро. В этом переулке строили новый дом, и земля была залита известкой. Это было странное место. День задерживался здесь дольше, чем где бы то ни было, утро приходило сюда раньше, чем куда бы то ни было. Ночь была совсем короткой в этом переулке. Здесь строился дом — огромный коммунальный дом.

Зотов пришел домой, когда уже было светло, собрал карты со стола. «Александр Иванович не придет больше»,— подумал и бросил карты в ящик.

Потом разделся и лег. Свет был в окнах. Пели птицы.

Туркменбаллада

Товарищам по бригаде

На крепколобые дворы,
За глинобитные дувалы
С недавней в Азии поры
Колхозы поселяться стали.

Они слагались сгоряча.
В артель сколоченные массы
Быт потребительского класса
Ломали, рушили с плеча.

И выкорчевывали старь,
И в переделку брали просто
Богатый байский инвентарь,
И вкладывали в производство.

И на гектарах баев, мулл,
Где освоялся труд кабальный,
Вдруг тракторный рождался гул,
И стлался хлопок коммунальный...

Колхозная героика декхан.
Здесь формовался быт разумный,
А те с ветрами Кара-Кумов
Текли песком в Афганистан.

2

Была весна.
Джуда магнитней
Томила к вечеру и жгла,
Когда с дороги нам кишлак
Открылся стройкой глинобитной.

Мелькнул листвой в полоборота,
Метнулся крышами и вот,
Подставив налету ворота,
Остановил наш полный ход.

Сердцебиение мотора.
Гудок. И пыль из-под колес.
Какой загадочный колхоз:
Ни одного навстречу взора;

Ни отклика, ни возгласа, ни ла
Не слышно громкой детворы.
Глядим, глядим, не понимая,
На опустелые дворы.

Стучимся в окна, вопрошаем,
В дома заходим — ни души.
Невозмутимая, чужая
Одна и та же всюду тишь.

Колхоз «Чатур»? Но где декхане,
Где землеробы, пастухи?
До самого Афганистана
За кишлаком лежат пески...

Через колодцы скотоводов —
Путь караванный на Герат.
Артель за старшинами рода
Ушла с колхозного двора.

3

Цвел костер в синеве весны,
Лепестками кружились искры,
Ободок азиатской луны
Над пустынею реял низко.

Осыпалась, осыпалась джуда
Над Чатуром погибших заданий,
Шелестела в арыках вода,
И чуть-чуть задувал афганец.

Все о том же тугом узле,
Где завязана смерть колхоза,
Бригадиры артельных полей,
Мы решить не могли вопроса..

Перегибы? Крутой разгон?
Или темная байская сила
Весь колхоз увела в полон,
Увела, унесла, разложила?

На рысях бы в погоню, вернуть.
С переправы отбить у ветра.
Безнадежные километры
Подбегают песками к огню.

Время за полночь. Мутно кругом
И вопрос нерешенным стынет:
Быть колхозу, или пустыне
Безраздельно владеть кишлаком?..

4

Сначала вскричала волторна
И трелями медной гортани
В пустыне горячей и черной
Пошла шевелить барханы.

И словно флажолеты,
Тромбоны, трещотки, бубны,
На девять баллов ветер
Песчаный джазбанд Кара-Кумов.

Вдруг гибельный крик человечий.
Выходим навстречу пустыне.
А ветер и рвет, и мечет,
И в трубы грохочет пустые.

Ни неба, ни звезд, ни дороги.
Завязли в песчаном оркестре
И слух, и глаза, и ноги —
Ложись, помирай на месте.

«Кто там?..»
Шагаем слепо
И в хаосе урагана
Натыкаемся на человека,
Засыпаемого барханом.

«Откуда?..»
— «С колодцев Ширама,
До парткома, по делу... пастух я...»
В кругу за костром потухшим
Кара-Кумскую слушаем драму.

5

Невеселые, невеселые вести.
Свой голос до слез напрягая,
Пастух говорит о мести
Бегущих к границе баев.

О том, как, стада рассыпая
И руша покой стоянок,
Они пастухов убивают
С плеча из своих берданок,

Сдирают кибиток войлок,
Закапывают колодцы,
И мрут беспризорные овцы,
Слоняясь без корма и пойла.

Пастушеский подвиг бессилен
А байское дело — могила...

Афганец грохочет в бубны
И, круто повертывая перед нами
Песчаную ночь на уступы,
Спутанными рядами

На север уходит проворно.
Кричат в стороне волторны.
И над растрепанною пустыней
Рассвет появляется синий.

С первыми же лучами
На выручку, в бой, в облаву
Бригада к колодцам Ширама,
Тронулась полным составом.

6

Дальнейшее?
Известно,
Опережая все сроки и числа,
Растут колхозов отряды —
Оазисы социализма.

Слагаются новые песни,
Новее моей баллады.
А ей, знать, такая погода,
Выстояв первые грозы,
Радовать летом солнечным
Чатурский совхоз скотоводов,
Рабочей бригадой сколоченный
На месте былого колхоза.

Г. Санников

Опыт анализа разлуки

I

Со временем все тяжелое вымрет.
Все, что грохало глухо,
Что огнем и металлом
Угнетало
Наши года.
Все это так. Но вот, например, разлука.
Вымрет она или нет? И когда?

Чугун и железо, эти ящеры металлургии.
Эти ихтиозавры каменноугольной эры
Капиталистических орд,
Исчезнут. Их заменят другие,
Крепче стали и легче фанеры,
Представители новых пород.

Наш теперешний поезд, от столетий ржавея,
Сохранится только в музее,
Экспонат
Для ребят.
И парнишка тридцатого века скажет:
«Продемонстрируйте, ну-ка,
Как такая тяжелая штука
Ходила вперед и назад».

Уверяю тебя, что ходила. И даже как быстро!
Прощаньем себя не насытив,
Не успеешь опомниться, уж она (то есть он) далеко.
А она (то есть я): «До свиданья! Пишите».
И сыплются искры,
И туманцем стекло
Затекло.

Ну, а в будущем. В невесомом вагоне,
В беспыльном качаньи лонгшеза,
По аркам и сваям
Летящем с быстротою волчка,
Как т о г д а с раставаньем, которое. чорт его знает,
Тяжелее железа
И черней чугуна?

Нет, конечно,
Все это не вечно,
Эти муки
Разлуки.
Пространство будет взнуздано туго,
И после работы, в сумерки, часиков в шесть,
Мы по радио будем являться друг другу.
Это будет. Это есть.

И голубоватый, из мельчайших штрихов и уколов,
Издающий магический шорох и треск,
На пластинке возникнет и голос знакомый.
И улыбка, и жест.

И даже (предвидеть и это надо —
Телефонные нравы исчезнут едва ли)
Возможно, что я воскликну с досадой:
«Гражданка, вы нас прервали!»
И гражданка, где-нибудь на Таити,
Ответит: «Говорите!»

II

Нет, разлука серьезна. Ее социальные нервы
Уходят в прошлое. Сущность ее раскрыв,
Мы найдем, что она распадается: на ревность, во-первых,
И дорожный тариф,
Во-вторых.

Дорожный тариф... Не поймем это слишком вульгарно,
Что вот, мол, плацкарты и скорость,
И места перепутал кассир.
Нет, тариф — это шар нам
Земной подчиненный. Это степень, в которой
Человек покорил себе мир.

Давно, на заре человечества, во времена Одиссея,
Который прощался с Итакой,
Было в накладные расходы разлук внесено:
Неведенье суши и водных бассейнов,
Отсутствие денежных знаков
(Торговать было нечем).
Расставались, без надежды на встречу,
На письмо.

Но с веками моря оживают: галеры, фелуки,
Торговый полощется флаг там,
И республика хищных купцов, Венеция,
Выступает как фактор,
Решающий судьбы разлуки.

Еще криво и косо,
Но летят уже вести
Вместе
С товаром.

Золотой уже звóнок,
Уже говорят «до свидания» вместо «прощай».
И купец отмечает в отделе расходов:
Синьоре такой-то в подарок —
С матросом
Один негритенок
И один попугай.

Усложняется быт. Человек
Феодальное детство свое перерос.
Девятнадцатый век
Порождает холодное племя колес.
В языке появляется новое слово
«Вокзал». Шипит паровая струя.
Но в разлуке не меньше горя, чем
Раньше. И ящик почтовый,
Начинает глотать, не жуя,
Ежедневную порцию горечи.

Приходит время расти и расти городам.
И на выставку в Лондоне,
В парк
С его вереницей кавалеров в цилиндрах и дам
В турнюрах и блондах
(Толпа ротозеев),
Является некий немец,
Молодой человек, по фамилии Маркс,
Поглядеть на прибор Фарадея.

Два подковообразных магнита,
Между ними — сокрытый
В медной обмотке
Трепет молний. И пока еще очень короткий,
Но навек заарканенный
Громовый удар.
И сыплются искры,
Из которых когда-нибудь
Возникает социальный пожар.

Потому что за искрами этих ли, тех ли
Явлений, за личиною техники,
За дрожью парового котла,—
Все эти заводы, фабрики, гаражи,
С ними связаны жизни,—
За ними скрывается класс, идущий на класс.

Атмосфера сгущается необычайно.
В Европе финансовых кризисов гул.
Америке душно от золота в слитках,
Электричества хватает с избытком
На электрочайник
И электростул.

И пролетарий, в пальтишке замызганном,
В третьем классе, на палубе считает гроши.

И разлука превращается в классовый признак.
Ревет
Пароход.
Наступает минута.
И кто-то
Кому-то:
«До свиданья, товарищ! Если будет работа,—
пиши».

III

Товарищи, эпоху любую раскройте.
Еще никогда так
Сердца не сжимались от боли.
Но сжатье сердечных аорт —
Всего лишь машинный придаток,
Не более,
В Детройте,
Где Форд.

Нет, конечно,
Все это не вечно,
Эти муки
Разлуки.
В бесклассовом обществе
Век человеческий будет продолжен,
Сникнет кривая болезней
И ранних смертей,
И разлука, этот голод сердца, исчезнет,
Как голод Поволжья,
Когда убивали детей.

Но все это в будущем. А в настоящем
Сколько дней, сколько годов еще
Отравит идущая мором на мир
Разлука и тень ее, ревность,
Этот ящер,
Это чудовище,
Как назвал ее Шекспир.

И когда-нибудь, в две тысячи сорок четвертом,
Коммунар, седой, как весенний ковыль,
Скажет: «Дед мой (теперь уже мертв он)
Был свидетелем старой Москвы.

Тогда,— рассказывал он,— с коммунами было туго,
Да иначе и быть не могло.
Каждый старьем еще был исковеркан
И жил в одиночку, соседа тесня.
Еще говорили: «Мой потолок»,
«Моя этажерка»,
И влюбленные звали друг друга:
«Мой» и «Моя».

И даже однажды, всем этим задушен,
Покончил с собою огромный поэт,
Который был еще очень нужен».
Так говорил мой дед.

Все это в будущем. Но и мы сами,
Над временем лишь немного привстав,
Увидим, прищурясь от яркого света,
Как рухнет разлуки старинное гетто,
И это
Уже навсегда.

Но при этом не нужно иллюзий, не нужно утопий,
Что победа, как дождь или птица
Прилетит и заплещет.
О, нет!
Ледниковый период истории длится.
Его мы торопим
Социализмом в одной стране.

Разлуки не будет на социалистической базе.
Но для того, чтобы не разлучались
Влюбленные и друзья,
За новые чувства,— чтобы создать их,
Должен бороться и забойщик в Донбассе,
И механик в колхозе, и писатель,
В частности — я.

Вера Инбер

Комсомолия

1

Вечер в селе веет сонным уютом.
Только на улице звонкий смех.
В лапти из нового лыка обуты,
Едут они на ночлег.

Грубые свитки заплатаны,
Но хлопцы — просто душа!
Опытом горьким богаты они.
— Гэй, погоняй! Шире шаг!

И залязгали кони копытами.
Топчут дорогу сто ног...
Месяц плачет, тучей закрытый:
Угнаться за ними не мог.

Вот и поляна. Кони стреножены.
Над кострами песни и смех.
Только лес шепчет тревожно
Странные сказки про новый ночлег.

2

Смотрит темная ночка невесело.
Воет на выгоне волк.
Этой ночью повстанца повесили.
Вольный напев на селе умолк.

Собираются хлопцы с силами.
Коли так — отомстить не грех
С топорами и острыми вилами
Вышли в чащу на новый ночлег.

Снова чаща гудит разудалами.
Снова пламя костров кричит.
Коли надобно, сразу ударим мы!
Черноокая ночь, молчи!

Дни промчались и хлопцев утешили.
Мчатся из лесу — их не сдержать!
Сегодня повстанцы вешали,
Сегодня их власть опять!

3

Да, они, они — комсомольцы!
Не страшна им открытая смерть.
Их ружья пулями колются,
Клич их гулкий — в оба глядеть!

И на поле под градом шрапнели,
Распахнув червонный флаг,
Пулеметы не раз им пели
Похоронный марш: тра-ра-рах!

На поминках огонь молодечества
К новым битвам живых закалил.
Комсомолию — воли отечество —
Испугают ли сотни могил?

В комсомольце — закал суровый.
В комсомольце — бунтарская кровь.
Только кликни: «Смену готовь!»
Только кликни — и смена готова,

4

И растет, и растет, и мужает
Комсомольцев отважная рать.
Где их силе предел? Что межа им,
Коль они захотят погулять?

На заводах, на фабриках дымных,
На полях, где синеет простор,
Они спаяны пылом призывным,
Их спаял молодой задор.

Только кликни — и выйдут рядами,
Как прибой, за грядою гряда,
Над размытыми берегами

Вольной песней запенится даль.
Не согнать и не сдвинуть с дороги
Тех, кто пламенем этим согрет!
Для победы нет лучшей подмоги,
Чем бунтарь, комсомолец-поэт!

5

Деревенские песни... Шум города.
Звонких улиц веселый смех...
Вспоминают сегодня гордо
Комсомольцы былой свой ночлег.

Марширует под песни раздольные.
Не отставай! Шире шаг!
Песен! Плакать довольно нам!
Мы — Комсомол! На распашку душа!

Грубые свитки заплатаны...
В воздухе фабрик дым...
Опытом горьким богаты мы,
Прошлым своим боевым.

В жизни нам вольная доля,
Мы — дети восставших равнин,
Беларусь и ты, Комсомолия,
Я, комсомолец, твой сын!

М. Чарот

Авторизованный перевод с белорусского *С. Городецкого*

Два мира

Под солнцем
Два мира, два стана:
Радуга наций,
Союз наш братский,—
Советские страны,—
И против них
Другой, раз'яренный,
Мир государств,
Раздробленных
Паутиной границ.
Полагается там
Для каждой страны
По штату
Строить
        танки для войны.
И казематы.
«Сытый голодного
        не поймет!» —
Неплохая
Доныне
Живет поговорка.
Терпят рабочие гнет
        в Шанхае,
        в Берлине
        и в Нью-Иорке.
Под завесою конституций
Скрежет схваток,
        шквалы борьбы.
«Паны меж собою дерутся,
А трясутся
        у батраков чубы!»
«Соколу крылья обрезать —
Не будет сокол летать!» —
Не сдержать пролетарских взлетов
Ни митральезой,
Ни пальбой пулеметов.
«День да ночь —
Сутки
        прочь».
Западные державы
В таможенном поединке,
Как проститутки,
Пробиваются на рынки.

Нет работы рабочим.
Слышишь?
В муках рождается радость!
Голодный поход грохочет,
Строя
из людей
баррикады.
Какая разница?
Одним горем согнуты
Ткачи Белостока,
Лиона,
Калькутты.
Какая разница?
Разве путь борьбы другой там?
У токарей Токио,
Вены,
Детройта?
Одним огнем горят,
Огнем призывным, очи.
Нет разницы!
И там,
и там —
рабочие.
На фронт, товарищи!
На фронт, энтузиасты!
Такие дни
в истории
не часты!
Борьбой и трудом,
Каждым рабочим днем
Приблизим
Завоеванный нами
Социализм!

А. Александрович

Авторизованный перевод с белорусского *С. Городецкого*

Предшественники вредительства

Р. Катанян

1. Смена вех

Переход от военного коммунизма к нэпу оживил надежды разбитой в гражданской войне контрреволюции. Правда, неодинаково реагировали различные группы наших врагов на поворот в политике партии и советской власти. Наиболее тупые из контрреволюционеров еще громче вопили о том, что надо более энергично готовиться к походу на Россию.

Другие же герои белого движения настаивали на том, что пора, по крайней мере временно, сложить оружие, что начинается такая эра эволюции, при которой в скорости от советской власти останутся рожки да ножки.

Интересным документом этого времени является прогремевшая книга, сборник «Смена вех».

Бывшие колчаковские министры истерично доказывали, что они всегда были с революцией, что они приемлют революцию. Не задумывались они только над одним — приемлет ли их самих революция. Впрочем, стоило ли им задумываться над таким пустяком! Ведь они были уверены, что у нас все кончено, что поворот к нэпу означает капитуляцию совласти, что вопрос об их роли в прошлом предан забвению, ибо история — это они, «лучшие люди страны», они же предали забвению свои преступления перед страной. Словом, они дали амнистию революции, а революция — им.

«Невозможно, говорили они, чтоб за одним Лениным последовали другие. Нет, отныне надолго или навсегда покончено со всяким экстремизмом, со всяким большевизмом и в «широком» и в «узком» смысле. За отсутствием почвы для него. За ненадобностью. Завершился длиннейший период русской истории. В дальнейшем открывается период быстрого и мощного эволюционного прогресса. Ненавидящие революцию могут радоваться, но, радуясь, они должны все же отдать должное революции: только она сама сумела сделать себя ненужной»,— говорит проф. Ключников (см. «Смену вех», стр. 49).

Итак, все кончено! Не нужно Ленина, не нужно ленинизма. Мудрая революция покончила самоубийством, можно ей посвятить сочувственный некролог.

Другой профессор — Устрялов — утверждает, что начался отлив революции, наступил термидор. Излагая по-кадетски историю Великой французской революции, он учит: «Термидор был поворотным пунктом французской революции. Он обозначал собой начало понижения революционной кривой. *Путь термидора есть путь эволюции умов и сердец, сопровождавшихся*, так сказать, легким «дворцовым переворотом», да и то прошедшим формально, в рамках революционного права. При этом необходимо подчеркнуть, что основным, определяющим моментом термидора явилось именно изменение общего стиля революционной

Франции и обусловленная им эволюция якобинизма в его «толпе». Кровавый же эпизод 9-го числа (падение Робеспьера) есть не более, как деталь или случайность, которой могло бы и не быть, и которая нисколько не нарушила необходимой и предопределенной связи исторических событий».

«Якобинцы,— продолжает Устрялов,— не пали; они переродились в своей массе. Якобинцы, как известно, надолго пережили термидорианские события,— сначала как власть, потом как влиятельная партия: сам Наполеон вышел из их среды. Робеспьер был устранен теми из своих друзей, которые всегда превосходили его в жестокости и кровожадности. Если бы не они его устранили, а он их, если бы даже они продолжали жить с ним дружно,— результат оказался бы тот же: гребень революционной волны, достигнув максимальной высоты, стал опускаться...

Путь революции — перерождение тканей революции, в преображении душ и сердец ее агентов. Результатом этого общего перерождения может быть незначительный «дворцовый переворот», устраняющий наиболее одиозные фигуры руками их собственных сподвижников и во имя их собственных принципов (конец Робеспьера). Но отнюдь не исключена возможность и другого вывода,— того самого, о котором говорил Бонапарт Мирмону,— приспособление лидеров движения к новой его форме. Тогда процесс завершается наиболее удачно и с меньшими опасениями,— путем власти».

По мнению проф. Устрялова и у нас, в стране советов, происходит предопределенное историей, и у нас гребень революционной волны стал опускаться, и у нас происходит перерождение тканей революции, и у нас процесс термидора «завершается наиболее удачно» — «путем власти».

В другом случае, тот же Устрялов писал: «В современной России как будто уже чувствуется веяние этой новой фазы. Революция уже не та, хотя во главе ее — все те же знакомые лица, которые ВЦИК отнюдь не собирается отправлять на эшафот. Но они сами вынужденно вступили на путь термидора, неожиданно подсказанный им кронштадтской «Горой»,— не удастся ли им поэтому избежать драмы 9-го числа».

И далее: «Ныне есть признаки кризиса революционной истории. Начинается «спуск на тормозах» от великой утопии к трезвому учету обновленной действительности и служению ей,— революционные вожди сами признаются в этом. Тяжелая операция,— но дай ей бог успеха».

Прошло со дня опубликования этих статей 9 лет. Тщательно искал и ищет Устрялов признаки термидора в советской действительности. Он их не находит и не найдет. И причиной тому для Устряловых является путаница и каша, царящие в их головах.

Обязателен ли термидор? Действительно ли предопределено историей, что после революции, как реакция, наступает эволюция? Не может ли быть такое сочетание, *при котором эволюция является частью* революции и революция частью эволюции?

Этих вопросов не в состоянии исчерпать гг. профессора, ибо историческая мысль, додуманная до конца, должна была бы привести их к весьма невыгодным для буржуазного государства и капиталистических организаций выводам.

Защищая однобокую теорию эволюции в эпоху социалистических революций, противопоставляя революции эволюцию (старая филистерская установка), понимая под эволюцией ликвидацию революции и диктатуры пролетариата, сменовеховцы призывали к примирению после введения нэпа с угасающей, по их мнению, революцией. И причиной такого призыва было не признание победы революции, не переход с контрреволюционной позиции хотя бы к лойяльному отношению к советской власти, а желание дальнейшей борьбы с использованием всех легальных возможностей.

Лозунгом было одно — советская власть с введением нэпа умерла, да здравствует новая власть, основанная на сотрудничестве различных классов и групп. Эта своеобразная теория разделения власти пропагандировалась, якобы научное обоснование ликвидации диктатуры пролетариата и восстановления капиталистических отношений.

Герои смены вех пробовали пойти на нас войной. В этой войне они были разбиты. Но, и побитые, они не потеряли веселого выражения лица. Услышав об об'явлении нэпа, они запели новые песни: «Мы преступники, если просто растлевали и умерщвляли нашу страдалицу родину, чтобы вернуться к старому или на копеечку получить нового. Мы велики, если благодаря нашим жертвам восторжествует гений революции. После ужасов революции неизбежно наступит период счастья, нас охватит творческий дух, мы ясными глазами сможем глядеть в будущее. После ужасов преступления... надо же хоть немного знать русский народ: он неспособен будет вынести ужасов собственного преступления» (стр. 36—37).

Для кающихся контрреволюционеров революция — это ужасы, преступления... и больше ничего. При встречах этих «эволюционистов» с революционерами большевиками перед ловко меняющими вехи воскресали картины «ужасов» — сиречь поражений в гражданской войне, картины «преступлений» — сиречь национализация земель, промышленности; картины национализации транспорта и банков, расстрелы Колчака, изгнания Врангеля, Деникина и Лукомского и т. д. и т. п. Они не могли не быть врагами любого рабочего, любого красноармейца.

И как бы они ни говорили: «Кто борется мечом или хитростями с русской революцией, не имея ничего одинакового или лучшего противопоставить ей взамен, тот лишь вольно или невольно готовит ужасы мировой революции, которая, при спокойном торжестве революционной России, легко вылилась бы в мирную и безболезненную революцию. Жестоко и несправедливо заподозревать противосоветскую русскую интеллигенцию в сознательном стремлении вредить своей родине и во вражде к мировому прогрессу» (стр. 33) — эти красивые слова писались для отвода глаз. Достаточно вспомнить многократные упоминания об ужасах, но теперь уже в международном масштабе, чтобы сказать, что, напуганные поражением в гражданской войне, «противосоветские» элементы при расширении революционной базы опять, и в который раз (!), сменили бы вехи, и как всегда были бы против революции.

«Несправедливо,— говорит автор,— заподозревать противосоветскую интеллигенцию в сознательном стремлении вредить своей родине».

Мы теперь знаем, что эти подозрения более чем основательны.

Увидев, что нэп не оправдывает чаяний контрреволюции, поняв, что у нас даже не пахнет термидором, противосоветская интеллигенция сознательно вступила на путь вредительства, расшифровав перед широкими массами, что значит «эволюция», «жертвенность» русской интеллигенции, и как различно понимают различные классы переход от военного коммунизма к нэпу.

«Да, проиграть войну очень тяжело и войну гражданскую еще тяжелее, так как она ведется за обладание отечеством. Но если война проиграна, то проиграна Поняли же это умные немцы. Или в русском эмигрантском лагере нет совсем больше здравого смысла, а только одни истерики, одно беспозвоночное упрямство. Если война проиграна, надо уметь заключить мир. От обратного пострадают не победители — побежденные. Победителям часто выгодно, когда длится бессильная война» — говорит Бобрищев-Пушкин в статье «Новая вера» (см. «Смену вех», стр. 142—143).

Сменовеховцы хотели суметь заключить мир, они хотели уподобиться «умным немцам», заключившим Версальский мир, сменить вехи для того, чтобы суметь заключить с советской властью мир, но такой мир, при котором враг советской власти был бы не добит, раны которого залечились бы быстро и дали бы возможность с новой силой, с новой опасностью встать перед рабочими и крестьянами.

Заключить мир с возможно меньшими потерями, сохранить живую силу, а потом посмотреть — «кто кого», такова была тактическая платформа группы «Смены вех».

Какими представляли сменовеховцы противников, с которыми они собирались подписать мирный договор? Хотели ли они признать советское государство как таковое, или они рассматривали его как бесформенную массу, точь в точь такую, какой явились они — белоэмигранты?

На этот вопрос дает ответ сменовеховцев С. Лукьянов. По его мнению, «пострадавший во время войны пролетариат в 1917 году представлял собою не столько класс с ясным классовым сознанием, сколько революционные, докрасна накаленные массы, использование которых в деле построения революционной власти было возможно лишь при такой правительственной программе, которая своими широкими обещаниями дала бы немедленное удовлетворение материальным запросам рабочих, и своими лозунгами мирового братства, правды и справедливости, в наглядно понятных для рабочего формах, возвышала бы его до творца будущего счастья человечества, и тем самым оправдывала бы перед ним самим кипевшую в нем ненависть к буржуазии».

«Анализ русской жизни,— продолжает г. Лукьянов,— как она сложилась к революции 1917 года, показывает, что создание революционной власти было в то время возможно при соблюдении следующих условий:

1. Носителем власти могло быть лишь правительство, образованное из экстремистских — прежде всего в психологическом и тактическом отношениях — элементов.

2. Двигателями революции были и, следовательно, социальной базой для вышедшей из революции власти могли быть лишь сельские (крестьянские) массы и городские (пролетарские) массы, а не один какой-либо класс» (стр. 86—87).

Итак — к 17 году пролетариата как класса не существовало, пролетариат не был авангардом революции, не было крепкой социальной базы у революции, была лишь одна социальная ненависть, раскаленная докрасна. Словом, не было революции, а был бунт рабов и черни, который ловко использовали большевики. И если «экстремисты» образовали крепкое правительство, то это, по мнению Лукьянова, об'ясняется психологическими и тактическими причинами (к сожалению, г. Лукьянов не об'яснил — с чьей стороны был такой тактический ход). По мнению г. Лукьянова, прошли тяжелые времена, он видит (откуда, еще неизвестно) «постепенный отказ масс от немедленного осуществления прекрасных, но, увы, непосильных идеалов».

И далее Лукьянов заявляет: «То и другое (т. е эволюция и постепенный отказ), доказывая образование, на худой конец, лишь психологических предпосылок, обеспечивающих в близком будущем сложение реальной базы русской государственности (разрядка наша), неизбежно отражается не на идеологии, конечно, а на тактике советской власти, вынужденной считаться, чем дальше тем больше, с реальным заявлением складывающихся в России новых социальных и экономических отношений».

«Начав с признания в области экономических отношений,— продолжает тот же автор,— одного только момента распределения, рабочие путем дли-

тельного опыта убедились в решающем значении для поднятия общего благополучия момента создания ценностей. Начав, наконец, с исторически оправдываемого непонимания и потому отрицания интеллигенции и, прежде всего, буржуазии в деле экономического государственного и культурного строительства, пролетариат понял, что как интеллигенция, так и буржуазия не только не страшны для народа-победителя, но и должны и могут быть использованы в интересах самого народа» (стр. 89).

Так ли на самом деле было?

Правда ли, что рабочие ставили перед собой исключительно моменты распределения. Не напоминает ли это положение г. Лукьянову известную сказку о лозунге: «Грабь награбленное», не напоминает ли оно мотивов контрреволюционной клеветы об исключительно потребительском характере нашей революции.

Правда ли, что пролетариат не понимал и отрицал роль интеллигенции?

Правда, ли, что пролетариат стал понимать теперь, при нэпе, роль и значение буржуазии в деле экономического, государственного и культурного строительства?

В 18 году, после поражения Краснова, Корнилова и Богаевского, казалось, что мы получили передышку в гражданской войне, что империалистические державы, занятые своей войной, на время оставят нас в покое. И т. Ленин в своем выступлении о задачах советской власти говорил о государственном капитализме, о концессиях. Там, во-первых, говорилось о возможности работы буржуазии в деле экономического строительства.

«Мы можем,— говорил т. Ленин,— и должны добиваться теперь *соединения* приемов беспощадной расправы с капиталистами некультурными, ни на какой «государственный капитализм» не идущими, ни о каком компромиссе не помышляющими, продолжающими срывать спекуляцией, подкупом бедноты и пр. советские мероприятия, с *приемами компромисса* или выкупа по отношению к культурным капиталистам, идущим на «государственный капитализм», способным проводить его в жизнь, полезным для пролетариата в качестве умных и опытных организаторов крупнейших предприятий, действительно охватывающих снабжение продуктами десятков миллионов людей» (Ленин, т. XV, стр. 271 — 2 изд. 1929 г.).

«Не ясно ли,— подчеркивает Ленин,— что из этого своеобразного положения вытекает для данного момента именно необходимость своеобразного «выкупа», который рабочие должны предложить крупнейшим, талантливейшим, организаторски наиболее способным капиталистам, готовым итти на службу советской власти и добропорядочно помогать налажению крупного и крупнейшего государственного производства» (Ленин, т. XV, стр. 272—3).

Буржуазия не пожелала пойти на договоренность с советской властью, она взялась за меч, так что не пролетариат недооценил буржуазии, а наоборот, буржуазия не поняла мощи пролетариата в деле строительства страны.

Ко времени нэпа соотношения изменились. Речь могла итти не о выкупе от капиталистов, а о том, чтобы допустить их к работе на правах концессионеров или арендаторов. Это, однако, не удовлетворяло сменовеховцев. Они заговорили о смехотворных своих претензиях на участие в государственном и культурном строительстве.

Откуда, из каких документов, из каких фактов мог г. Лукьянов притти к заключению о тоске советского пролетариата по буржуазии — неизвестно. Оно выдумано гг. сменовеховцами на утешение и потеху своим сотоварищам.

По вопросу об интеллигенции, о том, что пролетариат только к 21-му году понял необходимость использования интеллигенции, нужно отметить,

что г. Лукьянов и здесь фантазирует. Вопрос об использовании интеллигенции ставился с первых дней советской власти. Но нам нужна была, и сейчас нужна, такая интеллигенция, которая выступила бы не в качестве какой-то третьей силы, а добросовестной исполнительницей заданий советской власти и коммунистической партии.

Рабочий класс боролся и борется за такую интеллигенцию с первых же дней советской власти; вместе с тем, он клеймил и клеймит саботажнически-вредительскую интеллигенцию.

Спрашивается, для чего понадобилась эта фантазия на мотив о тоске рабочего класса по интеллигенции вообще и о буржуазии в частности? Очевидно лишь для того, чтобы, доказывая эти из пальца высосанные настроения, показать, что в стране произошли глубокие сдвиги, что получился разрыв между пролетариатом и крестьянством, что большевики могли удовлетворить пролетариат в его требованиях лишь в первоначальный период (т. е. «немедленное удовлетворение материальных запросов рабочих»). А раз к периоду нэпа у рабочих возникли иные требования, которые большевики якобы не в силах удовлетворить (вспомним рассуждение г. Лукьянова о роли интеллигенции и буржуазии), раз крестьянство недовольно было в период нэпа советской властью, следовательно произошел разрыв не только между пролетариатом и крестьянством, но наряду с этим — идет разрыв пролетариата и крестьянства с советской властью, с коммунистической партией. Другими словами,— в наличии имеется экономическое обоснование термидора, значит, в порядок дня ставится вопрос о форме государственной власти.

«Воистину,— восклицает г. Лукьянов,— мы, сами того не замечая, присутствуем при рождении подлинного русского гражданства и неразрывно связанного с ним Русского государства».

«Есть возможность заложить новое здание русской государственности на новых разумных основаниях, использовав принципы разумной организации»,— пишет г. Чахотин в сборнике «Смена вех» (стр. 160).

И это писалось в то время, когда существовало пролетарское государство, которое г. Лукьянов и др. упорно именуют Русским государством.

Гг. сменовеховцы думали, что к периоду нэпа распалась диктатура пролетариата, что они присутствуют «при рождении государства», что нужно «без предвзятости, с возможным хладнокровием вдуматься в великие русские события и честно протянуть руку помощи родине».

Один говорит о заключении мира, другой хочет протянуть руку помощи родине. Как будто один идет к нам с покаянной, другой — победителем с покровительственно протянутой рукой. Но эта разница — для видимости. Революция, по их мнению, перестала расти вверх, идет она по нисходящей, наступила пора эволюции, наступил термидор. Нужно торопиться принять участие в ликвидации революции...

Интересно выяснить, на кого думала опереться в своей работе сменовеховская интеллигенция.

Г. Чахотин в своей статье «В Каноссу» дает ответ на этот вопрос.

«Спрашивается, как вести себя интеллигенции, как находящейся в России, так и эмигрировавшей, при этих новых, все еще возможных попытках восстаний. Способствовать им или отстраниться от них, более того,— бороться с ними. Не колеблясь, подобно тому, как по отношению к предыдущему периоду мы считали, что вся энергия русской интеллигенции должна быть брошена в дело борьбы с большевиками, так теперь, после окончательного крушения планов его насильственного низвержения, мы считаем, что патриотический долг нашей интеллигенции — отка-

заться от вооруженной борьбы, более того, бороться со всякими попытками в целях борьбы еще дальше дезорганизовать и развалить нашу родину» (стр. 156.—Разрядка наша).

Как будто правильная позиция, но из дальнейших слов следует, что такая тактика носит лишь временный характер, рассчитана на определенный, так сказать, переходный период, что эта тактика нужна лишь для передышки.

«Подобно тому, как более сознательная часть интеллигенции считала революцию во время войны опасной и нежелательной, так и теперь, всякие потрясения будут для нашей родины лишь гибельны. Надо окрепнуть физически и экономически, надо — насколько возможно при данных условиях — укрепить национальный дух, а там жизнь покажет. Окрепшему организму возможные потрясения не будут так опасны, а, может быть, к тому времени условия настолько изменятся, что все обойдется и без потрясений» (стр. 157.— Разрядка наша).

Итак, сменовеховцы делали ставку на то, чтобы, придя к нам, «укрепить национальный дух», а дальше видно будет,— нужно ли делать ставку на кровавое подавление или на мирное удушение буржуазией пролетариата. Словом, они не забыли ничего, они из понесенного поражения вынесли один урок — нужно изменить тактику. По существу же своему они остались такими же контрреволюционерами, какими были в моменты начала эмиграции и организации борьбы против рабочего государства.

Не могут и не должны были вводить в заблуждение покаянная поза разных Чахотиных, их выкрики: «Мы не боимся теперь сказать: «Идем в Каноссу». Мы были неправы, мы ошиблись. Не побоимся же открыто и за себя и за других сказать это» (стр. 159).

Если г. Чахотин признает свою неправоту, то, казалось бы, он должен был признать правоту коммунистов. Казалось бы, он, кающийся мелкий буржуа, должен был с некоторой осторожностью говорить о коммунистах. На самом же деле мы читаем: «Мы знаем, за нашими бывшими противниками в прошлом много ужасов, трудно прощаемых, много такого, с чем трудно примириться и сейчас» (стр. 158), «большевизм с его крайностями и ужасами — это болезнь» и т. д.

И Чахотин, смотрящий с брезгливостью на победителей-большевиков, любовно оглядывающий в зеркало себя, старого контрреволюционного приказчика, откровенно выбалтывающий, что нужно готовиться к новым потрясениям (мы знаем, что значит на языке либералов слово «потрясение»), делает дальнейшие откровения:

«Станем ли мы сами от того (т. е. от работы с большевиками) большевиками или коммунистами, как думают некоторые? Конечно, нет. Коммунизм как практическая доктрина в современной обстановке попрежнему остается для нас той же утопией, что и раньше, но он может и должен измениться, если хочет так или иначе войти в реальную жизнь: и во многом мы, интеллигенция, можем способствовать этому процессу» (стр. 159.— Разрядка наша).

Они готовились притти к нам с тем, чтобы видоизменить коммунизм, «утопию» аннулировать и сделать Ленина копией Устрялова, а ленинцев — копией устряловцев.

«Будем об'ективны,— говорится далее,— и признаем, что среди современных русских вершителей судеб есть люди, наделенные достаточным чувством реальности и не враги эволюции. Логика событий неумолимо заставляет их сдавать свои практически неверные позиции и становиться на те,

что более согласуются с требованиями жизни: от действий нашей интеллигенции будет зависеть ускорить и завершить этот процесс на благо России и прогресса» (стр. 161).

Г-н Чахотин, «идя в Каноссу», думал поставить большевиков на колени. Он мечтал об отказе коммунистов от утопий. Для этого он делал ставку на коммунистов, «обладающих достаточным чувством реальности». Он мечтал, что ловко замаскированные вредители, которых Чахотин именует интеллигенцией, сумеют взять в работу какую-то группу колеблющихся, паникерски настроенных коммунистов и повести за собой в так называемую реальную действительность, а на самом деле — в контрреволюционное болото. Мы знаем, что некоторые из коммунистов попали на удочку. Но и этот коварный план в конце концов провалился.

«Второй важнейшей задачей должно быть самое активное участие в экономическом восстановлении нашей родины»,— говорит г. Чахотин. Теория, что, укрепляя экономическое положение страны, мы «укрепляем позицию большевиков» и будто бы этим отдаляем момент вступления России на путь спокойного, естественного развития, должна быть решительно отброшена. Как раз наоборот: в налаживании экономических условий корень повышения и культурного уровня страны и ее политического оздоровления» (стр. 163.— Разрядка наша).

Под культурным уровнем и под политическим оздоровлением контрреволюционеры всех стран и народов понимают ликвидацию советской власти, уничтожение советской культуры и советской цивилизации. Не надо вдаваться в глубокие философские исследования по поводу данного нами толкования. Для этого достаточно хотя бы вскользь вспомнить контрреволюцию на Дону, в Сибири и других местах нашего Союза, когда душилось проявление свободной пролетарской мысли. Нетрудно представить, как подняли бы культуру и как политически оздоровили бы нашу страну гг. контрреволюционеры, если бы... если бы они добились власти. Плачевны были бы результаты их культпохода.

Для примера возьмем картинную галлерею, в которой наряду с картинами, приобретенными в дореволюционный период, висят картины, национализированные у буржуазии и дворянства. Вернули бы сменовеховцы произведения искусства прежним собственникам или их оставили бы в музеях на просвещение широких масс? На этот вопрос не может быть двух ответов. Все пошло бы по рукам, все разошлось бы по базарам, все было бы денационализировано.

Другой пример — особняки, в которых расположены теперь музеи, детские сады и ясли. Остались бы эти учреждения в национализированных домах или в два счета были бы выброшены на улицу грудные дети и малыши? И на этот вопрос ответ более чем ясен.

В Москве, и не только в одной Москве, в бывших «благородных собраниях» в дворянских клубах расположились профсоюзные учреждения, ведущие колоссальную культурно-просветительную работу среди трудящихся. Остались бы эти профсоюзные организации в этих «благородных» домах? Конечно, нет! Опыт русской контрреволюции порукой тому, что все культурные учреждения рабочих масс были бы растоптаны жандармским сапогом.

Когда гг. сменовеховцы говорят о работе на повышение культурного уровня, то они скрывают свои подлинные намерения. Их приходится расшифровывать, лишь вчитываясь в конец фразы — «в политическое оздоровление». Вот где зарыт тайный смысл всей их программы. По их схеме политическое оздоровление на первый период означает советы без коммунистов, другими словами,— коммунисты вон из советов. А дальше советы без ком-

мунистов — означает советы, как совещательный орган при какой-то иной власти, а еще дальше — ликвидация советов, как уже ненужной ширмы.

Вот примерная схема, отчасти взятая из опыта русской и германской контрреволюции, отчасти же подсказанная преждевременно состарившимися политиканами из сменовеховского стана. Не забудем, что одно признание советов не противоречит политическим вкусам различных реакционных партий. Не только Милюков готов был работать с советами без коммунистов, но на это согласен и об'явивший себя царем Кирилл Владимирович.

Сменовеховцы полагают необходимым принять участие в укреплении экономического положения страны. Но как нужно было укреплять экономику,— об этом они красноречиво умалчивают. Но, принимая во внимание, что «налаженность экономических условий» — служила у них средством для свержения советской власти в целях «политического оздоровления» страны, нужно признать, что экономическая работа этих господ должна была носить какой-то особый, специфический характер. Об этом они ничего не говорят. Но зато многие из вредителей показывают, что, поняв, что нэп не означает отказа от коммунизма, т. е. что нэп не означает термидора, они пошли по вредительской дорожке.

Характерно в этом отношении показание одного из обвиняемых по делу «Промпартии»:

«Когда начался период нэпа, то это послужило толчком к возрождению среди этих (т. е. инженерных) кругов надежды на осуществление опять-таки своего идеала — демократической республики, но уже не путем открытого сопротивления, а путем возможного, как в данном случае и надеялись, перерождения советской власти. Причем побудительным поводом к этому было то толкование, которое инженеры дали об'явленному в то время нэпу. Ясное дело, что толкование это было именно в том направлении, что советская власть идет по сдаче первоначальных, установленных при совершении Октябрьского переворота позиций, что допущение в некоторых областях частной собственности — в частности в торговом обороте, мелкой промышленности — влечет за собой вообще возможность восстановления в широких размерах частной промышленности и, кроме того, даст возможность говорить о сохранении привычных форм,— форм капиталистического ведения хозяйств частной промышленности (см. отчет процесса «Промпартии» — «Известия» — «Правда»).

Сменовеховцам была понятна необходимость наличия организации, через которую можно было бы проводить свои планы, свою линию. Нужны массы, нужны органы для завоевания масс, нужно вокруг себя собрать интеллигенцию. И г. Чахотин предлагает: «Одним из важнейших моментов нашей работы в России должно стоять наше профессионально-интеллигентское об'единение, создание коллективов трудовой интеллигенции. То, что было очень трудным четыре года тому назад, по всему должно стать более осуществимым сейчас: сейчас интеллигенция более созрела для своего об'единения».

Мы хорошо помним, как вредительская интеллигенция создавала различные профессионально-интеллигентские об'единения, через которые она проводила свою вредительскую работу. Клуб горных деятелей под руководством Пальчинского, ИТС под руководством Рабиновича — вот их профессиональные об'единения, вредительская кухня, через которую работали люди, налаживающие «экономические условия». Характерно показание вредителя Чарновского, говорящее о том, как использовали вредители для вербовки членов своей организации профессиональные вопросы.

«В 1927 г., весной, я был привлечен к деятельности в «Инженерном центре» Хренниковым, который завуалировал, как я уже говорил, цели этой

организации. Он указывал на ухудшение служебного положения техников и инженеров промышленности, на необходимость об'единенных усилий для возвращения им прав прежнего командного положения, а также на то, что появившиеся уже в заданиях перегибы в сторону чрезвычайно больших темпов и чрезвычайно больших заданий тяжело отзовутся на наших товарищах, которые вынуждены будут проводить все это при недостаточных средствах и почти полной невозможности это осуществить ввиду того, что хотя восстановительный период и закончен, но не восстановлены полностью все связи и возможности, которые существовали» (см. отчет о «Промпартии» — «Известия» от 2 декабря).

План г. Чахотина был с виду простой: создаются союзы, скажем, адвокатов, инженеров, учителей и т. д. Все эти союзы работают под руководством не ВЦСПС, а сменовеховцев, и в дальнейшем создается союз союзов. И как при царизме (в эпоху качания царизма) созываются с'езды, вырабатываются резолюции, требования, нарождаются Керенские, Милюковы, и при поддержке иностранных держав производится кровавый переворот.

Широки были аппетиты сменовеховцев. Им недостаточно одной интеллигенции. Они делают ставку на более действенные массы.

«В самой России,— говорит г. Чахотин,— несомненно, наряду с коммунистической партией, а отчасти и вопреки ей, нарастают новые группировки, на иных совсем началах. Мы слышим уже о крестьянской партии, которую напрасно эсеровские «штабы» намечают себе в качестве управляемого об'екта. Слышали мы все уже и о массах так называемых беспартийных, этой магмы, из которой выкристаллизуются в будущем новые группировки. Нам рисуется, что группировки эти будут создаваться не по признаку имущественного ценза,— в стране, где имущественные перегородки пали, а, пожалуй, по характеру труда. Очень может быть, что, кроме крестьянской, будут еще лишь две основные партии — рабочая и интеллигентская. Задачей русского правительства будет согласовать интересы и деятельность этих трех основ государства и построить на нем благополучие страны» (Разрядка наша.— Стр. 165—166).

Помимо интеллигенции, политическая ставка делается на крестьянство и на беспартийных, на «магму, из которой выкристаллизуются в будущем новые группы». Вот три силы, которыми должны проводиться «эволюция» и термидор. И последователи г. Чахотина, может быть, не последователи, а единомышленники его, может быть, люди организационно не имевшие связи с ним, но исходившие из одних и тех же психологических предпосылок, молились на новую троицу, изобрели себе новую веру и, распевая вполголоса песни на тему «сим победиши», шли на новое контрреволюционное дело.

Скоро жизнь показала и сменовеховцам, что три кита — интеллигенция, беспартийные и крестьяне оказались плохой опорой. Киты расплылись в разные стороны.

Интеллигенция раскололась на две части. Одна пошла за Кондратьевым и Громаном, за Рамзиным и др., создала трудовую крестьянскую и промышленную партии и точила меч контрреволюции, работала на вредительство, работала на организацию интервенции и делала ставку на временную (не указывая длительность срока) военную диктатуру, на кровавое побоище пролетариата.

Другая часть интеллигенции пошла на честную советскую работу.

Беспартийная «магма» не выкристаллизовала ничего антисоветского и, наоборот, неустанно выделяет из своей среды отряды на пополнение коммунистических батальонов.

Крестьянство резко разделилось на два лагеря — на кулаков и на бедноту, с союзником последней — середнячеством. Кулачество вступило на путь контрреволюции, потерпело в своей борьбе жесточайшее поражение и сейчас ликвидируется как класс.

Ставка оказалась беспочвенной. Снова сменовеховцы обанкротились.

А ведь им мыслилось, что «наряду с правительственной коммунистической партией, а отчасти и вопреки ей» нарастают новые силы, способные вести борьбу за уничтожение диктатуры пролетариата. Они хотели организовать эти элементы, они думали возглавить их, и потом уже либо в союзе с колеблющимися из компартии, либо без них, самостоятельно пойти против «экстремистов», и в зависимости от обстоятельств, либо медленно изменить революционное содержание совласти, либо единым натиском свергнуть советскую власть. Во всяком случае, они думали в первую голову положить конец диктатуре пролетариата, не желая понимать или делая вид, что не понимают, что без диктатуры пролетариата нет советской власти. И когда г. Чахотин писал, что, «кроме крестьянской партии, будут еще две основные партии (предполагая, что второстепенных будет много больше) — рабочая и интеллигентская» и, что «задачей русского правительства будет согласовать интересы и деятельность этих трех основ государства и построить на них благополучие страны», перед Чахотиным рисовалась картина не современной Москвы, не Ленинграда, перед ним развертывался какой-то новый город, в котором вместо дела люди в блистающих огнями роскошных кафэ занимаются сантиментальной болтовней, а в то же время на задворках идет жесточайшая расправа над рабочими.

Мы не знаем, что слышал г. Чахотин о крестьянской партии, мы знаем только, что в СССР (а тогда в РСФСР) существовали кулацкие группировки махрово-контрреволюционного направления. Эти группировки составляли банды, совершали нападения на середняков и бедняков, в своей среде вскармливали различных атаманов и батек, состоявших в свою очередь на службе иностранных разведок и генеральных штабов. На такого рода «крестьян» возлагали политические надежды гг. сменовеховцы. И не случайно г. Потехин поет производственную серенаду кулацким элементам: «Для будущего строительства России спекулянт-мешочник, ездивший под риском пули за тысячи верст выменивать ситец на картошку и хлеб, одолевающий при этом десятки препятствий и, несмотря ни на какие декреты, четыре года снабжавший продовольствием крупные центры, право, не менее важная величина, чем фабрикант, мечтающий в Париже вернуться в Россию «полным хозяином». Демократизм — так демократизм. Почему бы в теории за один стол не посадить наряду с фабрикантом, ну, например, с Рябушинским, мешочника-спекулянта? Почему бы не представить хищника героем труда, ездившим во имя любви к населению промышленных центров под грады и под свист большевистских пуль за хлебом и картошкой? Почему бы мешочника не представить «жертвенно настроенным» человеком?»

Массы, на которых строили гг. сменовеховцы свои расчеты, оказались состоящими из вредителей-интеллигентов и из спекулянтов-мешочников.

«Надо,— говорит г. Потехин,— перестать строить мысленно русскую будущность по западно-европейским образцам. Если теоретически твердобуквенный коммунизм совсем неприменим в крестьянской России, то едва ли более применим к ней и теоретический парламентаризм» (стр. 172). «Даже политическим слепцам становится ясно, что «советизм» есть наиболее отвечающая русским условиям форма народовластия» (стр. 173). Но что же такое пресловутый «советизм»,— об этом г. Потехин мудро умалчивает, но зато г. Потехин предупредительно заявляет о необходимости для последовательного проведения нэпа «наличия твердой, принудительной власти».

«Создать заново такую власть вместо наличной, в условиях голода, эпидемии и паралича транспорта,—задача заведомо невыполнимая, уже, конечно, эта задача не под силу интеллигенции, не справившейся с ней в гораздо более легких условиях 1917 года» (Разрядка наша). Значит, нужно сохранить советскую власть, как власть твердую, для взнуздания масс, но сделать ее приемлемой для российской контрреволюции. «Советская власть сумела одолеть анархизм масс, теперь она должна преодолеть собственный фанатический утопизм (Разрядка наша). Судя по многим признакам, этот процесс уже начался. Параллельно с ним, облегчая и ускоряя его, должен итти процесс обволакивания эволюционизирующего ядра власти работоспособным и честным деловым аппаратом» (стр. 180). Нужно,— твердит г. Потехин,— пойти по эволюционному пути, иначе грозит г. Потехин народным отчаянием, которое свергнет советскую власть. И комик Потехин противопоставляет советскую власть народу, как будто это не синоним, как будто он разговаривает не о власти Октябрьской революции, а о министрах царской эпохи. Бреднями являются следующие слова г. Потехина: «Народ с безмерным терпением склоняется перед силой большевистской власти. Настал момент, когда эта власть должна склониться перед силой народных нужд и всемерно пойти прямо им навстречу, иначе она будет сметена» (стр. 180). «В продолжение четырех лет народ терпит, но меры и сроки терпения могут истощиться, может произойти страшное столкновение слепого отчаяния масс и слепого фанатизма вождей» (стр. 181). Как же избегнуть такой трагической судьбы, которой угрожает г. Потехин? Путь один — пойти на поклон сменовеховцам. Единственный путь, «которым Россия может наиболее безболезненно проплыть между Сциллой и Харибдой коммунизма и анархии к широким мировым просторам, это путь совместной практической работы мощного физически и духовно народа, твердой власти и честных идейных интеллигентов» (стр. 180).

Честные идейные интеллигенты, это конечно, они, сменовеховцы. Пусть так, но почему эти «честные» не задумались над одним вопросом — да имеют ли они основание полагать, что им доступна политическая истина? Ведь до нэпа они натворили столько политических ошибок (не говоря уже о преступлениях), ведь за время гражданской войны они показали такую высокую ступень политической неграмотности и политической тупости, что было бы честнее этим «честным» людям не выступать с политическими платформами и декларациями, предсказаниями и ауспициями. Им надо было бы молчать, с повинной головой, с веревкой на шее, с покаянными мольбами заслужить прощения за свои преступления перед трудящимися советских республик. Но они заговорили... Они изменили тактику борьбы, оставаясь по существу своему такими же контрреволюционерами, какими они были в бывшей России, начиная со дня своего появления на свет и вплоть до опубликования недоговоренной политической платформы, изложенной в «Смене вех». А платформа ее была такова — наступил термидор, начинается закат советской власти, нужно мобилизовать силы, чтобы добить фанатиков утопистов — большевиков — на фронтах экономическом, политическом и культурном; нужно взорвать советы — путем ли потрясений или без таковых, безразлично. Советская власть должна быть ликвидирована.

Вот новое, что дало сменовеховство, ставшее знаменем многих вредителей из интеллигенции.

Сказки же о любви к России, к народу и т. д.— все это являлось маской для сокрытия буржуазно-дворянского звериного существа.

(Окончание следует.)

Баррикадные зарисовки

(1905 год)

В. Н. Соколов

1

Вопрос о восстании решен утвердительно. Рабочие отгораживают себя от правительства и от тех, кто с ним, баррикадами.

Но мы еще продолжаем работать в редакции рабочей газеты «Вперед». С таким огромным трудом она налаживалась и только что начала выходить. Пытаемся дотянуть до последней минуты.

Вчера, 6 декабря, составлен был последний повстанческий номер. А вечером в центре и в театрах уже не было света. Все спектакли отменены. Но наш выпускающий «Аристарх» все же отправился ночью в типографию, чтобы наблюдать за печатанием последнего номера.

Сегодня он не вернулся. И о нем, и от него нет никаких известий. В типографии он не был, и типография не работала. Не работает и сегодня. А когда начнет снова работать — неизвестно.

Дело совершенно ясное. Восстание началось. И с газетой приходится оборвать.

Наскоро приводим в порядок денежные документы и книги в редакции. Собираем и упаковываем литературные материалы. Договариваемся с редакционным курьером: он остается здесь для охраны квартиры.

Последняя связка, последние распоряжения. И газетная сутолока, газетные настроения сразу отодвигаются куда-то вглубь, на запасный путь. Может быть, их уже не придется оттуда и возвращать, как оказавшийся излишним старый состав. Решать будет улица.

И все внимание, напряжение, мысль немедленно переключаются за стены этих, необычно сейчас молчаливых комнат, на шумную, многоликую, многоголосую улицу. Уже начинаем жить там, а не здесь, откуда еще не вышли, где еще прибираем остатки неприбранного.

Мы живем с Голубковым в соседстве друг с другом на Триумфальной и Каретной-Садовой. От редакции, с Большой Никитской, это рукой подать — по Тверскому бульвару и Малой Дмитровке. Но едва выходим вчетвером на Тверской бульвар, как обнаруживается, что прямой путь через Страстную уже отрезан.

И кругом недоуменные разговоры, удивленные восклицания. Прохожая публика озадачена.

— Баррикады на Бронной?..

— На Страстной драгуны стреляют в дружинников...

— На Спиридоновке снимают ворота для баррикад!..

Когда проходили сюда от дома, ничего похожего еще не было. За 3—4 часа мирный деловой район успел превратиться в боевой лагерь.

Направляемся по Малой Никитской, чтобы с Кудринской площади повернуть по Садовой.

Улица почти пустынна. Дворники деловито осматривают запоры ворот и захлопывают их наглухо. В домах затаилась настороженность и беспокойство.

При выходе на Кудринку — кучка молодежи. Стаскивают из ближайших дворов всякую негодную тварь — ящики, бочки... И даже самые ворота, снятые с петель. Студенческого вида молодой человек властно распоряжается.

— Живее, товарищи!.. Сюда вали!.. Оставить проход на тротуаре!..

Последние слова приказа уже излишни: он в точности выполнен раньше, чем оказался произнесенным. Как будто каждый приказывает себе сам то самое, что предполагает распорядитель. И все делается без разговоров, без шума, без суетни, сосредоточенно и серьезно.

— Ворота не закрывать!.. Эй ты, дядя!..

Это относится к дворнику, который торопливо и старательно припирает железные ворота особняка. И уже набрасывает цепь на калитку. Он или не слышит приказа, или не хочет слышать: на войне не говорят «дядя» и не заботятся о воротах.

Твердым военным шагом распорядитель идет к нему через улицу.

— Сейчас же открыть!

Дворник медлит, что-то пытается об'яснять. Рука распорядителя из кармана протягивается к нему с револьвером. И ворота распахиваются с большей поспешностью, чем закрывались.

— Не закрывать совсем!

На Кудринской опять разговоры. Сталкиваются два встречных течения — от Тверской и с Смоленского рынка. И все беспокойно спрашивают у всех:

— На Тверскую можно пройти?..

— На Арбат пропускают?..

— У Полтавских бань дружинники не пускают...

— Арбат еще свободен пока.

И люди торопливо расходятся в нужном им направлении.

Мы оказались отрезанными и по Садовой. Приходится обходить дальше — мимо Зоологического, через Грузины.

Здесь движение сильное и спешное. Очевидно, не мы одни нашли этот обходный рукав. Извозчиков уже нет. Прекратилось и всякое ездовое движение. Хотя сумерки не наступили еще. И хотя разрозненные кучки людей густо и торопливо спешат выбраться из района.

На каждом углу оживленные группы мальчишек. Они никуда не спешат. Но они везде опережают уличное движение. Им весело, и у них праздник. Ни одного не разбитого газового фонаря Грузины уже не имеют. Сейчас ребята добивают остатки. И уже пытаются безуспешно раскачать и повалить и самые фонарные столбики.

Проходим несколько баррикад. Одни только начаты постройкой, другие пока не достроены. Через них, по тротуарам пропускают свободно. Но от работы не отрываются. Здесь заметна рабочая публика. И те же самые гамэны — разрушители фонарей — деловито шмыгают между взрослыми. Они самые деятельные и самые бескорыстные помощники строителей и защитников баррикад. Так повелось еще с далеких времен Великой французской революции.

И, кто знает — не являются ли они невольными выразителями идеальнейших человеческих устремлений?.. И не приносят ли они на баррикады мужество и воодушевление своим старшим, отцам и братьям?

2

Добрались до дому лишь вечером.

Старый, придавленный временем дом Персиц на углу Долгоруковской и Садовой. Около него уже строилась баррикада из всякого хлама, обнаруженного на всех соседних дворах. Парадный ход снаружи заплетен проволокой.

Заплетены и соседние входные двери в мастерские и магазинчики. Проволокой от скоб к тротуарным тумбам прегражден и проход по тротуару. Это квартирные баррикады — не от солдат, а от ближайших соседей: мещанский аршин всех меряет по себе.

Днем здесь уже успели расклеить обязательное постановление: окна не должны быть вечером освещенными, иначе по ним будут стрелять. И вся улица приняла необычный вид. Ни фонарей, ни светящих окон. Извнутри окна завешаны одеялами, или заставлены шкафами.

И на улице вид поздних сумерек: видно небо, и смутно выделяются белые здания. От них пока достаточно света, чтобы ориентироваться в окружающем и не залезать в домашнюю нору. Там, в домах теперь сгустилась тревожная неизвестность и ожидание опасности. И они выгоняют из нор людей на улицу. Здесь безопаснее и в куче: на миру легче дышится.

Транзитного движения теперь здесь нет. Но улица полна своими, здешними. Она захвачена ими. На ней столько людей, сколько не бывает никогда и днем в самое деловое время. Они не идут, а топчутся с места на место, с тротуара на тротуар. Свободно передвигаются взад и вперед и посредине дороги. Никакая езда не мешает и не настораживает. Громкие разговоры случайны и редки. Ибо никто не хочет обнаружить внутренней своей тревоги, и говорит так, чтобы слышал только близкий сосед. Так говорят лишь в необычайно ответственной обстановке, серьезно и задушевно.

И оттого на улице теперь, несмотря на плотную густую массу людей, входит в уши лишь шорох. Слабый, как отдаленный и приглушенный гул ледохода — когда шуршит о берега лед, и когда льдина наплывает на льдину, притирается и скользит набок.

Падает с неба мягкий и пушистый снежок. Он придает обстановке теплоту и покой. И даже редкие щелканья револьвера, неизвестно откуда и неизвестно зачем, не вносят ни малейшего беспокойства в толпу. Даже излишними кажутся громкие, одинокие вслед за выстрелами призывы:

— Товарищи не беспокойтесь!..

— Это провокация!..

Никто не беспокоится и не останавливает шуршащего движения.

Громкий стук неожиданно врывается в это шуршанье. На момент толпа останавливается. затихает совсем. Стук топора, или кузнечного молота по большим деревянным предметам. Тревожный и грозный, как в крышку гроба перед могилой, он отскакивает от стен и мечется набатом над головами.

И сейчас же заговорил. Все поняли и ожили.

— Баррикада...

— На углу Тверской...

— Это около Аквариума!..

— Зачем там?.. На Тверской!..

Сдерживаемое напряжение развязалось. Разговоры громче, движение быстрее. И то, и другое получило определенность и ясность. Похоронены покой и налаженность. Началась борьба, неизбежная и кровавая, тут же, под боком, у себя дома. Борьба, которой еще никто из этой толпы никогда

не видел. И вероятно, будет об этом думать все время, когда окажется сегодня под своей крышей.

Что она принесет завтра?..

3

Сегодня первый день, когда близлежащие улицы тихи и с утра пусты. Наполнены ожиданием. Кучки людей у ворот, готовые в каждый момент в них попрятаться. Редкие торопливые перебежки по тротуарам, ближе к стенам. Небольшие группы дозорных около баррикад.

Враг не наступает еще. А его ожидают со всех сторон одновременно.

Но кучки у ворот гуще. Сегодня ведь никто не идет на службу и на работу. Чем-то надо заполнить неожиданный досуг. И на улице опасность виднее, значит меньше обезоруживает. Кучки разрастаются, отпочковываются. Промежутки между воротами обрастают движением, побережчиками. Подходят к баррикадам, выглядывают за них. Пробираются дальше, на соседний участок.

Из ближайшего парка на Долгоруковской выкатывают вагон и опрокидывают его набок, поперек улицы. Рядом церковь.

— Вот и штаб!..

По трамвайным столбам ползут вверх слесаря. И забравшись, долго, сосредоточено отпиливают от столбов дуги с проволокой. Это материал для скрепления баррикад.

По концам баррикады-вагона уже растут крылья из скамей, досок, ящиков, деревянных ворот...

Издали доносятся выстрелы — по одиночке и пачками. Толпа редеет, расплываясь в разные стороны. Где-то далеко начинает строчить пулемет.

По Садовой, от Каретного к Тверской, проносят первого раненого. Санитарные носилки в крови. Санитар и сестра тревожны и бледны. Спешат к Земской управе, где уже развернут пункт и выброшен над входом красный крест.

— Началось, началось!— срывается с места женщина. Она только что добродушно беседовала с дружинниками.

— Господи, что будет?..

И бежит ближе к своим воротам.

От Каретного на Садовую высыпал взвод конных жандармов. Но не успел развернуться, как посыпался револьверный горох с крыши, из слуховых окон трактира «Волна». Взвод, повертывая обратно, смешался. Один повалился с лошади и остался лежать, другого задержали двое в седле. И, беспорядочной группой, спешно скрылись опять в Каретный.

Перед нашей баррикадой из-за угла с Малой Дмитровки осторожно выдвигается штык.

— Солдаты!..

Их еще не видно. Они подбираются цепью по стенке. И, не выставляясь сами из-за угла, направляют в уличный рукав винтовки. Угол Чичкинской молочной сразу обрастает щетиной штыков. И сразу же разрозненный залп — без прицела, без предварительного осмотра улицы. На испуг, или наудачу. Пули щелкают по стенкам домов. Звенят кой-где стекла.

И сейчас же солдаты выбегают из Дмитровки к баррикаде. Уже кой-кто из них торопливо с остервенением тычет в нее штыками, чтобы разрушить: раз она не отвечает на залп, значит за нею никого нет.

Но в этот момент с солдатского тыла сверху защелкали выстрелы, вразброд и по несколько враз. Один из солдат упал. Другой завертелся винтом, но устоял. Третий рванулся назад. В один момент, захватив своих

раненых, все исчезли за тем же углом, из-за которого высыпались. Пред баррикадой осталась лишь неподобранная солдатская бескозырка.

Это, очевидно, не было наступлением, а только разведкой. Улица вновь успокаивается. И скоро опять зачернели под воротами кучки, начались перебежки от дома к дому, с тротуара на тротуар.

На другом углу дома Персиц другая баррикада. Она запирает Оружейный переулок. Там как раз оказался между двумя баррикадами — от Тверской и отсюда — полицейский участок. Городовые непрерывно поодиночке выглядывают из ворот на обе стороны. И сейчас же прячутся. Выйти из ворот, даже выставить из них целую голову, они не решаются. Их стерегут баррикадники и сейчас же берут на прицел. Два студента — один с винчестером, другой с охотничьей двухстволкой — взяли на себя эту задачу наблюдения за участком. Винчестер новехонький. В ноябре мы много их закупали в московских магазинах для боевых дружин. Их продавали тогда десятками без особых формальностей. Буржуазия всегда готова продать даже оружие для восстания против себя. Потому что не ей же придется потом стоять перед этим оружием.

— Смотри, смотри...— выглядывает! — переговариваются дружинники громко.

— Спрятался, сукин сын!

— Это околодок! Только шапка городового, а плечо серое...

Винчестер бьет с наметки. И сейчас же из ворот участка выскакивает фигура, стреляет в сторону баррикады из револьвера, и моментально скрывается обратно. Второй выстрел винчестера уже запоздал.

Двоих они все-таки подстрелили. И подстреленные втянуты были в ворота их невидимыми товарищами.

Если бы городовые были немного смелее, они без труда могли бы через баррикады прорваться. А теперь они отсиживаются до сумерек, когда можно будет из этого зажима переодетыми выбраться.

4

Ночь прошла спокойно. Баррикады охранялись. И нападений не было. Является желание пойти на разведки. Наш мир между баррикадами и двумя рядами домов, как в большом ящике. Недостает только крышки, чтобы оказаться совсем закупоренным. Не знаешь того, что кругом. Не уверен в том, что ты не один. Хочется знать, что делается в других местах.

В редакции на Никитской остались 2-3 винчестера. Их необходимо извлечь и пустить в дело. Идем вдвоем на вылазку через Малую Дмитровку, совершенно свободна от баррикад. И по ней свободный выход к Страстному.

На Страстной много спешенных драгун, кучками в разных местах. Но движение по Тверской и бульварам обычное, как всегда. Попадаешь как в другую страну. За две улицы за спиной — состояние войны, баррикады, боевая настороженность, выстрелы, ружья на-изготовку. Здесь — беззаботная, чуть не фланирующая толпа. Разговоры, смех, шутки, как будто ничего особого не случилось. Ездят извозчики. Спокойно гуляют и сидят на бульварах.

Вешаем оружие на шею, под пальто, дулом вниз. Винчестер портативен и легок. Если осторожно шагать, дуло из-под полы не выглядывает.

Возвращаемся старым путем по Тверскому. Он уже перерезан серой шеренгой солдат. Около градоначальства патруль обыскивает всех проходящих. У Богословского переулка на другом тротуаре то же самое.

— Нарвались с ковшом на брагу...

— Назад...

Возвращаемся в студенческую пивнушку в конце Тверского. Из окон видно, как бульвар быстро пустеет.

— Теперь куда?..

— Через Бронные.

— Не пройдем.

— Попытаем.

Бронные и Козихи — Латинский квартал. Кривые путанные переулки и тупички. В них запутаешься и без баррикад. И за каждым поворотом маленькая замухрышная церковь на курьих ножках.

Баррикады сплошь одна за другой. Здесь много студентов. И здесь своя баррикадная республика. За баррикадами густо. Не менее густо и между баррикад. Так что трудно определить, которая сторона баррикады обращена к врагу. Он еще не появляется пока.

Чем дальше, тем настороженнее дозор. Тем труднее пропускают.

— Можно выбраться на Тверскую?

— Нельзя. В Палашевском не выпускают.

— Как же теперь?

— Обратно, по бульвару.

— Это не подходит: там обыскивают.

— Уже?.. А вам хочется обойти?

Не то студент, не то рабочий. Смотрит на нас сбоку понимающим смеющимся глазом.

— Другого пути нет.

— А кто у вас начальник?

— У нас нет начальства. А вам зачем?

Смотрит уже прямо и подозрительно.

— Переговорить надо.

— Для этого начальник не нужен... С ним вот переговорите, если нужно.

Кивает в сторону другого такого же, не выделяющегося от прочих.

— Сергей, иди сюда...

Такой же молодой, но более сосредоточенный. И тоже не то студент без формы, не то рабочий. Он переходит от одной группы к другой. Тихо с ними беседует. И, повидимому, распоряжается, как набольший.

— В чем дело?— Меряет нас глазами от шапки до башмаков.

— Хотят переговорить.

— Идите.

И сразу повертывается спиной. Идем за ним на ближайший двор. В угол между помойкой и стеной соседнего большого дома. Ни с улицы, ни с двора нас не видно.

Рассказываем, как попали сюда. Он минуту пощипывает ус, думает.

— Если провести через Палашевский, на Тверскую, пожалуй, не выдеретесь — тут есть шпики — схватят, и пропало оружие... Или у нас оставайтесь, или оставьте оружие. Потом возвратим.

И сам засмеялся над таким обещанием.

Снимаем и вручаем ему винчестеры. А браунинги подвешиваем под белье между ног. Авось не нащупают.

Дружески, тепло расстались. И тем же путем возвращаемся к бульвару. На тротуаре вдали группа солдат оглаживает сверх пальто каждого. Едущих в экипажах не щупают, а лишь откидывая полость смотрят под ноги и под сиденье.

— Извозчик!.. Малая Дмитровка.

Едем к патрулю, как чистая публика, с которой патрули еще пере-

монятся. И все-таки нас просят вылезть и слегка оглаживают сверху вниз.

Извозчик довез только до половины Дмитровки.

— Боязно, еще, пожалуй, подстрелят!..

Пришлось добираться до Садовой пешком.

5

Вечер. Опять падает мягкий снежок. Луна затемнена облаками. На улице мягко и легко дышится.

Прохожих нет. На баррикадах спокойно. Оставлены только дозоры. Основные кадры в ближайших квартирах и чайной. Они ежеминутно готовы к тревоге. И их позовут при малейшей опасности.

Большим искушением является сейчас выйти за пределы своего ящика. Пробраться по теневой стороне совершенно пустынной Малой Дмитровки к центру. Идешь, как по огромной сплошной деревне, где рано ложатся спать, и берегут огонь. Не лают даже собаки, потому что во дворах их нет. Они в хозяйских комнатах по ту сторону баррикад. А бродячие, вероятно, пугаются тишины и подались к центру.

На Страстной площади — кусок боевой жизни. Против монастырских ворот горит костер, как на привале в поле. Огонек не столько от холода, сколько для того, чтобы охотнее было людям коротать обезлюдевшую длинную ночь.

Около костра толкутся солдаты. Сидят на-корточках, стоят на ногах. Одни отходят, другие приходят. Огонь кровавит лица и режет их тенями. Но они весело смеются, перебрасываются шутками. Около них козла из ружей. Их можно прощупать глазами только потому, что огонь отблескивает на штыках.

Под воротами «Русского Слова» в нише темнее. И оттуда видна вся площадь. Глаз нащупывает по углам Тверской и около Пушкина другие живые сгустки. Около них нет костров, и они так сливаются в темноте ночи, что нельзя определить, солдаты ли это. Но можно об этом догадываться: от темных пятен к костру и от костров к пятнам подходят и отходят солдаты.

Очевидно, центр охраняется. И очевидно, любопытство может быть расцениваемо, как неприятельская разведка.

Надо играть назад. И отступать осторожнее, чем шел сюда.

И теперь та же Дмитровка смотрит и дышит иначе. Не как большая, спящая мирно деревня, а как враждебный, затаившийся, угрюмый форпост оставленного за спиной военного лагеря. Завтра, и даже сегодня, сейчас он может принять артиллерию. И за каждыми воротами, в каждой нише, в каждом дворе могут оказаться взводы солдат, отвоевывающих у рабочих каждую баррикаду, каждую улицу.

В нашем участке все совершенно спокойно. Обитатели вечером уже не выходят на улицу, не толпятся под своими воротами. Мещанское любопытство за два спокойных дня уже утомилось и израсходовалось. Все спокойно сидят или спят по своим норам. Баррикады их не тревожат. На баррикады тоже не нападает никто. И пусть их охраняет тот, кому они нужны.

Здесь нет рабочих. И на баррикадах неукоснительно дозорят лишь 2-3 дружинника из молодежи, повидимому, студенческой. Да и им, очевидно, не так интересно охранять то, на что не посягает никто, и чем окружающие так слабо интересуются.

И эти пара-тройка дозорных по-честному, искренно даже довольны, когда останавливаются около них захожие и прохожие люди. Вступают с дозорами в разговоры, добродушно спрашивают, даже щелкают кодаками.

— Зачем вы позволяете себя снимать?

— Что же, пусть побалуется.

— А если это шпики?..

— Ну... едва ли: они теперь все попрятались.

Наивность, доверчивость, добродушие баррикадных бойцов отмечают, кажется, все революции. Они дерутся как львы, когда непосредственно на них наваливаются озверелые, тупые солдатские массы. Самоотверженно, с исключительным геройством, свойственным только защитникам баррикад, защищают свои самодельные крепости от врага вдесятеро сильнейшего. А в перерывы между боями — это просто люди, доверчивые, хорошие люди, которые отгоняют от баррикад даже кошку, мимоходом проявившую интерес к наваленным в груду ящикам.

И это самое слабое место баррикадной борьбы.

6

С утра от Страстного неожиданно и резко ухнуло. И второй раз, третий. Ни у кого нет сомнения — пушка. Собравшиеся на улице кучки сжимаются, оглядываются за спину на ворота. И продолжают прислушиваться.

Подбираются и выпрямляются дружинники, тоже в кучках, у концов баррикад. Это уже не вылазка солдатского взвода. Это настоящий артиллерийский бой.

Опять ухнуло. Кучки под воротами поредели. Но еще остаются. И от ворот до ворот, как по цепочке, передается:

— Стреляют вдоль Тверской... Баррикада разрушена.

Та самая, которая так четко сколачивалась в первый наступательный вечер.

Ожидание нависло над улицей. Напряженное тревожное ожидание наступления, которого отсюда не видно, которое в каждую данную минуту может стать реальным разрушительным фактом из-за любого угла, от любого закругления улицы.

Застрекотал пулемет. И этот стрекот так четко и явственно доносится из-за крыш от Страстного: ясно — он водворен на монастырскую колокольню.

От Тверской поперек Садовой стремительно развертывается сплошная серая цепь. Медленно и сторожко двигаются солдаты плечом к плечу, ружья на-изготовку. Они оглядываются по сторонам через каждый шаг. Они ждут нападения с крыш, через окна. При малейшем подозрении винтовки готовы вскинуться и ответить залпом.

Улица затаилась и опустела. Баррикада наша теперь пуста: солдаты подходят с внутренней ее стороны, с тыла. И дружинники успели уже перевернуть диспозицию. Они превратили затылок баррикады в ее лицо. И сосредоточиваются на чердаках противоположных уличных углов. Солдаты медлят стрельбой, потому что стрелять не в кого, врага не видно. Дружинники молчат, потому что из револьверов на таком расстоянии стрелять нет смысла.

Но разрозненный солдатский залп все-таки разорвал напряженное безмолвие. Он был пущен так, зря, в направлении баррикады, которая безмолвно приняла этот залп. Потому что живая баррикада была уже над мертвой целью, наблюдала за солдатами через баррикаду из слуховых окон.

И солдаты далеко не дошли, чтобы ее разрушить. Так же медленно и крадучись, как наступали, они начали отступать... Вероятно, увидели то,

чего не могли видеть дружинники, потому что это оказалось у них за спиной...

С Петровки от Каретного ахнуло. И угол дома Персиц, около баррикады зазиял большой брешью. Вековой кирпич обнажил свою первоначальную краску свежей кровавой раны. Посыпалась штукатурка. Окна без звона оказывались без стекол.

Новый снаряд ударил рядом с первым под крышу. И дальше уже пошло только баханье и треск разрывавшейся над дворами шрапнели.

Оставалось лишь слушать трехстороннюю канонаду: от Страстного, с Каретного и от Сущевского участка на Долгоруковскую... Около Каретного облитый солдатами керосином пылает газетный киоск. Улица, насколько хватает с крыш глаз, совершенно пуста. Не видно даже солдат. Не видно артиллеристов. И если кой-где в районе и говорят еще револьверы и ружья, то за буханьем их не слышно...

Артиллерия замолчала лишь к сумеркам. Баррикада у Дмитровки, как Каретного, как вероятно и ряд других по Садовой, осталась цела. Но замолчала. Дружинники пришвартовались к другим. А здесь слишком очевидной оказалась невозможность загородить ими такую широкую нерабочую магистраль, как Садовая. Даже Божедомка и Бронные могли успешнее и дольше держаться, чем эта магистраль.

И нужно отдать справедливость — правительство научилось у Японии воевать. И достаточно умело применить эту выучку у себя дома, против внутреннего врага. Но если оно выдвигает артиллерию против револьверов, то что оно сможет выдвинуть, если в руках восставших окажутся хотя бы лишь пулеметы?..

Вечером стали просачиваться вести: Садовая очищена от Самотеки до Кудринской. И чуть ли даже не от Красных ворот. Держатся Миуссы и Грузины. Солдаты пытались проникнуть на Бронные и Козихи от Тверского бульвара и от Садовой. Но атаковали нерешительно, небольшими отрядами. И скоро прекратили попытки. Не могли совсем проникнуть с Кудринской на Пресню. Вся остальная Москва, кроме центра, продолжала стрелять...

7

С утра район уже втянут был в уличное движение центра. От Тверской к Каретному и обратно не было никаких препятствий. Не собирались под воротами кучки, всегда готовые в случае надобности податься назад во двор. А свободно выходили из-под ворот люди и направлялись в любую сторону.

Баррикады еще стояли. Но бездействовали, очевидно, забытые и солдатами. И около них толкались уже дворники, высматривая нужный им скарб, взятый с их дворов.

По Тверской двигались густо. Кой-где приводят в порядок магазины. Тверской бульвар пустует. Но это, вероятно, для удобства патрулей. Они стоят по бокам проездов на тротуарах. И в десять рук одновременно ощупывают каждого проходящего.

На углу Малой Бронной в Романовке (древняя студенческая меблирашка) между окнами второго этажа разбиты простенки. Здесь было вывешено белое полотнище с красным крестом. И с противоположного бульварного тротуара жарили по этому кресту из пушки. И теперь сквозь громадные пробоины глядят на улицу комнатные потроха.

Наша редакция неприкосновенна. Но управляющий домом, какой-то старый полковник, собрал во дворе кучку черносотенцев. И они под вечер

через забор подстреливают проходящих по Чернышевскому переулку «длинноволосых» интеллигентов.

Только теперь, после пятидневной баррикадной практики, приходят в голову все эти кривые и тесные переулки между Тверской, Никитской, Воздвиженкой. И по другую сторону Тверской, Б. Дмитровкой, Петровкой!.. Чрезвычайно удобные для баррикадного наступательного продвижения к центру. Все эти Брюсовские, Кисловские, Кривоколенные... При своевременном захвате их баррикадами, так же как Козих и Бронных, войскам негде было бы маневрировать и развертываться.

И здесь как раз гнездо белой кости. Она собирает здесь черносотенцев и пакостит через заборы. Баррикады под носом у нее нагнали бы ужас. И этот ужас мог повести к замешательству власти.

Но так до сих пор ведется в баррикадной борьбе. Где баррикады особенно нужны, чтобы парализовать военные маневры правительства, там их некому сооружать — нет рабочих. И потому наиболее революционные и боевые рабочие окраины всегда оказываются подверженными двойному риску поражения: и потому, что только защищаются, а не наступают на центр, и потому, что оставляют ему возможность спокойно обдумать, осмотреться и развернуть свои силы на территории.

В редакцию сходятся кой-кто из сотрудников. Разговоры немногословны, отрывочны. Только о последних впечатлениях по пути сюда.

— У Охотного военный лагерь — всех обыскивают...

— У Манежа нашли у женщины в муфте револьвер, чуть тут же не пристрелили. Увели с конвоем.

— Со Страстной колокольни по Бронным поливают из пулемета...

— Типографию Сытина обстреливают из пушек...

— Солдаты отказываются выходить из казарм...

— Говорят, направляют из Питера полк, но Николаевская дорога не пропускает. Взрывают мосты...

— Пресня держится крепко. Туда не суют носа...

Замечания сыплются без конца, зараз по нескольку.

Здесь не заседание, где говорят по-очереди. Каждый завернул на бегу, попутно, чтобы поделиться своим и услышать чужое. Потому что всем некогда, и все пришли только за информацией. Поэтому говорят все враз. Голоса отрывисты по-боевому. Моментами кажется даже, что от них пахнет порохом. Настроение под'емное, бодрое.

Но сюда многие не могли выбраться.

Вениамин — на Пресне, Котяков — в Замоскворечье, Квятковский — в Хамовниках, Иннокентий — в Симоновской слободе.

Везде борьба еще развертывается. И все должны быть на своих местах.

ОТ ЗЕМЛИ И ГОРОДОВ

Из Маго в Тахту

М. Шкапская

1

Маго — бухта на Амуре в сорока километрах от Николаевска, куда заходят иностранные и наши пароходы грузить экспортный лес.

Маго нынче сердится на то, что в де-Кастри создается новый порт,— уверяет, что и его еще можно рационализировать, и что оно тоже может солидно увеличить свою пропускную способность.

Всегда в новом строительстве две линии: одна — использовать имеющееся и двигаться понемногу, другая — все наново и все сразу.

Каждая линия имеет свои права на существование — надо только каждый случай рассматривать не отдельно, а в общей связи с государственным планированием. Ведь даже в маленьком хозяйстве есть какой-то предел, до которого носки надо штопать, а за которым следует купить новые.

Как класть доски в пароход, чтобы уместить побольше и чтобы нигде и ничто не выпирало,— ездят учиться здешние стивидоры в Архангельск к старым лесным работникам. А как класть государственные проблемы в социалистический пароход, чтобы нигде не выпирало — ни к кому учиться не поедешь,— учимся на ходу. Может быть, и ошибаемся иногда, но результаты покрывают ошибки.

А пока вопрос решается, Маго несет честно свои портовые обязанности.

Напрасно только было бы представлять его себе в виде настоящего порта. Маго просто узенькая ленточка деревянных домиков, стиснутых между глубокой бухтой и высокой сопкой.

Здесь квартиры постоянных рабочих и служащих, портовое управление, контора Дальлеса, изба-читальня, в которой подлинный интернационал в миниатюре, куда заходят японцы, корейцы, гиляки, гольды, английские и китайские матросы. Здесь жилое, оседлое Маго — на этом берегу.

А на другом — тоже в линеечку — вытянулись бараки грузчиков; здесь Маго пришлое, кочевое, временное, сезонное.

А между двумя берегами в линеечку же выстроились иностранные пароходы, пришедшие за лесом.

Амур часто бунтует и держит плоты в рыжем плену. Стоят тогда и нервничают пароходы, а мы платим простои. Вот и эти дни стояли пароходы безработными, но сегодня прорван враждебный фронт — глухой гудок, и показался из-за мыса пароход, а за ним послушное стадо из восьми тысяч бревен. Есть чем заполнить брюхо не одного парохода.

Летит дежурная моторка, засуетились грузчики на берегу, команды на пароходах, и вплавь кинулись навстречу плоту ребятишки и девушки, едиными интересами, единой кровью живет Маго.

И вот уже все за работой. Ветром прибивает сплоток к высоковознесенному борту какого-то очередного «мару». Внизу человек и спасательная шлюпка. Кольцедером — большим железным когтем — надо вырвать кольца из ряда бревен. А в это время сверху, с парохода сползает цепь с крючком. Зацепил ею бревна, крикнул, прыгнул, наверху завизжали старые лебедки, и поехала наверх качающаяся связочка, с добрую сотню пудов весом,— знай беги, да сглядывайся, да отскакивай, чтобы не хватило сразмаху цепью или бревном. А под ногами мокро, и скользкие бревна вертятся под человеком. И хорошо летом, а осенью, когда свирепый амурский ветер враждует с человеком за каждое отнятое бревно?..

Раз ускользнул, два, десять, сто, тысячу. Но в одно серое утро человек не выспался, или слишком ревел ветер, или он выпил рюмку, подвернулась нога — и разом сомкнулись рыжие волны.

Вот для чего нужна спасательная лодка. Но иногда и она не помогает. Вчера как раз утонуло двое: один соскользнул, другой кинулся на помощь и так и не всплыл из-под бревен,— где-нибудь в океане, у пустынных Охотских берегов, выбросит их размокшие трупы.

Весь день под ветром и смертью — тяжелым трудом дается еще нам наша жизнь, наша оборона. Еще не везде тяжесть дружески переняла машина и фронт не только на фронте,— он и против суровой природы и против враждебного окружения. Для того, чтобы радость реяла над будущим миром, не мы ли, пионеры в диких капиталистических джунглях, расчищали их нашим упорным и тяжким трудом для того, чтобы эта тяжесть была последней, будь то в шахте, на погрузке или над ржаной полосынькой. Поэтому и не страшен этот труд.

Но хуже другое. Худо то, что в таких окраинных пунктах еще темп жилстроительства и культстроительства отстают об общего роста.

В Маго бараки для грузчиков — настоящее свиное жилище — стоят над водой, лезет трава в щели крыльца, двери стоят без крючков, нары когда застланы, когда нет, и влажный сизый пар стоит от мокрой одежды, потому что до сих пор не выстроена сушилка.

Правда, старые грузчики вспоминают прежние дни, когда никакой прозодежды не было, когда резиновые сапоги считались баловством, но разве нам на старое равняться? Мы хотим, чтобы была не только прозодежда, но чтобы она была сухая, не просто были резиновые сапоги, а были во-время.

Многим оправдываются экспортные организации:

отсутствием людей,

отсутствием средств,

тем, что кирпич в Хабаровске 45 рублей тысяча, а здесь 80.

Дальневосточные организации больше других имеют право на об'ективные причины. Но никакие оправдания не помогают, когда видишь людей, валяющихся в грязи.

Особенно непростительно это по отношению к китайским рабочим, которым мы должны много возмещать за прошлое и показывать пример для их собственного будущего.

2

А китайских рабочих много — и здесь, как везде, выделены ими старшины-подрядчики, которые их же обирают, и в грядном бараке за ширмой живут старшиновы жены с нарисованными бровями. Китайская дубинушка звучит чаще русской в бухте. Есть у них запевало — он не работает,

получает на разряд больше,— как же, все-таки рабис; он-то и тянет надрывное, а рабочие только подкрикивают.

Велик закон подмоги — греки гребли под флейту, наши бурлаки выдумали дубинушку. А кто изучал китайскую дубинушку? Странное устройство ума у исследователей: ведь каждая дубинушка каждого народа первая должна броситься в глаза — живое проявление живого народа — раньше стихов, раньше философии, но... это в жизни, а то в книге — какой книжный, отвлеченный, непроверенный характер носит вся наша старая наука!

И надо видеть, как иностранцы — и работающие у нас и пришлые с пароходов — ко всему нашему присматриваются. Особенно японцы, у которых на судах до сих пор процветает откровенный мордобой. Для них резиновые сапоги у грузчика — событие, красный уголок или изба-читальня вызывают неослабный интерес, они ходят даже на чистку — так велика их страстная жажда воочию видеть, как живет социалистическая страна. И все им расскажи — что такое соцсоревнование, что такое ударничество.

Но еще сильно забыты некоторые такие углы. Хотя и в Маго уже сдвинулись с места — строятся печи в бараках, заканчивается постройка столовой, хлебопекарни, кухни, помещения под театр и кино.

Но театр существует и так, без помещения: группа любителей из оседлого Маго удачно разыгрывает современные пьески. Непосредственный и наивный амурский зритель с противоположного берега часто активно вмешивается в разыгрывающуюся перед ним трагедию. Лежит, скажем, Фрося на печке, и не видит, что белогвардеец заглядывает в окошко, и внезапно вопль несется из зрительного зала:

«Эй, Фрося, удирай!»

А недавно в защиту какой-то Фроси разряжен был и револьвер из зрительного зала.

Видимо, на Дальнем Востоке, где еще свежи воспоминания о гражданской войне, где каждый третий зритель — ее участник и партизан, еще нельзя касаться безнаказанно некоторых тем. Какой урок поджигателям-интервентам!

А по поводу непосредственности вспоминаются невольно пловучие театры на Миссисипи, которым приходилось иногда прерывать пьесы или изменять конец, потому что горные и бородатые люди на галерке спешно начинали заряжать ружья в защиту героини.

Все клондайки схожи между собой — но как характерно, что наша героиня не просто мисс такая-то, а всегда идея.

В дни, когда мы были в Маго, происходила как раз чистка. Чистка в Маго — это колоссальное событие; на чистку уходили все, уносили с собой младенцев, кончилась охота, купанье, всякая частная личная жизнь, даже хозяйки перестали готовить обед,— больше того — чистка заставила служащих перейти на общественное питание, по одной дежурили жены местных партийцев и придумывали кисели да каши, да разные хантубрики, пока остальные сидели на чистке.

Как жаль, что никто по всему Союзу не ведет записей этих человеческих исповедей.

Правда, иногда на чистке наслушаешься и ерунды:— «Начал я свою революционную деятельность подле отца-рабочего — по разноске прокламаций...», будто как булки разносили прокламации в старое время, и было это таким массовым явлением. Или в Хабаровске восемь часов допрашивали ответственного работника, действительно ли он целовал ручки машинистке и что при этом испытывал, а чудак не мог просто ответить, что целовал,

и это было ему приятно, а пытался все время подыскать этим поцелуям идеологическое обоснование.

Но зато какие иногда героические автобиографии, которые переключаются в биографию самой революции! Какие характеры, какие типы, ждущие своего отображения, и какой массовый контроль! Где-нибудь в Маго или на Сахалине попробуй кто-нибудь из чистящихся солгать или преувеличить, непременно из дальнего угла, откуда-нибудь из-за печки, мужественный и правдивый голос скажет: «Братишка, не заливай! — Я тоже был в этом же бою»,— потому что массовым было революционное действие и чистым и четким в основных линиях, и миллионные свидетели и участники ходят и живут рядом с тобой.

И эти отрезки гигантской эпопеи, никем не записанные в суматохе житейской, безжалостно растериваются и забываются. Когда дождутся они своих отобразителей?

Но мы ведь недолго в Маго, только на перепутье, какой-нибудь час — и мы отплывем дальше. Куда?

3

«Пойдем, пока не уткнемся носом в берег...»

Это почти точное определение нашего маршрута по озеру Орель.

А зачем мы двигаемся из Маго в эту глушь?

Потому что крестьянин местный Кузнецов «нашел» лесные массивы, да еще экспортные леса,— надо специалистам проверить и ознакомиться.

Да, да, не больше и не меньше — лесные массивы на много десятков километров и вдоль реки, значит, удобные для сплава.

Что ж, если в Якутии Обручев года четыре тому назад «нашел» горный хребет выше Кавказского,— почему Кузнецову из Маго не открыть массива? И не совсем открыл, конечно: когда-то даже немного плавили лес оттуда, но это не были географически уточненные места, нанесенные на карту, а лишь промыслово известные.

Ведь если вы посмотрите на карту Дальнего Востока, озеро Орель показано везде глухим, без входящей в него реки — в левом углу, а между тем мы собираемся именно на эту, пока не существующую реку.

Вышли из Маго протоками, вышли в озеро. Утка взвилась.

«Нечем стрелять»,— вздохнул кто-то из команды катера. Озеро как море, и одна случайная халка идет под парусами, тянет людей и продовольствие на золотые прииски, которых рассыпано в этом углу видимо-невидимо.

Стоят вокруг берега сопки, желтозеленая, невинная, первозданная, рериховская лежит кругом земля, и спешно осваивают ее редкие березки. И единственные хозяева здешние — влажные дружелюбные облака перисто и нежно стоят над головой.

На катере мы везем хлеб, соль и примус — об остальном заботиться нечего: привязана к корме дежурная лодка, и одна за другою прыгает в нее совершенно частная рыба — неуклюжие семи-восьмифунтовые толстолобики. Голова большая, а сам дурной, испугался катера и прыгает вверх, а оттуда падает в лодку-самоловку.

И все это без всякого человеческого участия — уха на обед и жареная рыба на ужин на всю команду и на путешественников.

А взяли бы ружье — была бы и утятина вволю, людей не боятся, садятся на воду гагары. Словом, дом на воде, лодка-самоловка и обед под каждым кустом.

Пока готовили обед, пока ели под нежными облаками — мели обозначились цвелью. Спустили шест —

пронос,
лево — мелко,
шесть фут —
четыре...

Это мимо брандвахты едем — дом на воде с балконами, где пловучая экспедиция Авиу собирается нанести на карту новую реку.

Но мы входим в нее, не дожидаясь октябрин. Плывет навстречу, покачиваясь, брюхом вверх, огромный сиг — видно, издох от старости — кому его ловить здесь?

Широкое устье разливом, высокая вода, низкие берега, прибрежный тальник.

Но и без разлива — не уже Москва-реки. Называется она по-местному, кажется, Джипи, но за достоверность поручиться некому, да и не все ли равно, как она называется? Гудим и едем, и сердитые встречают коршуны: «Зачем приехали? Совершенно лишние!»

— Река великолепна — самосплав, нет проток — бревну негде заблудиться.

Это практики оценивают реку, пока плывут навстречу сопки, непрерывно меняя свое очертание и кутаясь в пелену дождя. Какой тихий здесь дождь, падает мягко в траву и в воду — ему не обо что здесь постучать — только вот разве о палубу нашего пловучего домика.

И так мокро кругом, словно мир только что вылупился из влажного морского яйца и, как свежий цыпленок, отряхивает слипшиеся крылья.

4

И через многие километры такой тишины и мокроты деревня Собрание.

Сильно иронический человек дал ей это имя: четыре избы, из них две нежилые, а две Госторга и Охотсоюза. Сено на сваях, чтоб не снесло водой, да бродит теленок на мокром берегу.

Вот и все Собрание. Но оказывается, название имеет смысл — раньше привозили сюда якуты товар на ярмарку, а сейчас здесь идет скупка пушнины от тунгусов госорганизациями.

Тунгусы народ кочевой, водят их за собой олени. Недаром на С'езде Советов 29 года в наказе, не писанном, нарисованном, дохлый жалостно изображен олень и словесно было прибавлено: «Изучите, лечите» — это просят туземцы у советской власти восстановления оленьего стада. Какое великолепное вложение государственных капиталов, какие эффекты, и попутно через 5-6 лет конец всякому мясному дефициту! Ведь еще недавно не было в Америке оленей, от нас же вывезли производителей, а сейчас больше чем полумиллионное у них стадо.

А вот и герой наказа — олешка, какой маленький, немногим больше теленка. А с его хозяином-проводником рассчитывается золотой разведчик, за которым два месяца олешка таскал по тайге продовольствие, намытую руду и всю его походную лабораторию.

Лучшие проводники — местные туземцы: ни одна разведка, ни одна изыскательская партия не обходится без них. Как дитя лучше всего питается материнским молоком, так страна лучше всего осваивается теми, кто в своей кр[illegible]стически несет знание ее природы, ее тайн, ее флоры и фауны, еще неизвестных науке.

И это их-то, хозяев края, мудрейших и приспособленнейших, так тяжеловесно утрамбовывала царская Россия, спаивая, грабя и доводя до гибели целые народности, целые залежи человеческих знаний, достоинства, источники новых линий в мировой культуре.

Живите и размножайтесь, олешки, живите, свободные и мудрые племена,— как свежую поросль, любовно бережет вас советская страна, страна, которая, даже еще не оправившись сама от тяжелых испытаний за эти короткие годы, так просто и безболезненно прекратила ваше вымирание, так, на лету, подхватила и поддержала истлевающее пламя вашего существования.

Идем сушиться от первозданной мокроты в одну из изб.

Несколько человек, рассказ на полуслове обрываем охотничий:

«...пошли двое за белками, а спичек не взяли — и замерзли».

«Дурачье,— чья-то короткая реплика,— пиджак-то ведь ватный? Стрелить надо,— и огонь будет».

Огонь здесь еще не печной, не ручной, живет дико, не из спичечной коробки выходит на человечий зов, а из ружейного патрона.

Лица выступают из сгущающегося мрака, неясные и нечеткие.

Двадцать три года живет здесь один из них — этот вот, в синей сатиновой рубахе. Чем живет он здесь?

— Госторг у нас квартиру снимает, а мы им по сбору помогаем. В семь тысяч белок собрали — халка недавно была и увезла.

Это все тунгусы — всем районом — 58 семейств; стойбище их в полуверсте отсюда, вверх по реке.

В голосе собеседника исконная старинная вражда к тунгусам.

— Лентяи,— сидят на госдотации, всем должны.

Да, нынче, дружок, не оберешь тунгуса за бутылку водки. Немудрено что враждебные ноты. Немудрено и то, что на вопросы отмалчивается.

— А еще чем кормитесь?— Потаенный взгляд.

— Кета летняя, кони да коровы двенадцать голов...

— Для себя одного? Ой ли?

Тихая жизнь скользит по комнате, смышленая бегает девочка. А у него такой хищный нос, острые глаза, сквозит в каждом движении бывший золотой хищник. А может быть, и не бывший, наверно и сейчас где-нибудь моет на речке по близости от дома — здесь далеко ходить не надо: везде так, в тайге,— у каждого заветный ключик. И еще — по близости, это может быть и 70 и 90 верст.

Здешняя жизнь в лесу делала людей хищными, только хищным и сильным давалась она в руки. Или уступала коллективному натиску. Но прежде не поощрялся коллектив: разделяй и властвуй — старый прием. Это только современность принесла новые методы: коллективное переселение, коллективное осваивание диких земель.

Но, может быть, ни с кем этим новым формам не придется так яростно воевать, как с золотом.

5

— В Канаде золото создало Колумбию, заселило Аляску, у нас ему предстоит оживить Амур.

Но золотое оживление — ложное оживление: ничего своего, все привозное — неоседлая, сезонная жизнь, на золоте всегда можно умереть с голоду, видите, какие пустынности!

И широким взмахом обвел молчащие сопки человек в мокром брезенте, только что рассчитавший тунгуса и оленя и принявший от них большие мешки. С чем?

— С золотом,— небрежно машет он на них рукой.— Я и сам золотая кладовая, в карманах и то набиты пробы.

В Собрании это человек случайный, прохожий. Он золотой разведчик Союззолото. Провел в тайге два месяца с двумя рабочими и двумя тунгусами-проводниками. Шли по болотам, тащили за собой поклажу — продовольствие, инструменты; ели медвежатину и белку, неделями питались дикой черемшой. Герои Дж. Лондона? И да, и нет. Те для себя золото добывают, он — для своей страны, для своего государства. Эти люди-одиночки — глаза и уши Союза в самых его глухих уголках.

Конечно, не следует думать, что золото в мешках такое, как на золотых часах. До такого вида ему далеко — в мешках камни как камни.

А разведчик уже приютился под крышей с теленком и спокойно исчисляет золотые запасы Союза.

И разбирая свои мешки, рассказывает понемногу о золоте.

— За время царской войны разведки не велось, а подготовленные площади расхитили во время гражданской. С окрестных сел нахлынули тысячи человек; в районе Могочи, где были кабинетские земли, зачастую останавливались целые эшелоны демобилизованных солдат и прямо с винтовками шли на добычу. Особенно же солидно помогла в растаскивании золота японская интервенция.

Только с 1924 года, с создания Гостреста, стала восстанавливаться оживляться золотопромышленность, а в 1927 году акционерное общество Союззолото окончательно сдвинуло вопрос с мертвой точки: дали средства, улучшили оборудование и впервые от начала войны двинули в золотую разведку.

Амурская тайга очень тяжела для добычи, поэтому в последнее время опять ставится вопрос о старательских работах, которые дадут золото быстро и без затрат. Союззолото оказывает старателям большую поддержку: ни взносов, ни аренды, как это делалось раньше, оно не берет, продовольствием снабжает по себестоимости, золото покупается полной номинальной ценой. Но отсутствие особенно богатых площадей не вдохновляет русских старателей, китайцев же за последние годы становится все меньше и меньше. Амур — бывшие кабинетские земли — в отличие от Забайкалья и вообще никогда не имел своих кадров людей, знакомых с золотом.

В этих условиях разведывание новых площадей с целью развертывания крупной промышленности добычи крайне важно.

Наш разведчик знает, какая возложена на него задача. И, разбирая мешки, сообщает деловито:

— Семнадцать золотоносных сопок подряд. При максимуме энергии — огромные результаты. Разведка у меня не детальная, только поисковая, первоначальная, сперва надо просто определить — золотоносна гора или нет.

— А как вы это делаете?

— В этом,— видите ли, помогают нам спутники золота. Видите, вот камень с желтинкой: где он водится, там должно быть и золото. И выходит, что спутники золоту предатели и вредители. А мое дело простое — задаю шурфы или канавы, беру свежий излом, смотрю в лупу. Потом измеряю сопку, делаю глазомерную топографическую с'емку для определения количества руды. А образцы мельчим, просеваем сквозь сито, плавим и подбираем к ним реактивы. Лаборатория хоть и на оленях, а настоящая, тут можно взвесить на аналитических весах и определить состав. Очень важно знать — упорно оно или свободно обрабатывается, и какое процентное содержание. Уже два золотника на тонну — промышленно выгодно, но... но только при условии, что оно без сульфитов, значит, обрабатывается свободно и — если есть к нему пути сообщения.

Он еще долго рассказывал бы о том, что золото бывает рассыпное и рудное, что рассыпное даже в этой глуши на 75% выработано, а рудное вовсе не тронуто, потому что хищники-старатели вели только примитивную разведку в богатых россыпях.

Но уже кричит призывно и поспешно наш катерок — надо бросать разведчика, золото, оленей, Собрание...

Опять безмолвной гладью реки и озера едем назад — мимо цапли, мимо сопок, мимо брандвахты... корреспондент не сам по себе, и катер чужой, и торопится по своим делам — и даны корреспонденту только обрывки чужой жизни — учись брать на лету самое главное.

6

Спутники мои в Собрании, выяснили уже свои дела — узнали, что по реке выше есть затор, катером к массиву не подойти, и возвращаются обратно для того, чтобы снарядить новую экспедицию. Возвратимся в Николаевск, но по пути еще одно дело: пройдем исследовать одну из проток Амура, нельзя ли при большой воде вести в ней плоты; ведь у нас на катере один из членов наводненческой тройки, озабоченный бесперебойной работой по сплаву.

Но и на катере продолжаются рассказы о золоте — мимо золота не проходят люди без оглядки, особенно здесь, где даже песни сложены о том, как

«золото роют в горах».

Роют его давно, следы золота давние — все ключики, бегущие с Сихорэ-Алинь в море, давно и основательно выработаны и на отвалах успел вырасти столетние дубы.

А русские начали с 60-х годов. Одним из пионеров золотопромышленности называют Мордина — хорошая фамилия, подходящая к этому крупному хищнику, спиртоносу и убийце из Селемджи, родившемуся авантюристом и умершему миллионером.

За истекшие полвека успел сложиться своеобразный золотой быт — с авантюрами, поисками, потайными — от воров — заявками с разорениями и обогащениями, с кутежами, о которых помнят через десятки лет: ресторан разбит, десять извозчиков пустые цугом едут и везут одного человека — сторонись народ, хищники гуляют.

Хищник здесь — это не только этическая норма, хищник — профессия, хищника можно было узнать и по внешнему виду: шаровары из пяти полос из плису, шириной в 18 аршин — с Черное море, лакированные сапоги, бобровая шапка, и не на конях ездили, а баб впрягали; а кончил кутеж до одежи — и опять в тайгу — за чужой счет — «стараться», «хищничать».

Добыча золота шла и хозяйским и старательским путем, хотя и были между ними разные варианты. Хозяйские работы — это когда заработок и время обусловлены, а у старателя гарантийного заработка не было: ставь работы сам, найдешь — твой фарт, не найдешь — сам и расплачивайся. И поэтому старатели были людьми особого типа — не столько золото влекло их, сколько азарт, ожидание, искание фарта. Но так как всякая добыча требует оборудования, и здесь одни эксплоатировали и обогащались, а другие перебивались с хлеба на квас.

Хозяйские работы и лучше и хуже — с одной стороны, как будто гарантия — за сезон 600 рублей чистых с собой уносили, да 300 рублей крали из разреза — эти кражи даже в сметы входили, почти официальные.

А с другой стороны, жили в казармах, в лесу работали на морозе, без празников, и только поило их предприятие за свой счет: выкатят бочку спирту в разрез и поставят в затылок — каждому по «крючку» (кружка) — от болезни и холоду — пили и рыли, и, если семейские, с Забайкалья — степенные и бережливые, так деньги в хозяйство несли, а если пришлые, то ничего в руках не оставалось — все равно будет потом пропито: больная азартная обстановка не содействовала здоровым трудовым навыкам. Ведь не то что стоять у станка — золото особый продукт — даже на драге и то хорошо, большая с'емка — и у всех под'ем, а упала добыча — и настроение падает.

Если действительно существует особый профессиональный отбор, если мясниками делаются убийцы, а в металлисты идут волевые люди, то к золоту тянутся азартные, т. е., вернее, тянулись. Ибо сейчас и золотопромышленность перестраивается на новый лад.

Много различных стадий она прошла, когда была выработана основная площадь — на остатки пришли китайские старатели, дисциплинированные, нетребовательные, непьющие. Но и остатки подобраны. Для того, чтобы взять из земли золото, человеческих рук стало мало — пришла им на помощь драга.

Драга — землечерпалка, идет по воде в вырытом для нее котловане. Годится она только на площадях с большой водой и требует для установки больших затрат.

Целый ряд драг работает в нашей золотопромышленности нынче, может она сейчас с полным основанием быть названа промышленностью. И, как всякая советская промышленность, сейчас она коренным образом изменила лицо золотого рабочего.

— Да, впрочем, вот давайте, заедем на прииск, сами посмотрите.

Так заканчиваются наши разговоры на катере. Заехать на прииск. Куда? На какой?

— Да на любой, их здесь много, рассеяны всюду.

— Надо только так, чтобы у самого берега, а то нет времени,— сердится капитан и дает сроку два часа на заезд.

Совещаемся несколько минут и затем полным ходом двигаем на ночевку.

7

При выходе из Орели наше ночное пристанище деревня Роскошная. Еще более ироническое заглавие, чем Собрание. Трудно представить себе что-либо более убогое, чем эта деревня Роскошная.

У Дорошевича и Чехова такими вот описываются сахалинские деревни — оголтелые и бездомовные, — видно и эти того же порядка. Недаром тут среди поселян так много старых каторжников и их детей, и живьем можно видеть некоторые персонажи Дорошевича, в частности палача-выдвиженца от каторги — Голынского.

Сахалинская и эта деревня — вся какая-то простуженная, насквозь прокисшая от дождя, без единой лампочки; копошатся люди во мраке, ночуют в клетях или на чердаках, куда надо добираться по жердям через провалы в крыше, а хаты оставлены на добычу клопам, проветривают их, пока тепло. Так и говорят — зимой мы в избах живем, летом клопы на сменку.

На единой улочке, которая хуже всякого болота, поперек брошены сети, неводная дрель натянута на изгороди, невод дымится вдали у реки — у них здесь большой лов и хорошая добыча.

Но в первом же доме, куда пришли за приютом (а их здесь всего шесть) с гордостью показывают привезенную из Хабаровска на халке корову стоимостью в четыреста рублей.

Здесь почти всюду так — и деньги есть, а жизни нету,— как еще в таких углах непроветренных не хватает свежего воздуха современности! И жизнь трудная и необжитая — это тут-то, где кругом такие пастбища для будущих шерстяных чулок, где рыбопромышленники обогащались за один сезон, где в каждой речке золото, а рыба сама прыгает на примус.

Видно, в одиночку никому не в силу перевернуть геологические залежи — страна создана для коллективов, и как она ждет этих новых форм колонизации!

Долго ищем ночлега — любезно предлагают любую из хат, но нам не улыбается клопиное соседство, предпочитаем заночевать на катере, на палубе, под брезентом.

Катер здесь, как фрегат на рейде, весь освещен, звенит балалайка, доносится «Мы конная Буденного», и любопытно мечутся вокруг две оморочки с ребятишками.

Тут уж ночует халка, та самая, что мы видели утром, что везет на прииски людей и продовольствие. Они ставят нам самовар, а мы приглашаем их ночевать на катер.

9

А утром амурскими протоками — их тут без числа — отправляемся на прииск.

Поездка протоками — большое испытание — они не изучены, не описаны, рулевой волнуется, а надо для плотов приискать кратчайший и спокойнейший проход, чтобы в шторм проводить в Маго плоты без задержки. К прииску — Тахте — подходим уже в середине дня.

Тахта — маленький речной прииск, он же и резиденция, прямо на Амуре. Несколько домиков белеет под сопкой, курчавится сопка березками и облаками, царапина на теле горы — ключ, по ключу и работают — хозяйские работы за счет государства построены.

«Золото, золото падает с неба...» О, нет, далеко не с неба, вынимают его из темных жадных плотных недр земли, которые яростно оскаливаются на каждого, кто подойдет.

Вот уже часа два, как ходим по золоту. Оно вот здесь, под ногами, в этой вязкой глине,— его я увожу с собой в кармане, вот они, завернутые в бумажку, несколько желтых крупинок.

И чем дальше ходим, тем окончательнее теряем мы к золоту самое элементарное уважение. Воистину только на уборные стоит его оставить, этот желтый слепящий металл, подлинный идол многовековой капиталистической религии. Таким каторжным, таким тяжким трудом оно достается, что никакое золото не окупит этого труда.

Мы в разрезе — неглубокая яма — это производственная единица, золотоносный пласт. По краям черная земля — это снято верхнее одеяло с земли, все что до золотого песка и что на здешнем языке называется торфом.

Забирают из разреза породу лопатами, валят в одноколку, и, тяжко ступая, идет маленькая крестьянская лошадка на высокий помост, на кулибину. Липнет мокрая вязкая глина к ногам, к колесам, к лошадиным копытам, пока доставят породу наверх и засыплют ее в свалочный люк.

Стучит машина, бежит вода, гребками разбивают породу, пока бежит мутный поток вниз в деревянных берегах. А внизу под ситами и решетами

волосяные коврики, на них и осядут желтые крупинки. С'емка — раз в сутки, по вечерам.

Чтобы воспроизвести суть процесса — вот и намыли нам эти золотники. 30 фунтов породы насыпали в лоток — такую грузную, грязную и тяжелую массу — и побалтывали, осторожно наклоняя лоток и сливая жирную мутную воду. Около получаса провозились, пока блеснули в пазах корыта золотинки.

— Мелочное дело, суетливое,— смеется старый рабочий, перебрасывая в корытце золотинки — шерстинки золотого тельца, свергнутого и опозоренного революцией.

В старых курганах находят посуду, когда в древности служила она целям простым и здоровым — социалистическое общество вернет золото к здоровым истокам.

8

Прошли немножко в лес — там пробные шурфы — ищут направление, по которому надо продолжать работу. А искать его хуже, чем кружево вязать, как выразился один из рабочих.

Яма похожа на глубокий глиняный колодец, в ней копошится китаец.

— Лин-Шун-чан, как твоя живи? — кричит ему вниз заведующий.

— Моя живи хорошо. Твоя попробуй здесь.

И он вылез из ямы, весь в глине, и вынес желтую руду на лопате.

Берут пробу с каждой четверти и все время пробуют — промывают вот такие желтые кучки в ближайшей канаве.

Китайцы незаменимые работники на золоте — аккуратные, дисциплинированные, опытные.

— Твоя почему думай его здесь?— спрашивает товарищ Федаков на местном жаргоне.

— А твоя думай зачем просека в лесу?— многозначительно отвечает Ли-Шун-чан, продолжая трясти лоток над канавкой.

И в самом деле, сомкнутая чаща прорезана чем-то вроде просеки. правда, уже давно заросшей.

Но Ли Шун-чан внезапно прекращает промывку, медленно подходит ко мне и осторожно трогает измазанной рукой мой блокнот.

— Зачем книжка тащил?— спрашивает он встревоженно.

Об'ясняю — зачем. Смотрим каждый закоулок Союза, чтобы рассказать потом через газету, — стало ли лучше жить людям после революции.

— А твоя сама не знай?— укоризненно спрашивает Ли Шун-чан и отходит к своему корытцу, оставляя нас взволнованными и смущенными.

Вот какими простыми и мудрыми словами дышит здесь революция, здесь, в этом глубоком лесу, в этой дикой чаще, в тысяче верст от железной дороги.

А чаща, в самом деле, жуткая, такая гущина и тьма, с такой мукой достается каждый шаг через бурелом:

— Нас здесь медведь частенько посещает,— рассказывают рабочие,— пастуха и лошадей на-днях пригнал к самому разрезу, поздоровался с рабочими и ушел, а в двухстах шагах от прииска задрал корову.

Мы уже вернулись на прииск, смотрим, как сменяются. Одноколки остаются, меняют только лошадей. Работают поартельно — семь человек и три коня, смена быстро, по гудку, но медлителен самый процесс возки, а работа оправдывает себя только при быстроте. Это отсталый, малый прииск, не современный, не механизированный.

Но мы и не приехали смотреть механизацию — только нового рабочего,

— Нового рабочего тоже надо искать на больших приисках. И потом, что же вы увидите за несколько минут? — огорчается Федаков.

— Как, что увидим? Увидели же мы вашего Ли Шун-чана и получили от него в полминуты заслуженную отповедь.

Он с сомнением качает головой и ведет нас в бараки.

Их несколько, разных типов, более обжитые с семейными рабочими и совсем никудышные, на скорую руку состряпанные — для последних партий.

И сразу видно — не все хорошо, не все еще так, как надо, не так, как привыкли вы видеть в центре: бараки тесны, пищат младенцы, срывая программу Союззолота, женщинам еще негде родить, и жизнь еще здесь слишком глуха — ни дорог, ни почты.

— Живешь и боишься, что из тебя гиляк выйдет,— смеются все эти песковозы, торфовозы, разведчики, промывальщики.

Есть еще поэтому и текучесть и страшная нужда в квалифицированных рабочих. Но все это упирается только в вопросы переоборудования и механизации. Содержание золота богаче, чем на Урале, но архаическое устройство очень понижает производительность. При условии переоборудования — восемь женщин, особенно, если это золотые специалистки с Урала — легко заменяет здесь двенадцать мужчин, говорят специалисты. А как важна такая экономия здесь, где каждый человек сам ценится на вес золота.

Еще лишнее доказательство тому, что нигде, в самых глухих углах, нельзя оставлять старые методы — везде индустриализация, везде темпы, только они ведут за собой энтузиазм, только они — страховка против упадочных настроений, только они соответствуют потребностям освобожденного пролетариата, который не боится труда, а ищет только приложения своей энергии к стоящему делу.

Но и это только детали. Вот перед нами бараки самого глухого угла на Амуре, и между тем в каждом бараке — красный уголок, висит в клубе стенгазета «Кулибина», где дебатируется целый ряд вопросов, связанных с зажимом самокритики. Есть своя пекарня, заканчивается кухня, склад забит прозодеждой и продовольствием — элегантное масло в белоснежных боченках, белый прекрасный хлеб. Есть библиотека, и что еще важнее — все грамотные,— не за картами, не в кабаке отдыхает золотой рабочий, даже в этом заброшенном углу живут культурнее, чем когда-то в центре.

А лицо нового рабочего? Вот кучка сменившихся оживленно спорит у входа в барак. О чем? Что было правильнее — записываться ли добровольцами против китайских захватчиков, или больше пользы государству можно принести здесь, на своей прямой работе?

— О да, это уже очень далеко от плисовых шаровар, от разбитых стекол, от звериного казарменного быта, от приисковой так называемой романтики.

Беглый визит наш даже не знакомство, это случайный пробег, но и то как много показывает он,— кончено, с ухарскими нездоровыми замашками, с азартом — золотой рабочий такой же рабочий, как и всякий иной. И если кончено со старой приисковой романтикой, то не создается ли новая, советская? Прииск, как идеологический стержень тайги, вместо поездок на бабах — железная поступь рабочих батальонов, а золото? Золото только на службе у социализма; без золотой лихорадки, без азарта, без спекуляции, без хищничества — оно нужно нам только на-время и только для того, чтобы оно перестало быть нужным всему миру, потеряло свою власть над ним так же, как оно ее потеряло над нами.

Солнце на винограде

Дмитрий Борисов

Наливайтесь густые гроздья
И зрейте пышней и быстрей,
Вас греет как лоно матери
Прощальный взор солнца...

Гете.

«Осенние чувства»

1

Дыхание осени прорывается по утрам.

К утру — низкое, черно-синее, в переливающихся каратах звезд, небо уходит выше, оледнеет. От реки ползут по дымчатым садам ленивые пасмы, и холод вишневой зари заставляет человечьи зубы выстукивать дробовую чечетку.

Но восток, разгораясь, гасит последнюю утреннюю звезду, небо из белесо-водянистого переходит в свой естественный голубой дневной оттенок, и, тяжелое, розовое вначале, солнце начинает обогревать озябнувшую землю.

В мастерской совхоза «запускают» трактор.

Он стреляет, перхая вонючим дымом, короткими прерывистыми выстрелами, но потом его ход выправляется, и ровный энергичный гул заполняет широкий, огороженный справа полустолетними тополями, двор. Трактор приводит в движение ремонтно-механическую мастерскую совхоза «Терек».

Уже забегали, засуетились по двору рабочие мастерских в синих измазутенных спецодеждах, поеживаясь от холода и делая торопливые движения, чтобы согреться. Напротив мастерской стоят трактора́, поставленные в ремонт, отставшие от своих товарищей, заброшенных на далекие хутора совхоза — на последние уборочные участки пшеницы, на запашку «паров». У красного запыленного трактора, чья короткая и оригинальная кличка быту Интер, с рогатыми ключами в руках и прочим инструментом наклонились ремонтеры-рабочие. Начинают разборку машины.

Трактор для хозяйства — это человеческое сердце для организма. И когда начинает «пошаливать» человеческое сердце, то его шалости идут в ущерб всему организму.

Не поэтическая заря, а бодрый гул трактора начинает здесь утро. Трактор приводит в движение все мельчайшие мышцы хозяйства, заставляет пульсировать в нем кровь, составленную из шариков машинной и человечьей энергии.

Трактор везде и всюду. Его присутствие видишь на каждом шагу.

Посмотрите хотя бы себе под ноги. Эта земля двора, пыльная и побелевшая от солнца, она вся заштрихована вдоль и поперек колесами проезжающих, уезжающих и возвращающихся с поля тракторов. Множество

человечьих ног, босых и обутых, стирают своими емкими отпечатками эту штриховку.

Но солнце подымается немного выше, и к полудню разольется зной, пока еще торжествующий перед осенью, осторожно подступающей к нему. Трудовая суета человечьих ног сотрет эту штриховку. Пыль, несущая штрихи тракторных колес, сейчас еще влажна, сыра, но она просохнет самое многое через час и начнет дымиться желтыми клубами за пробежавшим в мастерскую тракторным бригадиром.

И этот час близок, ждать его не долго.

Солнце пока еще не уступило позиций сентябрю и быстро входит в свои ежедневные права.

2

Дверь, вымазанная только что зеленой краской, горит на солнце оживленным лоском и пахнет горячим проваренным льном.

У входа белые полированные рубанком доски. Они парадны в своей белизне по соотношению с соседками, черными и шершавыми.

У входа по земле разлиты, разбрызганы известковые пятна.

Ремонтируется винный подвал. Ремонтируется спешно, быстро, чтоб уборку винограда, «давку» свежего вина принять в полной готовности.

Пройдите по двору совхоза, перенырните поток пыли, накатанный тракторами, и посмотрите на свеже выкрашенную зеленую подвальную дверь. Крыша на подвале плоская, белого цинка; особой конструкции кирпичные, из красных перешедшие в розовые, стены. Стены низко всажены в землю. Над землей выведен первый этаж. Два еще этажа уходят в землю, и они-то, собственно, являются подвалом для вина.

По цементным ступенькам, окропленным известкой, проходите в колодезную прохладу коридора. Где-то над головой, из какого-то окна сочится свет.

«Конторка» подвала (ее размеры не позволяют рабочим называть ее конторой) помещается в первом этаже. Низкий потолок, шкап с приборами, резиновые рукава, трубки, лейки-разливалки развешаны по стенам в промежутках между плакатами. В углу «конторки» железные, вправленные в цементный пол, перила лестницы, ведущей вниз.

У стены столик, крытый прозеленью клеенки, несколько табуреток вокруг. Девушка-практикантка из окрестного сельхозтехникума, виноделка в недалеком будущем, мыла в белом ведре цинковые лейки и проливные трубки. Она помогла мне извлечь из нижних этажей подвала винодела, которого забросила туда забота о ремонте.

Его ждал не только я.

В конторке уже сидели два представителя из Прикумского колхоза. Представители были запылены дорогой и обменивались, в ожидании винодела, мнениями об оборудовании помещения. Мнения эти были положительного свойства, ибо подвал был действительно хорошо оборудован. Главное, у него несколько гидравлических прессов, которых за сотню километров вокруг не найдешь, что называется, днем с огнем.

Показалась над лестницей голова винодела в летней фуражке, человека средних лет, с здоровым украинским типом лица. (Выяснилось потом, он действительно уроженец Украины.) Колхозные представители, не успев как следует поздороваться, сразу же приступили к виноделу с делами, которые привели их сюда под солнцем, сквозь неимоверную пыль бездождья.

— Товарищ Веселовский, мы думаем заполучить у вас пресс...

— Нну! — шутливо поглядел на них винодел.

— Мы были,— они назвали соседнее огромное село, почти исключительно занимающееся виноградарством..— И нас направили к вам. Говорят, вы ими богаты.

— Теперь-то мы не особенно богаты,— говорит винодел,— один большой пресс мы отдали в зерносовхоз «Гигант», правда, взамен приобрели два маленьких.

Они завязывают длинный профессиональный разговор о прессах, о предстоящей виноградоуборочной кампании.

Люди в результате получасового общения друг с другом становятся на более благоприятную почву отношений. В итоге всего, путем договоренности с дирекцией, колхозные виноделы улаживают свои дела. Пресс на «давку» винограда им дают.

— До вчерашнего дня у меня здесь стоял немецкий,— это винодел совхоза Евгений Федорович говорит о прессе, взятом им у немцев-колонистов.— Вчера я отвез его обратно на грузовике...

На восток от совхоза, на покатое степное взгорье, серое от зноя, убегает зигзагами дорога. Километрах в сорока от совхоза там одна за другой разбросались по степи немецкие колонии, поселки, которые здесь для облегчения произношения зовут «колонками». Впрочем, это слово склоняют каждый по-своему: немецкий колонок, немецкая колонка. Эти колонии об'единены ныне в колхозы. У колхозов советские названия на немецком языке. Один из этих колхозов носит, например, имя «Октобер Функе».

Тов. Веселовский путем добрососедских отношений занимает у немцев, когда это надо, различные приборы. Весной приобретал у них рассаду, виноградную «школку» для питомников.

Все это лето стояла небывалая даже для этих мест жара. Старики-старожилы уверяют, что таких зноев не было более десятка лет. Кормовые травы посохли, выгорели, пшеница кое-как спаслась и дала, в общем, средний урожай.

У немцев виноградный урожай в этом году плох; посохли виноградники. Степные их виноградники живут без искусственной поливки, чего нельзя сказать про совхозовские,— у них была поливка. Кроме всего совхозовские виноградники расположены на почвенном отрезке, находящемся несколько ниже, нежели у немцев. Виноградники немцев переваливаются с пригорка на пригорок в открытой степи без всякой защиты, хотя бы со стороны садовых деревьев.

Урожай винограда в «Тереке» нормален — то, что принято называть средним. Урожай от этого лета ожидали выше среднего, строя виды на будущее из весны. Но уже поздней весной прошла полоса сильных похолоданий, благодаря чему цветение прошло очень поздно. В остальном, в небывалую летнюю жару выручала поливка.

У совхоза двадцать пять гектаров виноградника.

Эта цифра включает в себя также и участки молодого винограда, еще не плодоносящего. В этом году в питомнике засажено восемьдесят пять тысяч черенков винограда сорта «Сильванер» и «Пино-Гри». Черенки эти Евгений Федорович на языке своей профессии называет «виноградной школкой».

В виноградарстве огромное значение имеет своевременное обрызгивание виноградных побегов от филоксеры и еще нескольких видов грибков, которые губят растение. Брызгают больше всего раствором медного купороса, бросают в воду и распускают в ней бирюзово-голубые острогранные кристаллы.

Весной, когда вырезные светлозеленые листья винограда завьюся вакхическими вензелями вокруг таркалов (шестов), покачивая под ветерком тон-

чайные спирали усиков, садовый рабочий вскидывает на спину металлический красный резервуар опрыскивателя. Циркуль ног рабочего-садовника, как школьник, увлекается геометрией. Параллелями курчавых круглых кустов. Резиновая трубка, идущая из резервуара, опыляет кусты мелкокапельным бирюзовым дождем...

Но опрыскивание не всегда протекает в таких беспечных идиллических тонах. Винодельческие хозяйства этих краев часто испытывают острый недостаток в купоросе. Медный купорос уходит в винодельческое дело, в очень большом количестве. И нередко виноделы, обеспокоенные отсутствием этого, исключительной важности материала (гораздо больше, чем курильщики отсутствием табака), рыщут в поисках по соседним районам и городам. Не побрызгай во-время — весь урожай пойдет на смарку.

Лечебный материал имелся у совхоза в достаточной мере, и опрыскиватели шипели по кудрявой листве и таркалам миллионами мельчайших распыленных брызг.

Когда в рабочие районы с обожженных солнцем пшеничных равнин из житниц нашего Союза пошел хлеб, хлебозаготовители начали разрываться по кускам, стараясь выхватить где-либо и как-либо лишний десяток мешков.

Идет хлеб — не хватает тары.

Дайте тару! Скорей, скорей, чтобы красные хлебные эшелоны беспрепятственно могли литься в индустриальное сердце Союза.

Комсомолия страны!

Ты молода, гибка, подвижна, энтузиазм переливается в тебе через край.

Иди на помощь!

Комсомольцы городов об'явили походы за сбором тары.

Трехдневники, пятидневники, десятидневники ударного сбора мешков.

Но, оказывается, хлебная тара не одинока. У ней есть близкая подруга, благо, одно и то же солнце, одна и та же земля наливают зерна пшеницы и ягоды виноградника.

Недостача бочек.

Имеющийся запас с трудом может удовлетворить нужды. Сейчас часть бочек переброшена на молотьбу для хранения питьевой воды. К «давке» винограда закончится молотьба, и бочки свезут на место.

Но этого будет мало. Придется искать на стороне. А приобрести их где-нибудь поблизости нет никакой надежды. Ни один винодельческий колхоз не даст бочек, они будут нужны для своего пользования.

А разместить тринадцать тысяч пятьсот ведер молодого вина — это не шутка!

Уборка близится. Встает ряд сложных ответственных проблем, требующих спешного разрешения.

И Евгений Федорович, забывая о своем возрасте, суется, бегает помолодому, снедаемый роем хозяйственных забот.

3

Буланый крутозадый жеребчик, прядая хитрыми ушами, ловко забивает под копыта мучнистую от пыли дорогу.

На миниатюрной линейке с дребезжащими черными крыльями из жести мы все вчетвером трясемся на хутор Плаксейку, на главный участок виноградника. Интересно происхождение этого названия. Старожилы об'ясняют его так:

— Ну, когда Колонтаров удумал прорыть канаву от Кумы для саду,

он, конешно, посгонял народ крепостной. Что миру-то было? Рыли все под гребешок — и мужики, и бабы, и дети. Плач стоял: отсель и пошло к этой канаве прозвание — Плаксейка, Плаксейка..

В самом деле, от протекающей здесь пресноводной реки, по берегам которой гнездятся фруктовые и виноградные сады сел и поселков, от этой реки на хутор Плаксейку прорыта канал-канава, носящий историческое локальное наименование.

Во дворе совхоза, в зарослях акаций, поражая своими размерами, белизной стен и мудреватой архитектурой, стоит бывший помещичий дом. Дом двухэтажный, с двумя надстройками-башнями над вторым этажем, с деревянной верандой и белыми глиняными колоннами. В этом доме сейчас живут рабочие и конторские служащие совхоза, и каждое утро звонкогорлая детвора катает с песнями и криками детскую визгливую коляску по этой просторной деревянной веранде.

История этого дома идет из эпохи царствования Екатерины II, которая подарила этот участок земли с лесами и поселениями беглых одному из отдаленных своих фаворитов, некоему генералу Маслову. Генерал проиграл в вист это имение армянину, помещику с фамилией Колонтаров. Этот-то Колонтаров и начал по-настоящему колонизировать край и зажал сразу же проживавших здесь поселенцев в ежевые рукавицы. Но осевшие здесь поселенцы, не привыкшие находиться в чьей-либо зависимости, подняли восстание, Колонтаров усмирил его при энергичной поддержке губернатора, вызвав роту солдат с пушками.

Наблюдая село со второго этажа белого дома с белыми колоннами, Колонтаров глядел, как пушки проложили по хатам селян сквозную дорогу.

Так русский феодализм в союзе с государственной властью прокладывал себе дорогу в дебрях кавказских лесов и бескрайних пространствах степей.

— Весьма знаменательна,— говорит Евгений Федорович:— вот эта пестройка.

Он показывает на выплывающий в поле нашего зрения крытый цинком дом с пристройками, с массивными железными воротами, за которыми контора хутора.

— Это построил управляющий Колонтарова Хокжаев. Они настолько сработались, что управляющий за свои благочестивые труды стал не хуже помещика и приобрел собственное имение.

Дорога, делающая плавный зигзаг, уже приближает нас к этим постройкам, обнесенным акациями.

Путь наш прошел в разговорах под внимательным конвоем телеграфных столбов, гудящих проволокой. Центр совхоза там, где из гущи сельских мазанок, скромных и низкокрыших, своим архитектурным превосходством выделяется белое здание. Хутор Плаксейка связан с центром телефоном.

Я был свидетелем того, как в желтой коробке телефона старого военно-полевого типа надо было, как в шарманке, вертеть ручку и, надрывая голос, орать, чтобы тебя было хоть капельку слышно. Но это необычно для нас горожан-москвичей, избалованных внимательными мембранами и услужливостью телефонисток. А там, в совхозовской действительности, вполне справляются с желтым телефоном. И не жалуются. И довольны. Даже несколько горды.

Переваливаем через узкий горбатый мост, переброшенный над канавой Плаксейкой.

Здесь на хуторе лучшая паровая мельница совхоза, которая мелет муку для своих нужд и обслуживает население двух районов, на грани которых она лежит. Фургоны, наваленные мешками нового зерна, стоят огром-

ным становищем вокруг кирпичного фасада мельницы. Лошади сосредоточенно жуют заданный корм, позванивая упряжью. Хозяева в тени огромных войлочных шляп, похожих на испанские сомбреро, сидят под фургонами и ведут беседы на темы дня. Темы: хлебозаготовки, колхозничество, идущая к концу хлебоуборочная, предстоящая осенне-посевная.

Молоть длинно и трудно.

Новый урожай согнал сюда сотни желающих, и поэтому установились длинные очереди по фамильным спискам.

Мелют единоличники и колхозники.

Досрочники, сдавшие хлеб ранее установленного срока, премируются промтоварами: пестрыми метрами мануфактурных полотнищ, табаком, мылом.

За мельницей, несколько вбок, аккуратное, вытянутое в длину здание под красной крышей. Оно имеет свежий приятный вид и явно бравируют своим положением остальные два таких же длинных многооконных здания— напротив. У этих зданий возведены только стены с прорубленными отверстиями для окон и дверей. Крыш у них нет, и только на одном здании уже начинают перекрывать стропила. И первый уже выстроенный дом имеет право гордиться, ибо у его товарищей, чернеющих своей кирпичной наготой, пока только заметны оконные дыры да трубы. Над сиянием горизонта разворачиваются по ранжиру семь дымовых труб.

Строится рабочий поселок совхоза.

Из центра совхоза сюда будут переведены ремонтно-механические мастерские и жилища рабочих.

Совхоз растет, и рабские масштабы прежней мастерской, перенаселенность рабочих квартир не могут ужиться с его социалистическим ростом.

Отсюда — поселок.

Отсюда — вырастает новая, прямая, как телефонная проволока, улица поселка. На ней уже выстроен один дом. И дом уже начинают заселять рабочие семьи.

4

Утром возле покрытого черепицей амбара толпились женщины, ребятишки, изредка, и то больше случайно, мужчины.

Только что за изгибом дороги в тополях промелькал синеватыми холодными бидонами возок, приехавший рассветным холодком из хутора. У завхоза, затянутого в тяжелый парусинный фартук, семьи рабочих и служащих получают молоко.

Гулкий утренний говорок. Зябкая людская торопкость...

Потом продрогнувший от зари и росы паренек привозит телегу свежих огурцов и помидоров. Огурцы туги в своей юности и тяжелы, как свинец. Полнокровные, краснощекие помидоры заливают прутяные кошелки.

Рабочие и служащие получают продукты питания — пуд белой муки на месяц, которая, по желанию, заменяется печеным хлебом. Но домохозяйки обычно предпочитают готовому хлебу муку и пекут сами с кулинарными вариациями в виде пирогов и ватрушек.

Утренняя раздача продуктов подчеркивалась явлением исключительного интереса.

Амбарное снабженчество находилось в соседстве с винным подвалом.

Степной низкоколесый паровозишко вместе с красными товарными и тремя полинявшими от зноя дачными вагонами дотянул меня утром до станции Маслов Кут. Станция была мала, но аккуратна (шахматный паркетный пол, высокие светлые окна), и все же скучна в своем степном одиночестве.

Подпрыгивая в таратайке при в'езде в село, среди бронзовых от загара селянок, гнавших на окраину отставших от стада коров, шла группа девчат в белых летних одеждах. Кокетливо повязанные на головах косынки, короткие юбки, из-под которых мелькали в быстрой походке смуглые икры ног. На руках завернутые в тряпки четверти с вином.

Девушки несли четверти бережно, как первородных младенцев. Почти по-матерински. Вино было розово и пузырилось у горла бутылей, выдавая свое присутствие. Хотя, признаться, никто не старался утаить от взглядов встречающихся свою поноску. Сельчанки-бабы только изредка останавливались с девчатами на перекрестках для звонких утренних приветствий, для передачи очередных новостей.

Во дворе совхоза группа женщин толкалась около продуктовой кладовой с чашками, с мисками, с кастрюльками в руках.

Рядом у каменного, низко всаженного в землю подвала появлялись, проходили с зелеными квитанциями из конторы, с зелеными пустыми бутылями в руках люди. Обратно из широких деревянных дворов подвала люди уходили с отяжелевшими густокровной жидкостью бутылями.

Как для всякого дальнего от этих краев журналиста, наблюдаемое мной показалось необычайно интригующим. Ларчик же открывался просто.

Поспевает новый виноград.

Нет тары. Нет бочек для вин.

В прохладных недрах подвала кроются нераспроданные до конца запасы. Для того чтобы получить лишний десяток бочек, с середины лета рабочим выдается в месяц две четверти легкого столового вина. Цена баснословна — три рубля пятьдесят копеек четверть.

Факт раздачи вина рабочим вообще не имеет вида той исключительности и необычности, которая удивит нового человека. В этих краях, где по берегам реки кустятся гектары темнозеленых виноградников, праздник урожая — тихая золотая осень не мыслима без нового вина. Осенний трудовой отдых сопровождается в песнях толпами гуляющих по улицам разряженных девушек и парней. Самый отдых, баяны, тальянки и хоровые песни являются по существу дифирамбами древнему юноше Дионису.

Спектакли по сельским клубам. Последние здесь никак не хотят звать клубами, а сохраняют за ними название Народного дома (сокращенно Нардом), оставшееся от первых лет революции...

И не удивляйтесь поэтому, мой читатель, ибо продажа свежего вина тут всюду. От местного кооператива до шинкарки-спекулянтки, загнанной в подполье винодельческими колхозами.

Колхозные содружества, товарищества по совместной обработке земли, единоличники «давят» вино кустарными дедовскими способами. В редкий крапивяный мешок больших размеров сваливают кучу удивленноглазых тяжелых гроздий. Мешок завязывают или зашивают и кидают в широкое деревянное корыто. Какой-нибудь эдакий здоровенный дядя подкатывает штанины выше колен, моет ноги и потом вскакивает в корыто, на мешок. Из мешка из-под пляшущих босых ног чвиркает сквозь сетку мешка виноградная жижа.

Почти такой же процесс производства, как месиво глины для саманных кирпичей.

Жижу — сусло потом отстаивают, сливают в бродильни и выдерживают известное количество дней. Этот способ стар, по-дедовски кряжист и неуклюж. Не говоря уже о его негигиеничности, например, такой ценный продукт, как виноградные выжимки, богатые дубильными элементами, выбрасываются вон. И хозяйственные свиньи, утки, куры, даже дворняги, нагло-

гавшись сладких бросовых выжимок, валяются от слабости ног и головокружения под плетнями дворов и хат.

Совхоз «Терек» игнорирует эти варварские способы добычи вина.

Он имеет в своем распоряжении прессы (два гидравлических пресса добавочно приобретены в этом году). Винные выжимки не выбрасываются на волю ветра и солнца. Совхоз в этом году не только оставит и свалит в цементные ямы свои выжимки, но будет производить сбор и закупку у соседних колхозов. Из винных выжимок получают драгоценный винный спирт. Колхоз «Советская культура», находящийся в десятках километров от совхоза, имеет небольшой винокуренный завод. В этом году, по инициативе т. Веселовского, будет производиться выгонка спирта из выжимок.

Совхоз давно оставил позади кустарную «давку» вина. Раньше он сам не уходил далеко в способах добычи. Обчистка гроздий шла вручную; в текущем году большая доля производственного процесса будет механизирована. Прессы будут приводиться в движение тракторным мотором.

Виновместилище рассчитано на пятнадцать тысяч ведер.

Каждый хозяйственный год совхоза покрывает эту цифру полностью.

Подвал считается одним из лучших по всему бывшему Терскому округу. Хорошо сконструирован, глубоко сидит в земле. Оттого-то в нем в любую сорокаградусную жару — прохлада и свежесть, которые гарантируют стройную выдержанность вин.

5

Миновав новую улицу нового рабочего поселка, наша крылатая линейка подкатывает к белостенным камышевым пристройкам.

У ворот двора стоит зеленый нечесанный воз осоки. В «холодку» под хатой отдыхает старичок-возчик, спрятав лицо под тень войлочного своего сомбреро. Осоку закупают для особых винодельческих нужд.

Молодой армянин-садовник встречает нас во дворе. Имя его — Сурен. И пока распрягают и отводят под навес сарая лошадь, Евгений Федорович расспрашивает его о выполненности заданий по саду. Пока нас поят ломкозубой артезьянской водой, Сурен и Евгений Федорович позаботились о нас, и из сада нам притащили на четырех почти полное ведро белых сахарных слив.

По винному подвалу и винограднику штатно числится сейчас пять человек: заведующий виноградарством — наш гид, Евгений Федорович, два садовника,— один из которых черноголовый Сурен, один рабочий — и бронь-подросток. Сюда не входят еще наезжающие на лето практикантки из сельхозтехникума.

На хутор Плаксейку с нами приехал техник Маслович, «инженерия» строящегося рабочего городка. Он на удивленье подвижен, энергичен, как ртутное зерно на тарелке, несмотря на то, что его рубаха мокра от выступившего в изобилии пота. Только вчера вечером в клубе совхоза он делал доклад о ходе строительства поселка. Постройка времено затягивается, и те семь труб, чернеющих над горячим горизонтом, только говорят нам о том, что это вовсе не их вина, если им приходится грустить над незакрытой крышей. Отсутствие нужных лесоматериалов. Местного лесу здесь мало, да он и не годится в большинстве случаев, нужен хороший строевой лес. На производственном совещании всплывали наверх курьезные, но печальные в своих последствиях случаи. По всему краю гонка за лесом. Совхоз купил у районной кооперативной организации вагон имеющегося у ней леса. Оплатил счета вперед до доставки. Через некоторое время, не получая лес, совхоз к своему удивлению выяснил, что запродавщик спокойно

перепродал лес другому совхозу. Дело срочно передали прокурору. Но на сегодняшний день это не выводит совхоз из создавшегося лесостроительного затруднения.

Нужда в новых домах дозарезу. Нужно помещение для мастерской, нужны рабочие жилища, баня...

«Союзлес» дал совхозу наряд для сталинградских организаций о срочном отпуске двенадцати вагонов леса. Совхозники ждут его не один месяц и затомились ожиданием.

— С доставкой леса бюрократически волынят...

При мне на этом же производственном совещании после бурных прений по докладу техника Масловича обсудили кандидатуру рабочего Торбы, посеребренного проседью, совхозовского столяра. На другой же день он в ударном порядке должен был ехать в Сталинград, растормошить задерживающих отгрузку леса.

— Наступать нарядом на горло!...— наказывало ему собрание.

Расшвыряв остробокие желтые сливяные косточки, утолив жажду и фруктовый аппетит, оставив еще на дне цыбарки изрядное количество слив, колхозники, винодел, техник двинулись на осмотр пресса.

Массивный круглодонный пресс лежал, разобранный по частям, под крышей пристройки. Колхозная депутация осматривала его с врачебной тщательностью, трогала руками железо и говорила, что надо будет присылать подводы для перевозки.

— Да, серый пресс достается вам. Мне еще, кроме маленьких, останется такой же зеленый...— говорил винодел, прыгая через насыпь свеже нарытой земли.

Пресс называли серым по окраске его железных частей.

В тылу длинного сарая, вымазанного известкой, рыли глубокую в человечий рост яму. Яму потом обольют цементом, и она будет утилизирована по назначению во время «давки» вина.

Внутрь белого саманного сарая нам пришлось пролезать в одно из окон, так как ключи от дверей были увезены другим садовником. Открыли запертую на замок ставню и, прыгая через какие-то ящики в известковых пятнах, через огромные винные чаны, почти по грудь высотой, мы проходим под запаутиненной камышевой крышей сарая. Собственно здесь, в этой глиняной мастерской, и будет один из осенних винных заводов.

Через канавы, сквозь заросль веток, в чаще которых журчит артерия оросительной воды, мы идем по знойным пространствам виноградника. Виноградник является огромной площадью, разграфленной, как лист бумаги, на равные клетки. В пересечении этих мнимых линий стоят в центре виноградного куста высокие шесты — таркалы, на которые и опирается куст. Таркальные шеренги тянутся вдоль, под вырезной зеленью кустов обвисают тяжелые, налитые веселым соком грозди.

Виноград поспевает...

Перочинным ножем Евгений Федорович срезает кисти зернистой крымской шашлы и оделяет нашу экскурсию. Евгений Федорович рассказывает о пережитой весенней тревоге, вызванной заморозками.

— Вдруг ночью ко мне прибегает садовый рабочий... Темь, не видать ничего в двух шагах... Я скорей обкручиваюсь чем попало. Скачем сюда. Разожгли керосиновые факелы и ночью, понимаете, бежим по саду, как черти в аду. А на градуснике в наблюдательной вышке один градус ниже нуля.

Он показывает нам выпестованную им в этом году «школку» молодого «Сильванера». Он озабочен, что посреди сада залегла небольшая низина, солончаковая лысина. На этой лысине с легким пепелистым налетом вино-

град погиб, несмотря на поливку, и одинокие таркалы торчат у засохших желтых чубуков.

— Тут больше местные сорта. Я говорю — местные, настолько мы привыкли их считать своими, хотя они и завезены к нам из Кизляра.

— Вот тут еще немножко «Пино-Гри».

Когда мы вошли в зеленые параллели старого виноградника, который, по расказу Евгения Федоровича, ведет свою историю еще от времен помещика Колонтарова, деревянный треск трещотки салютовал нам из глубины сада.. Это дает знать о себе сторож, охраняющий виноградник. Виноград поспевает, и бдительность должна быть усилена; на ночь выходят два сторожа. Их оружие снабжено дробью гороха, которым в случае надобности обжигают орды мальчишек, назойливых и вороватых сейчас, как воробьи. Но пускаться на эти крайние средства садообороны приходится редко. Достаточно, говорят, торчащей из-за спины палки вместо ружья, чтобы уже это было некоторым внушением.

Пока виноград начинает еще только-только поспевать, и поэтому вопрос охраны принимает ударное значение. Но через две недели винограду будет полно везде. Он станет обыденностью, будничностью и дойдет в цене до тридцати копеек за кило.

Перспективы совхозовского виноделия и перспективы виноделия для всего этого географического угла велики. Совхоз имеет виноградник, как подсобную часть к зерновому производству. Климатические же условия — изобилие солнца — говорят о больших возможностях для винограда. Даже неорошаемый виноград дает приличный урожай.

— Надо бы развить по существу площадь вместо двадцати пяти до пяти тысяч гектаров. Так в прошлом году с тринадцати тысяч ведер мы получили двадцать пять тысяч рублей. Продавали свою продукцию совхозу «Хуторок», двадцать пять процентов районному потребобществу, Севкаввинтресту; семь тысяч ведер, пятнадцать процентов, оставили для местного потребления.

Вот в первый-то день по приезде я и видел реализацию этих неизрасходованных пятнадцати процентов в виде раздачи по талонам четвертных бутылей красного вина.

— Мы не могли бы рассчитывать на снабжение своей продукцией далеких центров страны, так как при настоящих условиях перевозок выгоднее перевозить крымский виноград. Но мы находимся в соседстве с курортом (Минеральные воды), вот туда-то и следует наладить поставку дессертных и столовых сортов вина.

И с влюбленностью в дело, с авторитетностью своего восемнадцатилетнего винодельческого стажа он посвящает меня в искусство винодобывания, говорит о пастеризации вин, о митации сусла сернистым газом, который из него «выбивает дрожжи».

Но мы уже заговорились.

Колхозная депутация сделала свои дела — «добилась пресса» и намерена поскорей возвращаться обратно. Техник Маслович должен уехать на другой совхозовский хутор, чтобы оттуда пробраться в районный городок Прикумск. Городок этот мал, пылен, населен армянами с преобладанием русских. Теперь, с ликвидацией округов, он — административный центр и пестрит вывесками различных учреждений. На станции там кончается железнодорожная ветка, низкоколесый черный паровоз, измученный астмой, на особом мосту поворачивается обратно и потихоньку трусит до Минеральных вод.

По хребту канавы, налитой водой, среди окружающих ее кустарников, мы пробираемся назад гуськом — в затылок друг другу.

Там, где канавы пересекаются и проходят каждая своей стороной, над кустами — громадные тополи головокружительной высоты.

— Вы знаете, сколько им лет?

Никто из нас, кроме Евгения Федоровича, не знает, но мы смотрим и догадываемся, каждый по-своему.

— Им скоро будет под сотню! Наверное, здесь раньше были ворота, в'езд в сад...

Мы стоим под их великолепной громадой. Они тихо позванивают живым металлом листвы, они уходят в полуденное безумно синее небо. Внизу журчит вода. Они стоят рядом — два серебряных брата. Возможно, они когда-то стояли на страже у старых ворот. Но теперь они раздались в ширину, расстояние между ними укоротилось, и теперь уже вряд ли проедет между ними телега.

И пока журчала в кустарниках канавы садовая вода, и пока человечьи глаза завидовали могучести топливного зеленокрылья, обнявшего небо, вдалеке, где-то там, протарахтела трещотка.

В поэзию пейзажа прозаизмом ворвался техник Маслович.

— Надо двигать, ребята!..

Тополя звенели, звенели...

О „Новой земле“ Ф. Гладкова

С. Канатчиков

Вернувшись после гражданской войны в свои разоренные гнезда, красноармейцы, партизаны, прошедшие суровую школу борьбы, испытавшие на себе могучее влияние городских промышленных центров, пропаганды и агитации нашей коммунистической партии, не могли мириться со старым укладом крестьянской жизни. В огромном большинстве случаев именно от них исходила инициатива организации сельскохозяйственных коммун, артелей, товариществ и т. п. Правда, организация этих коммун, их рост не везде протекали хорошо, гладко, умело, как того добивалась советская власть, которая стремилась сделать их центрами влияния на окружающую крестьянскую массу. Многие из этих коммун распались, не выдержав сурового испытания, а некоторые, претерпев большие изменения, дожили до наших дней, сделавшись тем, чем хотела их видеть советская власть.

Это, повидимому, их имел в виду т. Ленин, когда на с'езде «земельных коммун и сельскохозяйственных артелей» говорил:

«Коммуны должны развиваться в том направлении, чтобы при соприкосновении с ними стали изменяться условия крестьянского хозяйства, встречая хозяйственную помощь, и чтобы каждая коммуна, артель или товарищество умели положить начало улучшению этих условий и практически его осуществить, доказав на деле крестьянам, что это изменение приносит им только пользу».

Одну из таких коммун отобразил в своей последней повести «Новая земля» Ф. Гладков (Альманах «Зиф», № 10, 1930 г.).

Яркими сильными мазками набрасывает Ф. Гладков картину жизни, борьбы, исканий и, в особенности переделки человеческого материала коммуны «Новая земля», организованной бывшими партизанами, бедняками, в пору отчаянной голодовки.

Перед читателем проходит целая галлерея типов: вполне сложившихся, законченных и растущих, формирующихся в новых людей, стойких, сильных духом борцов за идеалы трудящихся. Над некоторыми из них, правда, еще тяготеет прошлое, и с огромными усилиями, трудом они изживают его.

Суровая борьба кипит внутри и кругом коммуны: на каждом шагу подстерегают ее враги — кулаки вовне и их сознательная и несознательная агентура в самой коммуне.

Ее организаторы — бывшие партизаны Ветров, Банкин, Гуляка и др. проявляют невероятное упорство, энергию, изобретательность. Все они потомственные крестьяне, прошедшие суровую школу гражданской войны, закалившиеся и воспитавшиеся в ней, связанные крепкими узами с советами, все они по-своему ведут упорную борьбу за лучшее устройство жизни.

На вопрос педологички Гали: «Откуда у тебя такое развитие и культурность?» — председатель коммуны Ветров дает себе следующую характеристику: «Ведь я же прошел школу великой нашей революции...

Ведь выше этого вуза нет никакого университета. Сначала — партизанщина, потом Красная армия. Кровавая борьба даром не проходит. А ежели эта борьба за великие идеалы, за новый мир да за эту вот нашу «Новую землю» — такая кровь многих родит заново... Правда, я еще на курсах был... ну, это — не суть важное»... «С нами происходило, как с Иванушкой в «Коньке-Горбунке»,— продолжает об'яснять Ветров свое перерождение,— бросили его в кипящую смолу, а он вынырнул, да и вылез другим, новым, молодым — родился во второй раз. В чем дело? Драться-то мы дрались, в крови-то кипели, а вот пришли с победами да с орденами Красного знамени в свои деревушки, и пахнуло на нас старым, столетним бытом, тощими полосками земли»...

Но не только это противоречие между старым укладом и родившимися «во второй раз» людьми заставляло организоваться в коммуну. Голод, невозможность возродить свое хозяйство на прежних основах — вот что было сильным побудителем. «Она, эта наша коммуна, родилась и выросла из голода, мук и смерти. Уж подлинно, что только из смерти рождается новая жизнь»,— говорит тот же Ветров.

Коммуна несколько раз висела на волоске и готова была развалиться, но всякий раз спевшийся, сплоченный, стойкий актив коммуны спасал ее от гибели. В ней, в процессе борьбы за существование, произошел отбор лучших людей. Этим в значительной степени, очевидно, нужно об'яснить и то, на первый взгляд странное, обстоятельство, что коммуна носит в себе черты некоей сектантской замкнутости, обособленности от окружающего населения.

Правда, к концу повести автор пытается заставить коммунаров заняться благоустройством окружающих деревень: они ведут среди населения культурно-просветительную работу, помогают крестьянам организоваться в колхоз, дают им машины, помогают в уборке и обработке полей и т. д. И несмотря на то, что это больше рассказывается, чем показывается, вы все-таки верите, что коммуна изживет этот недостаток — оторванность от окружающего.

Тяжелыми условиями рождения коммуны, а также, очевидно, и навыками военного коммунизма, приобретенными ее вождями во время длительной суровой борьбы с врагами, требовавшей самоотверженности и самоограничения, об'ясняется также и то обстоятельство, что коммуна требует от своих членов «обобществления до самой требухи», как выражается учитель Прохор, советчик коммуны, впоследствии ставший сам ее членом.

Глава коммуны Ветров глубочайше убежден в том, что «пока еще допускается собственность в обмундировании и в других мелочах, и это — скверно; когда совсем не будет собственности, то коммуна от этого будет непобедима».

Само собой разумеется, мы совсем не были бы в претензии к автору, если бы эти взгляды высказал какой-либо другой второстепенный персонаж; это было бы понятно и естественно и, в силу его малого развития, было бы художественно оправдано. Но эти взгляды не только высказывает, но и старается провести в жизнь глава коммуны Ветров, который прошел гражданскую войну, был в Красной армии, на курсах, вместе с секретарем Банковым руководит, повидимому, ячейкой коммуны и т. д. Неужели «развитой и культурный» Андрей Ветров так-таки никогда и не слышал, что коммунистическая партия в своей колхозной политике не ставит себе задачей «обобществления до самой требухи»!?

Не плохо автором вскрыта и индивидуальная психология отдельных героев коммуны «Новая земля». Особенно на наш взгляд ему удалось это

с Ветровым. Это — сильный, здоровый, не знающий сомнений и колебаний человек, преодолевающий невероятные трудности, идущий прямо к намеченной цели. Но и над ним тяготеет прошлое, мешает ему свободно двигаться вперед, строить новую жизнь. Ветров имеет жену и детей. В начале его работы в коммуне его жена, вышедшая из состоятельной кулацкой семьи, не мешает мужу и как бы идет с ним в ногу. Но вот коммуна начинает крепнуть, сурово, прямолинейно проводит равенство всех членов коммуны, заставляет всех напряженно работать и вводит суровую дисциплину. У Ветровой усиливается тоска по собственном очаге, она становится непримиримым врагом коммуны.

«... Я — мужняя жена, и мой муж обязан кормить меня и детей... Будьте вы прокляты со своей коммуной — ни дна бы ей, ни покрышки! Спалить бы ее до золы, чтобы за сто верст от нее гарью воняло. И семья — в порухе, и люди — чумные, и сердце — в неволе... Я за Андрея не на эту назолу шла...» — выпаливает в гневе Ветрова во время ссоры с коммунарами.

Она отказывается нести какие-либо обязанности, но берет на дом обеды из общественной столовой, калечит, бьет своих детей и отказывается отдать их в детские учреждения коммуны, устраивает ряд скандалов и дебошей и наконец доходит до открытого вредительства...

Андрей Ветров упорно, молчаливо ведет с ней борьбу, но долго не решается на открытый разрыв. О нем начинает говорить вся коммуна. Его авторитет становится под угрозу. Наконец Анисья Матвеевна Ветрова предстает перед судом коммуны. И тут Ветров выступает обвинителем и обвиняемым. В этом и состоит главная коллизия повести. Этот конфликт Ветрова проводится автором с изумительной напряженностью — все время непрерывно нарастая и получая окончательное разрешение в незабываемой сцене суда в клубе коммуны.

«Долгое время эта женщина, гражданка Ветрова, была врагом коммуны,— дает свои об'яснения суду Андрей Ветров. Она сначала просто саботировала, а потом открыто повела подрывную работу. Она была моя жена, и я упорно боролся с нею: хотел переломить ее всеми средствами. Я не терял надежды. Я думал: в чем дело? пережину все, но ее переделаю. Это деревенское, собственническое упорство забунтовало в ней не сразу. Началось это года два тому назад, когда и деревня и мы окрепли. Ее потянуло назад... Ей нет здесь товарищей и друзей. Она вся — в прошлой жизни, и друзья ей — наши враги». В заключение Ветров заявляет, что он порывает с ней, и предлагает исключить ее из коммуны.

В истории нашей литературы немного найдется таких высоко художественных сцен, с такой изобразительной яркостью и силой описывающих коллизию между личным и общественным, семьей и коллективом, и где коллектив одерживает победу.

Андрей Ветров, стойкий, упорный фанатик, до самозабвения предан революции, коммуне, но он узкий практик, эмпирик, его кругозор не возвышается дальше интересов коммуны и, пожалуй, окружающего населения, крестьян, с которыми коммуне приходится часто сталкиваться. И во взгляде на коммуну он сохранил ту же партизанскую точку зрения, которую пронес через Красную армию, курсы, партию, советскую работу и т. д. Несмотря на свою кажущуюся широту взглядов и культурность, в нем все-таки глубоко сидит крестьянский партизан, который в свое время, в начале гражданской войны, совершенно искренно думал с деревянной пикой, с самопалом, на деревенской кляче лихим набегом, внезапным ударом, хитрым маневром победить военную технику и научно разработанную организацию современной армии. Действительность разбила эти иллюзии.

Поэтому нет ничего удивительного, когда Ветров произносит такую самодовольно-хвастливую тираду:

«... Мы живем немножко впереди общего времени. Когда я бываю в городе, мне кажется, что я проваливаюсь назад лет на пятнадцать. Эти накрашенные мещанки на улицах и в учреждениях, пивные, рестораны, пьяные на панелях, матершина... Для нас это — прошлогодний снег». Оно, конечно, очень похвально, что Ветров так любит свою коммуну и так горд ее успехами, ибо без любви и преданности делу нельзя построить социализма, но все же нельзя быть столь узким и ограниченным, чтобы увидеть в современном советском городе только «накрашенных мещанок» и «пьяных на панелях».

Почему бы, например, товарищу культурному хозяйственнику Андрею Ветрову не заглянуть на «Электрозавод», на «Динамо» или на сталинградский Тракторострой, ленинградский Путиловский?.. Да мало ли куда можно в городе заглянуть!..

В этом отношении нам больше есть чем похвастаться, нежели товарищу Ветрову.

И это не случайная обмолвка. Враждебный городу партизан глубоко сидит в Ветрове. Когда осенью послали из коммуны в город на рабфак пять человек молодежи, Ветров ворчит:

— Ну, эти ребята — отрезанный ломоть. В чем дело? Не вернутся назад, мерзавцы, сколько ни держи их за хвост... Изгадит их город: индивидуализм — это городская зараза.

Почему же они не вернутся после окончания вуза? И что же это за рай в коммуне, созданной Ветровым с его товарищами, из которого разбегаются святые? Почему эту молодежь так тянет в город? Разве, может быть, для того, чтобы провалиться лет на пятнадцать назад, дабы вкусить от запрещенного плода индивидуализма? Все эти элементарные вопросы, очевидно, Ветрову не приходят в голову. Для Ветрова, повидимому, весьма неясна организующая и руководящая роль города. А неясна она ему потому, что он еще далеко не изжил своих партизанских настроений. Он весьма смутно представляет себе, где «вперед» и где «назад». А между тем мы определенно знаем, что так же, как в свое время Красная армия под руководством нашей партии растворила и ассимилировала в себе партизанские отряды, которые во многих случаях стали основными боевыми единицами ее, точно так же отдельные коммуны, часто далеко ушедшие вперед, сольются с могучим потоком массового колхозного движения.

Руководители коммуны скоро начинают понимать, куда направляется поток крестьянского движения. Коммунары, руководимые Ветровым и др., идут навстречу окружающим крестьянам. И сцена завоевания крестьянских полей тракторами коммуны изображена автором ярко и сильно.

«Колхозники пошли кучей за Ветровым по пашне, с хозяйской уверенностью и гордым возбуждением. Они обсуждали с Ветровым вопрос о приобретении машин и просили у него поручительства коммуны. Ветров кричал сердито и бодро: «Без машин вы не останетесь. Будут. В чем дело? Пока что наши машины в вашем распоряжении. Приходите на совместное заседание совета». И далее: «Они шли по полю в сторонке, вслед за тракторами, и не могли оторвать восхищенных глаз от плугов, которые отбрасывали черные шквалы земли на горячие гребни клокочущей пашни.

На одном из ревущих тракторов сидела Глаша и победоносно орудовала рулем. За нею по полю бежали девчата и визгливо кричали ей вдогонку...

Бабы кудахтали курами, а мужики гомонили озабоченно и строго:

— Ой, глядите, глядите, бабы!.. Земля-то... так и хлещет, так и хлещет.

— А что теперь будет с нашими клячами? Сдыхать им, что ли?»

Автору удались не только отдельные образы-типы, выписанные им с большой любовью и тщательностью, но также и отдельные массовые сцены: суд над Ветровой, запашка тракторами крестьянских земель и сопротивление баб, открытие электростанции и др.

Заслуживает особого рассмотрения фигура секретаря ячейки коммуны Банкина, которого секретарь коммуны Гуляка рекомендует такими словами: «Парень — ничего себе: больше молчит и идет по партлинии».

И действительно, автор рисует его «бесстрастным», «бездушным», смотрящим «слепыми» глазами и говорящим «деревянным» голосом.

Он косноязычен, молчалив и произносит или, вернее, бормочет одну и ту же фразу: «В общем целом... обсудим...» И вы часто бываете недалеки от того, чтобы Банкина презирать и в лучшем случае питать к нему антипатию. В отношении к нему автор все время держит читателя настороженным. Не помогает Банкину даже и то, что он вместе с Ветровым, Гулякой и Чушкиным прошел с честью суровую школу гражданской войны.

Но вот при столкновении с действительностью вы внезапно обнаруживаете, что, несмотря на свою непривлекательную внешность, Банкин очень чуткий, отзывчивый человек, неплохой организатор и до самозабвения предан коллективу и коммуне. Правда, преданность его обнаруживается иногда немного странно: он скуп, расчетлив, тащит всякий хлам к себе в каморку. Но оказывается, что все это копится, собирается для коммуны, для общего пользования. В конце концов вы и к нему проникаетесь симпатией.

Но в чем дело?—спросим мы словами Ветрова. Почему Ф. Гладкову понадобилось изобразить в таком немного карикатурном, смешном виде самую душу коммуны — секретаря ячейки? Однако стоит только вдуматься в это явление, и вы без труда поймете, что и здесь автор не впал в большую фальшь. В самом деле, еще не так давно ЦК нашей партии пришлось потратить не мало усилий на то, чтобы на партработу давали лучших и способных людей. Обычно же долгое время в провинции происходило так, что на партработу посылали людей, мало приспособленных к серьезной деловой работе. Туда направляли все то, что не оказалось пригодным в советской и хозяйственной работе. Но взгляд на партработу как на дело второстепенное и менее важное, повидимому, еще далеко не изжит в глухой, отдаленной провинции. Это явление и подметил тонкий, наблюдательный глаз автора. Другой вопрос — нужно ли было автору изображать Банкина в таких карикатурных тонах? Здесь, нам кажется, автор не сумел соблюсти чувство должной меры.

Повествование ведется от лица молодой девушки, педологички Гали, дочери старого рабочего, коммунистки, работавшей на фабрике и прошедшей рабфак. Такая форма выбрана автором очень удачно, ибо она позволяет ему глубоко вскрыть психику и внутренний мир переживаний героев коммуны, показать без всякой натяжки происходящие процессы перерождения индивидуального человека в общественно-коллективного, активно и сознательно творящего новую жизнь.

Правда, такая форма в некоторых отношениях и связывает автора. В общем же, несмотря на отдельные, по большей части мелкие промахи автора, повесть производит глубокое впечатление.

Вы до конца понимаете героев, вместе с ними переживаете, страдаете, радуетесь. Они делают ошибки, увлекаются, совершают глупости — вам хо-

чется им подсказать правильное решение, поправить их. Но в конце концов, благодаря их природному дарованию, благодаря пройденной ими суровой школе классовой борьбы, воспринятым ими идеалам передового класса, они находят правильное решение сложных вопросов, выдвигаемых жизнью коммуны. А если в данный момент они и не разрешили того или иного вопроса, то вы за них не бойтесь: вы уверены — они найдут правильный путь.

Показанные с присущим Ф. Гладкову большой изобразительной силой и талантом герои коммуны в значительной своей части — знакомые читателю лица: они с несокрушимой верой в лучшее будущее, с самоотверженностью и героизмом вели нечеловеческую борьбу, с оружием в руках, против Колчака, Деникина, Юденича и др., сначала в партизанском отряде, затем в рядах Красной армии... С такой же самоотверженностью ныне они строят новую жизнь. И вы уверены, читатель, они без труда сменят трактор на пулемет, орудие и винтовку и с той же самоотверженностью, героизмом будут бороться в первых рядах, если наш враг — мировая буржуазия — отважится напасть на наше социалистическое отечество.

Язык и стиль повести просты и безупречны. Повидимому, Ф. Гладков окончательно оставил свой прежний вычурный, манерный язык, который так мешал восприятию и усвоению некоторых его произведений.

Очерки современной поэзии

I. Марк Тарловский

Ф. Раскольников

Марк Тарловский принадлежит к молодому поколению советских поэтов. Он вышел на литературную арену три-четыре года тому назад. Его первым дебютом, обратившим на себя внимание читающей публики, была поэма «Пушка», напечатанная в «Красной нови».

Марку Тарловскому нельзя отказать в таланте, но ему необходимо поставить в упрек крайнюю отчужденность от современности.

Тарловский — недурной версификатор; он хорошо усвоил технику стиха, внешнее мастерство поэтического искусства. Он обладает богатым лексиконом, искусно владеет разнообразными ритмами и уделяет большое внимание звуковой стороне стиха. Но содержание произведений Тарловского необычайно отстает от формы. Его даже нельзя назвать попутчиком. Не в обиду будь ему сказано, он до сих пор проявил себя типичным эпигоном дворянской и буржуазной поэзии. Наибольшему влиянию в отношении формы и содержания он подвергся со стороны Гумилева.

Тарловский — способный ученик. В одном стихотворении он аттестует свои годы учения следующими словами:

Я, правда, не был большевиком,
Но в детстве мглистом
Я был отличным учеником
И медалистом.
От парты к парте, из класса в класс,
Как санки с горки,
Моя дорога текла, секлась
Витьем пятерки.

Таким же прилежным «пятерочником» Тарловский показал себя и в поэзии.

Раболепно подражая своему учителю Гумилеву, он весьма удачно имитирует его стиль.

У Гумилева имеется следующее четверостишие:

Очарован соблазнами жизни,
Не хочу я растаять во мгле;
Не хочу я вернуться к отчизне,
К усыпляющей, мертвой земле.

Марк Тарловский, взяв это эпиграфом, пишет не то вариацию, не то продолжение гумилевской строфы:

Не хочу, чтоб меня хоронили
Как обломок, в былом отжитой,
Как потомка дворянских фамилий,
Измельчавших в борьбе с нищетой.

Кроме стиля Тарловский заимствует у Гумилева его образы. Гумилев был романтик, находившийся под сильным влиянием французской поэзии

середины XIX столетия. Он любил экзотические страны, пустыни, населенные пасущимися на свободе дикими зверями: слонами, жирафами, барсами и пантерами. Основной образ поэзии Гумилева — это конквистадор, завоеватель и колонизатор новых земель.

Фантастическая экзотика в духе Гумилева в высшей степени свойственна Марку Тарловскому. Вот, например, стихотворение «Последнее чудо».

Мрачная фантазия Тарловского рисует ему в будущем жуткую картину, как одичавшее стадо людей будет охотиться на последнего слона, еще оставшегося в живых на обледенелой земле.

Где теперь владычествуем, там
Хмурый наш потомок-зверолов
Будет рыскать по его следам
С человечьим стадом в сто голов.
Он — как мамонт, волосат и рыж,
Он — как молния, необорим —
Будет гнать слона через Париж
И через обледенелый Рим.
Слон достигнет средиземных вод,
Остановится на берегу —
И вострубит, подтянув живот,
К африканскому материку.

Вся декорация заимствована здесь у Гумилева. Не менее ярко ученическое подражение этому поэту заметно в следующих строках:

Верблюды танцуют под нами,
Погонщики правят слонами,
И тигров сечет укротитель,
И змей усыпляет колдун.

Дыхание пустыни чудится Тарловскому даже в повседневном быту:

Рыкающий вызов пустыни
Дрожит на таблицах латыни,
В презрительном посвисте янки,
В мелодии галльских речей.

У Гумилева есть сборник стихов «Жемчуга». Тарловский пишет на ту же тему о жемчуге венок сонетов. Одним словом, он ни на шаг не отходит от своего покойного мэтра.

Но разница между ними состоит в том, что Гумилев писал свои стихи об озере Чад или об Аддис-Абебе, совершив путешествие по Африке, лично побывав во всех этих местах, в то время как самое дальнее путешествие Тарловского было, повидимому, из Одессы в Москву. Никогда не виданные им места он вынужден описывать с чужих слов, по чьим-нибудь рассказам. Характерно автобиографическое признание Тарловского:

Хотя я в Риме не бывал,
Но, верный школьным разговорам,
Кой-что запомнил про овал
Колосса громкого, как Форум.

«Кой-что запомнил» Тарловский и об экзотических странах. Поэтому все это сочинительство у него надумано, книжно, напоминает собой «литературщину». В самом деле, разве не смешно читать о том, что «верблюды танцуют под нами», а «рыкающий вызов пустыни дрожит на таблицах латыни»? Читатель никогда не поверит, что, обучаясь латыни в одесской гимназии, Тарловский ощущал на себе рыкающий вызов африканской пустыни. Это звучит фальшиво.

Там, где Тарловский отходит от образов Гумилева и пытается создать свои собственные, его иногда постигают злые неудачи.

Разве не безвкусно и не пошловато, например, такое сравнение: «Как любимая женщина поднят бокал»?

Но если над стилем Тарловского в некоторых случаях можно посмеяться, то гораздо хуже обстоит дело с проникающей его стихи чуждой рабочему классу идеологией.

Некритические перепевы Гумилева, как и следовало ожидать, не прошли для Тарловского безнаказанно. Как всякий писатель, Гумилев не был поэтом вне времени и пространства. Он являлся представителем своего класса, своей эпохи. Талант Гумилева сложился между двух войн и двух революций. Расцвет его творчества приходится на 1905—1914 гг.

Потерпев поражение на полях Манчжурии, русский империализм лихорадочно готовился к мировой войне. Царизму в его воинственных устремлениях нужны были свои трубадуры. Во время мировой бойни для этого было создано «Лукоморье», оптом и в розницу покупавшее поэтов и писателей для прославления подвигов царизма и для под'ема патриотических чувств. Таков был социальный заказ правящего класса той эпохи — поместного дворянства.

Гумилев задолго до 1914 года отдал свое перо для прославления империализма, для создания завоевательной и авантюристической психологии. Когда Гумилев писал свой «Путь конквистадоров», когда он вынашивал и создавал свой основной образ европейского колонизатора, он поэтически оформлял идеологию дворянства и буржуазии, охваченных страстью империалистических завоеваний, стремящихся к выходу в Средиземное море, к захвату Константинополя и проливов. Гумилев был поэтическим выразителем идей, настроений и чаяний тех классов, которые осуществляли политику русского империализма. Не случайно, как только вспыхнула мировая бойня, Гумилев принес на алтарь царизма не только перо, но и шпагу, добровольно отправившись на фронт — сражаться за грабительские цели русского империализма. Но в то же время Гумилев был выдающимся мастером стиха.

Ученически копируя образцы своего предшественника, Марк Тарловский не мог освободиться от его вредного идеологического влияния и пришел в советскую литературу с багажом гумилевского наследия, который ему следовало бы оставить за дверями.

Тарловский не сумел оказать достаточное сопротивление яду гумилевской идеологии в значительной степени потому, что его собственное мировоззрение чрезвычайно спутано, сбивчиво, неясно. Его стихи обнаруживают, что сейчас ему нечего сказать. Из собственных признаний Тарловского мы убедились, что он не был большевиком. Его стихотворения обнаруживают, что и сейчас он далеко не является большевиком. Его лирика — яркий образец идеалистической поэзии.

Мы уже видели, какой мрачный конец предрекает Тарловский человечеству: оледенение земного шара, варварское одичание людей, охота на последнего слона и неизбежная всеобщая гибель.

Теперь посмотрим, как он описывает революцию:

Но, в разновес низведши игры,
Мятеж «холопов и скотов»
Хватает столбиками цифры
И скидывает со счетов;
Хватает барина за жабры,
Кидает в пруд, головотяп,
Ворует в зале канделябры
И тут же размещает штаб.

Размещение штаба в глазах Тарловского неразлучно связано с воровством канделябров. Не говоря о том, что *головотяп* представляет со-

бою плохую рифму к слову штаб, это слово здесь совершенно неуместно по смыслу. Если отдельные случаи головотяпства и головокружения от успехов имели место на различных этапах революции, то нельзя же обобщать это явление. Ведь не хотел же Тарловский изобразить Октябрь как революцию головотяпов! Приведенные строфы обнаруживают политическую неграмотность Марка Тарловского, непонимание им характера пролетарской революции. Не из контрреволюционных побуждений, а по простому легкомыслию стихотворение «Революция» отнесено Тарловским в раздел «Бутафория». Однако самой неудачной по содержанию является шутливая поэма «Пифагорова теорема». Услыхав, что произошла революция, ученики старшего класса решили поддержать победу масс отказом от приготовления уроков. Медалист и «пятерочник» Тарловский «во славу революции» получил кол. Жертва сама по себе незначительна. Но не будем строги и не станем требовать большего. Автор поэмы тогда еще был совершенно юным гимназистом.

Но вот в воображении нашего автора рисуется картина его смерти. Он умирает и предстает у дверей заветного рая социализма, где его встречают Маркс и Энгельс. Энгельс приносит анкетный лист, тотчас заполняемый автором; Маркс, надев очки, просматривает анкету и обнаруживает, что автор не был большевиком и не сражался под Перекопом, а «был поэтом, и только всласть писал сиропом»... На этом основании Маркс преграждает доступ Тарловскому в рай и собирается отправить его в «подвалы ада».

Неожиданно появляется спаситель.

Но вот, сощурясь, на марксов глас
Выходит Ленин
И молвит: «Карл, ведь он для нас
Благословенен!
Он тот, кто — помнишь? — почтил народ
Своим позором;
Чью единицу мы каждый год
Возносим хором...

В заключение поэмы Ленин открывает Тарловскому двери рая, обращаясь к Энгельсу:

«Ему доступен ярчайший свет
Земной орбиты.
Genosse Фридрих, на мой ответ,
Впустите... Bitte...»

Конечно, каждому поэту лестно думать, что «ему доступен ярчайший свет земной орбиты». Но причем, спрашивается, здесь Ленин? Неужели обладающий художественным инстинктом Тарловский не понимает вопиющего безвкусия этого сюжета из области христианской мифологии с заменой апостола Петра Марксом и Энгельсом, а спасителя — Лениным? И было бы за что «спасать» автора! А то за гимназическую забастовку. «Пятерочник» Тарловский самоотверженно получил раз в жизни единицу! Подумаешь, какой героический подвиг! Действительно, только того и недоставало, чтобы эту единицу хором возносили Ленин, Энгельс и Маркс!

Характерно, что Тарловский изображает социализм, как некий элизиум, как загробное царство теней. Живя в эпоху величайшей не виданной в мире социалистической революции, являясь современником людей, героически воздвигающих монументальное здание социализма, он не может представить себе социализм при жизни, словно это не живая реальность, гигантски растущая на наших глазах, а бессмысленная загробная утопия, над которой можно только посмеяться и слегка поиронизировать в игривой шуточной поэме.

Лучшими произведениями Тарловского из числа написанных им до сих пор стихотворений являются: «Пушка», «Жемчуг», «Осенняя гроза» и «Штора».

Тема первого стихотворения — биография кремлевской пушки, захваченной в 1812 году у Наполеона. Эта поэма написана прекрасным, певучим стихом. Она весьма пригодна для декламации. Но и здесь встречаются неровности, поэтические провалы.

Например, после прекрасного двустишия, которым начинается поэма:

Ошибочно думать, что пушка нема,
Что пушка не может ответить сама...

следует фраза, неудовлетворительная в художественном отношении:

Лафет титулован, и медь полновесна,
Но велеречива, но не бессловесна.

Первая строка сама по себе хороша, но вторая настолько выбивается из ритма и тяжела для произношения, что совершенно ослабляет впечатление: «Но велеречива, но не бессловесна». Термин «велеречива» заимствован Тарловским из устарелого словаря поэтического языка и отдает явным анахронизмом.

Поэма «Жемчуг» по форме представляет собою венок сонетов. Автор прекрасно справился с соблюдением законов этой весьма трудной формы стихосложения. Триада, установленная канонами этого стиха: тезис, антитезис и синтез, представлена довольно выпукло. Умение нашего поэта мыслить образами даёт художественные картины происхождения жемчуга, его добычи и причиняемых им несчастий.

Но и здесь художественной цельности поэмы вредит архаизм языка. Обладая богатым запасом слов, Тарловский не всегда умеет пользоваться своим лексиконом, выбирать из него наиболее соответствующие слова. В современной поэме совершенно неуместны и режут слух такие слова, как п е р с и, п е н а т ы, п р е л е с т н и ц ы. Во времена Жуковского они могли бы украсить поэму, но сейчас уже безнадежно устарели и только портят красивые строфы Тарловского.

Стихотворение «Ночная гроза», написанное в духе Тютчева, привлекает своей музыкальностью и свежими нештампованными образами:

Как типографию ночную,
Люблю грозу безлунной мглы —
Там гром ворочает вручную
Ротационные валы;
И молния, свинец пролив там,
С машинным грохотом и без,
Печатает арабским шрифтом
На черном бархате небес.

Бодро и жизнерадостно стихотворение «Штора», где комната в утренний час сравнивается с готовой к отплытию шхуной, а поднимаемая над окном штора — с голубым парусом.

Стихи Тарловского обнаруживают, что в его лице мы имеем бесспорно талантливого поэта. Представляя собой эпигона классово чуждой нам дворянско-буржуазной поэзии, он при желании легко может стать честным попутчиком пролетарской революции. Для этого ему нужно как можно скорее сбросить с себя «ветхого адама» идеалистической поэзии и освободиться из-под влияния Гумилева. Молодость Тарловского, выросшего в условиях революции, служит залогом его способности перевооружиться. Будущее Марка Тарловского находится в его собственных руках. Самое главное, что ему необходимо — это учиться, работать над собой, приобретать

всестороннее образование. Мы уже видели, что ему недостает самой элементарной политграмоты. Между тем настоящий поэт должен стоять на уровне своего века. Он должен иметь основательную философскую подготовку, а также литературное и политическое образование; он обязан быть в курсе политических событий, происходящих в нашей стране и за границей. Подлинный поэт не может прикрываться тогой аполитичности, искать спасения от злобы дня на поэтическом Парнасе. От классовой борьбы никуда не уйдешь: она достигнет каждого поэта на Парнасе и на Олимпе. Внеклассовой, так называемой «чистой» поэзии нет и никогда не было.

Весь вопрос в том, трубадуром какого класса является данный поэт. Марк Тарловский, как певец мелкой буржуазии, находится сейчас на распутьи. Он может либо расточить свое несомненное поэтическое дарование на жалкое эпигонство дворянских и буржуазных поэтов, либо в качестве попутчика, а еще лучше — верного спутника, стать в ряды борющегося за социалистическое переустройство мира и с засученными рукавами строящего социализм в нашей стране рабочего класса.

Василий Степанович Курочкин

Г. Лелевич

«На похороны собралось человек тридцать-сорок литераторов, но больше никого не было... Курочкина забыли; не помнят его и теперь, а надо бы помнить!..» — так писал М. Лемке в 1904 году в своей книге «Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия» (стр. 36). Мало удивительного в том, что Курочкина не помнили интеллигентский читатель и интеллигентский историк литературы в эпохи символизма и акмеизма, «Проблем идеализма» и «Вех». Тогда требовалось (господствующим потребителем, конечно) воскресить из небытия какую-нибудь Каролину Павлову или какого-нибудь Бенедиктова, а никак не поэтического барабанщика 60-х годов. Но времена «Проблем идеализма» прошли невозвратно Теперь пролетариат вступил во владение литературным наследством. У рабочего класса — совсем не те критерии отбора, что у Айхенвальдов. В. Курочкин имеет все права на память и изучение как пролетарским читателем, так и пролетарскими литературоведами и художниками.

Я не буду здесь останавливаться на биографии Курочкина, этого бедняка и горемыки, умершего в крайней нужде. Приведу отзыв о Курочкине А. Скабичевского: «В. С. Курочкин был вполне детищем шестидесятых годов и одним из самых типических представителей эпохи. Обладая сангвиническим темпераментом, художественным, тонко развитым вкусом, блестящим остроумием и нежным, любящим сердцем, он был горячим энтузиастом во всех передовых идеях своего времени. Авторитеты Белинского, Добролюбова и прочих деятелей предыдущей и современной эпохи он чтил до конца дней своих и с неподкупным рыцарством весь отдавался служению их идеям. Для него не существовало других интересов, кроме литературно-общественных.. Это была чистая, прозрачная душа, чуждая какой-либо раздвоенности или затаенности; у Курочкина не было ничего на душе, чего не было бы на языке. Если он бывал кем-нибудь недоволен, он об'являл об этом громко, во всеуслышание, не стесняясь выражениями. Особенно строг он был к людям близким или одного лагеря. Малейшее подозрение их в измене знамени принимал он весьма близко к сердцу, скорбел, как мать о больном ребенке, и болезненно выходил из себя, если подозрения его оправдывались. Этим он нажил много врагов, которые злословили его и мстили ему всю жизнь» («История новейшей русской литературы», 1900 г., стр. 460). А. И. Скабичевский близко знал Курочкина и, несомненно, дал ему совершенно правильную характеристику.

Огромная историческая заслуга Курочкина — создание замечательного сатирического журнала «Искра». В хрестоматии Н. В. Гербеля «Русские поэты в биографиях и образцах» мы читаем: «Искра» представляла у нас первый опыт внесения в жизнь сатирической прессы, составляющей немаловажную силу во всех европейских обществах. Курочкину пришлось быть

как бы создателем этого рода прессы» («Русские поэты в биографиях и образцах», 1888 г., стр. 512).

Роль Курочкина в «Искре», этом боевом органе радикальных разночинцев, была исключительна. Н. К. Михайловский рассказывает: «По свидетельству людей, знавших Курочкина в лучшую пору «Искры», он был положительно душой газеты, настоящим деятельным ее организатором, собиравшим и распределявшим подходящие силы. Несмотря на все свое авторское самолюбие, он топил свой талант в деле газеты: здесь давал мысль, предоставляя выработку формы другим, там брал на себя только форму, и я думаю, что было бы весьма трудно определить, что именно принадлежало в «Искре» Курочкину, и что — другим. Он и создавал и вербовал солдат, и сам исполнял невидную солдатскую работу» (Собр. соч., т. II, стр. 593 и след.). Правящая реакция оценила по достоинству роль Курочкина в «Искре». 3 сентября 1864 г. петербургский цензурный комитет уведомил Курочкина, что «г. министр внутренних дел не признал возможным допустить дальнейшее издание сего журнала под вашею редакциею» (Лемке, цит. соч., стр. 139).

Но Курочкин был не только редактором, издателем, организатором и вдохновителем «Искры». Он был и самым блестящим ее сотрудником. Скабичевский пишет: «Самые талантливые, остроумные и беспощадно злые строки в газете принадлежали самому издателю» (цит. соч., стр. 461). Как поэт, Курочкин наиболее прославился своими переводами из Беранже. Но эти классические переводы неразрывно связаны с оригинальным творчеством Курочкина. Оригинальные сатиры Курочкина, печатавшиеся в «Искре» обычно за подписью «Пр. Знаменского», и знаменитые переводы песен Беранже составляют одно целое, выражая вместе творческое лицо Курочкина и психоидеологию социальной группы, говорившей устами поэта.

В поэзии Курочкина[1] прежде всего нет ничего барского. Курочкин — плебей с головы до пят. Жизнь бедняков ему интимно близка. Он чувствует пропасть между собой и обеспеченными верхами общества. Его не влечет сладкое житье раззолоченного трутня, и в его иронии внятно звучит плебейская гордость труженика:

Богач со смертию всего
Лишается и плачет.
Я — не оставлю ничего;
Я — в выигрыше, значит.
Я в этот мир пришел пешком,
Но на свиданье к деду,
Хоть и на дрогах, хоть шажком,

А все-таки поеду.

За колесницей богача —
Тщеславия затеи —
Ливрейный траур волоча,
Толпой идут лакеи.
А я богат и без ливрей,
Богатствами иными:
Пойдет кружок моих друзей
За дрогами моими.

И своему сыну этот гордый трудом и не унывающий от жизненных неудач плебей оставляет характерное завещание:

Мой сын, твоя опора — труд,
Твое все счастье в нем.

[1] Все цитаты из стихов Курочкина взяты из издания «Собрание стихотворений Василия Курочкина», новое, дополненное издание, в двух томах, С.-Петербург, 1869 г.

Хотя с трудом в больницах мрут
Живущие трудом.
Мой сын, твоя опора — труд,
Твое все счастье в нем,

Мой сын, спокойствие души —
Отрада беднякам.
Зато уж в нем все барыши
И все утехи нам.
Мой сын, спокойствие души —
Отрада беднякам.

Мой сын, будь честен и горяч
В борьбе для счастья всех,
Да только после уж не плачь,
Услышав общий смех.
Мой сын, будь честен и горяч
В борьбе для счастья всех.

Как не похожи эти строки на дворянскую поэзию! Сквозь иронию по поводу горькой участи трудящихся и передовых борцов в современном поэту обществе пробивается мужественная *уверенность в почетности* своего пути, пробивается все та же плебейская гордость, все то же самоуважение труженика. Повторение в каждом куплете бодрых призывных строк после скорбно-иронического предупреждения как бы знаменует *победу* над возможными колебаниями и *верность* своим жизненным принципам. Словом, Курочкин выступает перед нами как типичнейший поэт революционных разночинцев, безусловно полярный дворянской поэзии во всех ее разветвлениях.

Самые традиционные темы барской поэзии оборачиваются у Курочкина совершенно неожиданной своей стороной. И дело тут не только и *не столько в пародировании эстетических штампов* дворянства, сколько в естественном выражении иного социального бытия, *иной психоидеологии*. Возьмем такую традиционную, песню, запетую и перепетую Майковыми и Фетами тему, как весна. Курочкин откликнулся на нее замечательным стихотворением «Только»:

А весна идет
И, дразня свободой,
Негой обдает...
Поживем с природой
Хоть один денек!
Только вот забота:
Двери на замок
Заперла — работа.

Так трудом живи,
В светлые мгновенья
Находя в любви
От труда забвенье.
С нею, в царстве грез,
Бедных нет на свете!
Только вот вопрос:
Ну, как будут дети?

Так, одним трудом,
Без мечты нескромной
Как-нибудь дойдем
До могилы темной.
Труд - надежный друг
Всех несчастных... только —
Сколько в свете рук,
Нет работы столько!

Жить ли без труда,
С голодом да с жаждой?
Только как тогда
Дорог угол каждый!
А весна светла
И поет лукаво:
«Нет в природе зла!
Счастье—ваше право».

Да, так о весне не писал ни один дворянский поэт и вообще ни один поэт до Курочкина. Г. Е. Горбачев в своей прекрасной статье о Некрасове правильно подчеркнул огромное значение тех произведений Некрасова, в которых были даны «любовные, сочувственные и яркие описания быта и переживаний разночинной городской бедноты» (см. «Капитализм и русская литература», 1928 г., стр. 55—58). И эмоциональная окраска, и каждая бытовая деталь таких стихотворений Некрасова, как «О погоде» или «Крещенские морозы», говорили о совершенно ином мире, чем мир барства. Именно в этих стихах особенно наглядно вскрывается глубокая противоположность между поэзией дворянства и поэзией разночинцев. Стихотворение Курочкина «Только» с полным правом может быть поставлено рядом с упомянутыми произведениями Некрасова. Чрезвычайно крупная роль Курочкина в формировании революционно-разночинческого стиля русской поэзии особенно ярко выступает на этом примере.

Как и подобало революционному разночинцу, Курочкин дал горячую отповедь нападкам реакционеров и либералов на прославленный роман Чернышевского «Что делать?» Характерна подчеркнуто плебейская окраска этого протеста:

Нет, положительно роман
«Что делать?» не хорош!

Великосветскости в нем нет
Малейшего следа.
Герой не щеголем одет
И под жилеткою корсет
Не носит никогда.
Великосветкости в нем нет
Малейшего следа.

Жена героя — что за стыд!
Живет своим трудом.
Не наряжается в кредит
И с белошвейкой говорит,
Как с равным ей лицом.
Жена героя — что за стыд!
Живет своим трудом.

Нет, я не дам жене своей
Читать роман такой!
Не надо новых нам людей
И идеальных этих швей
В их новой мастерской!
Нет, я не дам жене своей
Читать роман такой!

Воинствующая демократическая защита идейного содержания романа Чернышевского переплетается здесь с едкой издевкой над жанром светской повести, столь популярным у дворянских писателей предшествующей эпохи.

Переводные стихотворения Курочкина вливают свои голоса в этот гимн плебейского самоуважения. Когда мы читаем в переводе Курочкина песню Беранже «Положительный человек»:

«Проложи себе в свете дорогу!..» —
Думал тоже, да вышло не в прок:
Чище совесть, зато, слава богу,
Чище совести мой кошелек.

Я истратить всего
Не сумею,
Так как я ничего не имею,—

или когда мы обращаемся к «Песне труда» Беранже в переводе Курочкина:

Слава святому труду!
Бедность и труд
Честно живут
С дружбой, с любовью в ладу.
Слава святому труду!

На неподкупленной лире
Громкую славу споем
Тем, кто живет в этом мире
Честным трудом,—

или, когда мы вспоминаем курочкинский перевод «Песни бедняка» Роберта Бержа,— перед нами возникает тот же центральный образ, который мы находим в оригинальном творчестве Курочкина,— образ честного, независимого и презирающего знать и богачей бедняка-труженика.

Характерен образ смерти, заключающийся в курочкинском переводе сатиры Огюста Барбье «Всемирная сила»:

И с этой мыслью ты смежил спокойно очи
И опочил навек
Тем безмятежным сном, которым спит рабочий
И честный человек.

Курочкин, таким образом, во многом близок Г. Н. Жулеву (Скорбному Поэту). Оба они неразрывными узами связаны со столичной беднотой, в частности и в особенности с «умственным пролетариатом». Мотивы независимой и неунывающей бедности, мотивы презрения к аристократии и плутократии об'единяют Курочкина с Жулевым. Но в то время, как Жулев не пошел дальше этих мотивов и остался чужд революционному сознанию, Курочкин поднялся на высшую ступень классового самосознания и стоял на высоте социальных идеалов революционного авангарда разночинной интеллигенции

Перед каждым молодым разночинцем неизбежно вставал роковой вопрос о выборе пути: отдаться ли заботам о личном устройстве, или бороться за коренные исторические интересы своей социальной группы, приспособляться ли во имя карьеры к господствующим классам, или об'явить им войну не на живот, а на смерть. Этой теме выбора посвящена могучая песня Некрасова «Средь мира дольного», с ее призывом покинуть «просторную дорогу торную страстей раба» и «итти к униженным, итти к обиженным», итти на труд, на бой «за угнетенного, за обойденного». Курочкин не мало творческих сил потратил на то, чтобы побудить разночинческую молодежь сделать именно тот выбор, к которому призывал Некрасов. В замечательной сатирической поэме «Дама приятная во всех отношениях» Курочкин нарисовал те многообразные средства, при помощи которых господствующие классы отвлекают молодежь от революционной борьбы. Пошлость людская, явившись на светский банкет, произносит застольную речь:

«В юношах пылких, для битвы со злом
Смело готовых итти напролом,
Кровь охлаждаю я видами
Близкой карьеры и дальних степей,
Или волную гораздо сильней
Минами, Бертами, Идами.

Смотришь: из мальчиков, преданных мне,
Мужи солидные выйдут вполне,
С знаньем, с апломбом, с патентами.
Ну, а мужей, и особенно жен,
Я утешаю с различных сторон —
Бантами, кантами, лентами,

Шляпками, взятками... чорт знает чем.
Тешу, пока успокою совсем
Старцев, покрытых сединами,
С тем, чтоб согреть их холодную кровь,
Фетом, балетом, паштетом и вновь
Идами, Бертами, Минами.

Это — образец социально значительной, беспощадно саркастической и технически виртуозной сатиры. Комические перечисления средств пошлости, закрепленные и заостренные внутренними рифмами, втаптывают в грязь, принижают до предела об'ект сатиры. Особенного внимания заслуживает перечисление «Фетом, балетом, паштетом». Утонченная барская поэзия Фета оказывается в одном ряду не только с балетом, но и с паштетом, а также с бантами, кантами, лентами, шляпками, взятками, чорт знает чем. Невозможно было более ярко выразить глубочайшее презрение разночинцев к дворянскому искусству.

Курочкин был беспощаден к тем, кто предпочел «просторную дорогу горную страстей раба». В стихотворении «Явление гласности» он язвительно высмеял недавнего либерала и поборника гласности, прельстившегося карьерой и доходами и изменившего былым идеалам. Зато с величайшей теплотой подходил поэт к проявлениям пробуждения в молодежи революционного сознания. Упомянем чрезвычайно характерное для эпохи стихотворение «Ни в мать, ни в отца», рисующее дочь богача, вступившую на путь разрыва со своей средой.

Курочкин неутомимо бичевал правящую крепостническую реакцию. Лишь на мгновение поддался он иллюзиям относительно реформаторских планов Александра II. В стихотворении «Через триста шестьдесят пять дней», открывавшем первый номер «Искры» (январь 1859 года), мы встречаем пожелание:

Пусть добром нас вспомнят дети наши,
И царя благословит народ.

Справедливость требует отметить, что это пожелание сопровождалось достаточным количеством скептических оговорок. Во всяком случае, эти строки (неудивительные в то время,— вспомним иллюзии Герцена) являются единственным неверным звуком, извлеченным из лиры рукой Курочкина. Все дальнейшее его отношение к правительству и «реформам» безупречно.

Лютой ненавистью ненавидел Курочкин крепостнический строй. Эта ненависть нашла себе полнозвучное выражение в превосходной сатире «Старая песня», заканчивающейся горькими восклицаниями:

Да, когда ж споем другую!
Разве нету голосов?
И не стыдно дрянь такую
Петь уж несколько веков!
Или спать, сложивши руки,

При движении племен,
Богатырским сном под звуки
Песни дедовских времен?

Чувствительные удары направил Курочкин против лицемерных «реформ» Александра II, разоблачая их половинчатость и неудовлетворительность. Вот характерное разоблачение пресловутой «гласности», якобы допущенной правительством:

В сей песне сорок восемь строчек,
Согласен я — в них смыслу нет;
Но рифмы есть везде, и точек
Компрометирующих нет.
Эпоха гласности настала,
Во всем прогресс, но между тем —
Блажен, кто рассуждает мало
И кто не думает совсем.

Нападения Курочкина на господствующую реакцию бесчисленны. Он нещадно преследовал реакционных журналистов: Аскоченского, Каткова (см., например, «Московский фигляр»), Скарятина (см. бесподобное «Табунное ржанье»). Характерен удар Курочкина и по антисемитизму:

Мы с вами под диктовку пишем
Несходных нравами богов:
Мы — под диктовку доброй феи;
Вы — гнома злобы и вражды;
Для нас — евреи суть евреи;
Для вас — евреи суть жиды.

Но и тут проходит водораздел между «отцами и детьми» 60-х годов — Курочкин, неутомимо нападая на крепостническую реакцию, не менее сокрушительно высмеивал и либералов. В ядовитой сатире «Сон на новый год» он со всей беспощадностью разоблачил либеральные стремления смягчить, притупить борьбу классов, примирить интересы эксплоататоров и эксплоатируемых. Заступаясь за Чернышевского в великолепной сатирической сценке «Два скандала», Курочкин доказывал, что аристократические нападки на вождя разночинцев могут исходить только от Молчалина, Загорецкого и других персонажей «Горя от ума». Но если реакционеры — воскресшие типы комедии Грибоедова, то либералы — воскресшие герои сатирической поэмы Гоголя:

Уж Чичиков с тобой за панибрата.
На вечерах
Он говорит гуманно, кудревато
О мужичках,
Про грамотность во всех посадах, селах,
По деревням,
И, наконец, детей в воскресных школах
Он учит сам.
Замыслил он, с тревогою бывалой
Трудясь, как вол,
Народный банк, газету, два журнала
И общий стол.
Об нем кричит публично Репетилов;
Его вознес
До облаков чувствительный Манилов
В потоках слез:
Мол, Чичиков гуманен! идеален!
Ведет вперед...

Порою Курочкин бичевал либералов едва ли не с большей язвительностью, чем реакционеров. Характерная черта революционных разночинцев, мужественно боровшихся за «американский путь» развития против либе-

ралов, отстаивавших «прусский путь»,— черта, которую так любил в Чернышевском Ленин. В высшей степени характерно желчное стихотворение Курочкина «Примерный фат», в котором автор выражает свое предпочтение безмозглому аристократическому кутиле перед либеральным краснобаем за то, что первый, по крайней мере, хоть не произносит красивых фраз. Эта глубочайшая ненависть к фразе, не претворенной в дело,— одно из отличительных свойств революционных разночинцев, отделявших их от либерального барства. Эта ненависть к фразе — один из распространеннейших мотивов разночинческой поэзии. Приведем для примера стихотворение забытого ныне, но несомненно даровитого сотрудника «Искры» Л. И. Пальмина:

Велики герои, что древле кричали
В борьбе с гегемонией зла
И славные подвиги скромно свершали,
Как будто простые дела.
Но мы знаменитей... герои иные,
Обратны героям былым:
Мы с шумом великим делишки простые
Как подвиг ужасный творим...
Те, словно в цырюльню, к смертельному бою
Шли тихо, с спокойным лицом;
А мы так напротив — в цырюльню порою
Как будто на битву идем...
Те яд принимали с улыбкою ясной,
Как будто простой лимонад,
А мы так и пиво пьем с миной ужасной,
С геройством, как будто бы яд...

Это — все та же разночинческая неприязнь ко всякой позе и фразе.

Среди ударов Курочкина по либерализму выделяется превосходная «Рапсодия о нигилизме». В ней с убийственной иронией высмеивается роман Тургенева «Отцы и дети». Курочкин, в полном соответствии с позицией «Современника», бичует тургеневский роман, доказывая, что он по существу является защитой дворян от революционных разночинцев.

Курочкин был злободневен в лучшем смысле этого слова. Необычайно чутко откликался он на все боевые вопросы революционного разночинческого движения. Выше приводился отклик Курочкина на травлю реакционерами романа Чернышевского. Это — не единственный отклик его на эту тему. Есть еще одно небольшое аналогичное стихотворение:

Молодая жена,
Ты «Что делать?» взяла?
Эта книга полна
Всякой грязи и зла.
Брось зловредный роман,
В нем разврат и порок,—
И поедем канкан
Танцовать в «Хуторок».

В стихотворении «С дымом пожара» Курочкин высмеял антинигилистическую свистопляску, поднятую реакцией в связи со знаменитым пожаром Апраксина рынка. Прочувствованным стихотворением, перекликающимся с аналогичным произведением Некрасова, отозвался Курочкин на смерть Писарева. Между прочим это стихотворение характерно внедрением в высокий патетический строй речи типичных прозаических оборотов публицистики, прозаического синтаксиса и лексики:

Мир памяти скончавшегося — он
Писатель был талантливый и честный.
Талантливый и честный! В двух словах
Заключена властительная сила...

В борьбе со злом, идущей без конца,
Им двигала полезная идея...

Читателю и теперь уже ясно, что Курочкин — антипод дворянской поэзии, что Курочкин — активный участник той литературной революции, которая обычно связывается с именем ее вождя Некрасова. Добавим еще несколько штрихов. Выросшая, разумеется, на определенной социальной почве скорбь дворянских поэтов обычно облекалась в асоциальное, космическое одеяние «мировой скорби». Тщета жизни, страх смерти — характерные мотивы дворянской лирики от Державина до Тютчева. Скорбь разночинческих поэтов — конкретная гражданская скорбь. Стихотворение Курочкина «Тик-так! Тик-так!» разрабатывает тему времени — одну из «вечных» тем.

Время и его овеществленное выражение — часы,— какой благодарный материал для разработки идеи тщеты земного существования! Напомним о знаменитом стихотворении Державина «На смерть князя Мещерского». Напомним о не менее знаменитой «Бессоннице» Тютчева:

Часов однообразный бой —
Томительная ночи повесть!
Язык для всех равно чужой —
И внятный каждому, как совесть!

Кто без тоски внимал из нас,
Среди всемирного молчанья,
Глухие времена стенанья,
Пророчески прощальный глас...

. . . .

И наша жизнь стоит пред нами,
Как призрак, на краю земли.—
И с нашим веком и друзьями
Бледнеет в сумрачной дали.

И новое, младое племя
Меж тем на солнце расцвело,
А нас, друзья, и наше время
Давно забвеньем занесло.

Лишь изредка, обряд печальный
Свершая в полуночный час,
Металла голос погребальный
Порой оплакивает нас!

А вот как разрабатывает эту тему Курочкин:

«Тик-так, тик-так» в спокойной силе
　　Волнует сердце, гонит сон...
Что ж это? Скука просто — или
　　«Глагол времен, металла звон»?
Мы слышим в звуках, всем понятных,
　　За звуком звук, за шагом шаг —
Движенье вечное в природе.
　　Тик-так! Тик-так!

　　Мы слышим в звуках, всем понятных,
　　Закон явлений мировых:
В природе нет шагов попятных,
　　Нет остановок никаких!
Мужайся, молодое племя!
　　В сияньи дня исчезнет мрак.
Тебе подсказывает время:
　　Тик-так! Тик-так!

Поучительнейшее сопоставление. Два стихотворения — два поэта. Два поэта — два мироощущения. Два мироощущения — два класса. Тютчев —

певец класса, сходящего с исторической арены, певец времени, обреченного на забвенье, и каждый шаг времени, каждый поворот часовой стрелки означает для него приближение неизбежного конца,— не только личной смерти, но и смерти того мира, с которым неразрывно связан поэт. Курочкин же — певец молодого класса, идущего на смену дворянству, певец того «нового младого племени», которое «меж тем на солнце расцвело» к ужасу Тютчева. Для Курочкина каждый шаг времени, каждый поворот часовой стрелки означает приближение неизбежного торжества его класса. Для Курочкина время — выражение непрерывного исторического развития, а поэту-разночинцу нечего было бояться этого развития. Наоборот, с этим развитием он связывал все свои надежды.

У Курочкина есть стихотворение «Рассказ няни» (1855 г.). Стихотворение это явно представляет собою отклик на известные строфы «Евгения Онегина», рисующие беседу Татьяны с няней. И на этом примере наглядно вскрывается противоположность между дворянской и разночинческой поэзией. Няня рассказывает Татьяне историю своего замужества, ярко показывающую кошмарное положение крепостных. О том же повествует няня героине Курочкина. Но у Пушкина рассказ няни — только мимолетный эпизод, находящийся на периферии повествования. В центре — любовные переживания Татьяны. У Курочкина же в центре — страдания няни, а ее собеседница-барышня едва намечена. Каждая строфа стихотворения кончается горьким рефреном:

Нам и любовь не в любовь,
Нам и позор не в позор.

Пушкин и Курочкин разработали один сюжет, и эта разработка обнажила то коренное различие между дворянской и разночинческой литературой, которое было блестяще вскрыто Плехановым в его статье о Некрасове (Собр. соч., т. X, стр. 379—382).

Подобно Некрасову и другим разночинческим поэтам, Курочкин очень охотно давал стихотворные формулировки своего поэтическго «кредо». В № 2 «Искры» (1859 г.) Курочкин напечатал программное стихотворение:

Я не поэт и, не связанный узами
С музами,
Не обольщаюсь ни лживой, ни правою
Славою.
Родине предан любовью безвестною,
Честною.
Не воспевая с певцами присяжными,
Важными
Злое и доброе с равными шансами,
Стансами,
Я положил свое чувство сыновнее
Все в нее.
Но не могу же я плакать от радости
С гадости,
Или искать красоту в безобразии
Азии,
Или курить в направлении заданном
Ладаном,
То есть заигрывать с злом и невзгодами
Одами.
С рифмами лазить особого счастия
К власти я
Не нахожу, там какие бы ни были
Прибыли.
Рифмы мои ходят поступью твердою,
Гордою,
Располагаясь богатыми парами —
Барами!

Ну, не дадут мне за них в академии
Премии;
Не приведут их в примерах пиитики
Критики...
. . . .
Если найдут книжку с песнями разными,
Праздными
Добрые люди внимания стоящей —
Что еще!
Если ж я рифмой свободной и смелой
Сделаю,
Кроме того, впечатленье известное,
Честное,—
В нем и поэзия будет обильная,
Сильная
Тем, что не связана даже и с музами
Узами.

Все характерно здесь для некрасовской школы: пафос общественной независимости и утилитарный взгляд на задачи искусства (впечатление честное), и своеобразное революционное западничество, и демонстративное подчеркивание разрыва с музами, то есть с традиционной барской «поэтичностью» (см. у Некрасова: «Нет в тебе поэзии свободной...»). Столь же характерны и формальные особенности: некрасовский дактиль, обороты публицистической прозы, фельетонно-каламбурная строфика и рифмовка. Но сквозь эту фельетонную внешность пробивается глубокая серьезность идеи и темы, пробивается затаенный пафос. Из легкомысленного фельетона рождается новая высокая лирика, настроенная совсем по иному камертону, чем высокая лирика дворянства.

Любопытно, что в курочкинском переводе песни Беранже «Гроза» мы находим совершенно некрасовскую формулировку поэта:

Если я гибну певцом
Бедствий народных и слез...

В другом стихотворении «На праздниках» Курочкин восклицает, обращаясь к своему проводнику — лесажевскому Асмодею:

Диктуй же, чорт! Для нас обнажена
Натура.
Так чорт ли в том, что не соблюдена
Цезура?

Это вызывающее выпячивание верности «натуре» и подчеркнутое пренебрежение к форме (не мешавшее чрезвычайно интенсивной работе над выковыванием новых форм) тоже представляет собою характернейшую литературную декларацию разночинца.

Рука об руку с Некрасовым Курочкин воевал против канонов дворянской поэзии, против ее доминирующих идей и тем, против ее излюбленных жанров, против ее главенствующих образов и словесного материала. В сатире «Возрожденный Панглосс» Курочкин бросил резкий вызов поэтам «чистого искусства», хранителям традиций светской и поместной поэтики:

Ну да, мы — на-смех стихотворцы!
Да, мы смешим, затем, что грех,
Не вызывая общий смех,
Смотреть, как вы, искусствоборцы,
Надеть на русские умы
Хотите, растлевая чувства,
Халат «искусства для искусства»
Из расписной тармаламы.

В собрании стихотворений Курочкина мы почти не встречаем произведений, написанных в стиле барского искусства. Таким опытом следует, пожалуй, признать перевод поэмы Альфреда де-Мюссе «Ива». Тут мы находим все, чему полагалось быть в традиционной поэзии светского стиля, вплоть до лазурной глубины очей и ангельской улыбки возлюбленной поэта. Зато как слаб этот перевод по сравнению с переводами из Беранже или Барбье! И как чужд этот перевод основной творческой манере Курочкина!

Курочкин вместе с Некрасовым и Владимиром Монументовым наиболее плодотворно потрудились над снижением и разрушением поэтических принципов пушкинской школы. С особой едкостью преследовал Курочкин последнего представителя пушкинской плеяды, князя П. Вяземского. «Стансы на будущий юбилей Бавия», «В гостях и дома», «Граф — князю», «Эпитафия Бавию» — вот сатиры Курочкина, направленные против скатившегося к черной реакции былого друга Пушкина. Особенно примечательны «Стансы»:

Без вдохновенного волненья,
Без жажды правды и добра,
Полвека я стихотворенья
На землю лил, как из ведра...
. . . .
Литературным принят кругом
За муки авторских потуг,
И я бы Пушкина был другом,
Когда бы Пушкин был мне друг.
. . . .
Я протащил свой век печальный,
Как сон, как глупую мечту,
За то, что тканью идеальной
Порочил правды красоту.

За то, что путь я выбрал узкий
И, убоясь народных уз,
Писал, как русский, по-французски,
Писал по-русски, как француз.

Не знал поэзии в свободе,
Не понимал ее в борьбе,
Притворно чтил ее в природе
И страшно чтил в самом себе.

За то, что, в диком заблужденье
За идеал приняв застой,
Все современное движенье
Я назвал праздной суетой.

За то, что думал, что поэты
Суть выше остальных людей,
Слагая праздные куплеты
Для услаждения друзей...

Курочкин бьет здесь не только реакционную политическую позицию Вяземского, но и его поэтику: романтический взгляд на поэта, «лакировку» действительности, салонность слога и т. д.

Многочисленны пародии Курочкина на дворянских поэтов, не уступающие лучшим пародиям Некрасова, Гнута и Владимира Монументова. Чрезвычайно характерно и интересно большое пародийное стихотворение «Роковое недоразумение». Оно начинается строфами, почти выдержанными в стиле «чистого искусства»:

— Удалимся от мирских волнений
В мир волшебных, сладких вдохновений.
Ах! Поедем, нас зовет весна! —

Молвил милой я в начале мая,
В Коломягу ехать приглашая.
— Ах, поедем! — молвила она...

— Ну, а там блаженство жизни нашей
Станем пить мы золотою чашей
И осушим всю ее до дна.
Юный Феб в своем наряде ярком
Каждый день разбудит нас подарком...
— Ах, чудесно! — молвила она.

— Каждый день с улыбкой ясной Феба
Над тобою будет вместо неба
Бирюза чистейшая одна.
В час заката — новые картины:
Изумруды, перлы и рубины...
— Дорогой мой! — молвила она.

— Ночью — вновь сокровища и грезы:
В лунном свете стройные березы,
Наклонясь из нашего окна,
В бриллиантах свесятся на ложе,
В бриллиантах звезды будут тоже.
— Золотой мой! — молвила она.

Это нарочито банально, но звучит почти всерьез. Собран чуть не весь букет «поэтических» штампов: любовное уединение на лоне весенней природы, чаша блаженства, юный Феб, бирюза неба, изумруды, перлы и рубины заката, бриллианты звезд и т. д. Только прозаичнейшее наименование места всех этих красот — «Коломяга» — лукаво притаилось и не сулит ничего доброго романтической мишуре. Любовная поездка началась:

Предвкушая счастие и негу,
Обнялись и сели мы в телегу —
И dahin, dahin повез чухна
По неровной муринской дороге.
Вдруг толчок, и — праведные боги! —
— Что за мерзость! — молвила он

Чухна с телегой вместо традиционной кареты, толчки на дороге, ругательство спутницы! В мотив врываются диссонансы. «Грубая натура» начинает соскребать «поэтическую» мишуру. А в самой Коломяге — мрачный финал романтических грез:

— Где ж подарки господина Феба?
К чаю нет порядочного хлеба,
Нет воды, не только уж вина.
В деревянной чашке простокваша —
Это, что ли, золотая чаша?
Ах, обманщик! — молвила она.—

Как я вижу, ловок на обман ты!
Бирюзу сулил мне, бриллианты...
Да и я, никак, была пьяна —
На его польстилась на рубины.
Все-то вы обманщики, мужчины!
Шаромыжник! — молвила она.

Так постепенно развертывается последовательное снижение в с е х т р а д и ц и о н н ы х э л е м е н т о в д в о р я н с к о й р о м а н т и к и. Аналогичный характер носит остро-пародийное стихотворение Курочкина «Турнир в Пассаже».

Курочкин, как и вся некрасовская школа, отвергая барскую эстетику, отвергал сладенькую «красивость», отвергал самоцельную игру формами. Но было бы ошибкой думать, что Курочкин был вообще безразличен к технологическим проблемам поэзии. Он очень даже заботился о форме, но он искал формы новой, своей, адэкватной новому содержанию разночинческой поэзии. В стихотворении, обращенном к юмористам «Отечественных записок», Курочкин сформулировал взгляды «поморной музы» (поэты «Искры» называли себя поморянами) на искусство сатирической поэзии:

Поморная муза резва!
В стихах, понимаете, надо
Уметь, как расставить слова,
Чтоб свистнуло с первого взгляда.

Умеючи, надо шутить
С богиней веселых мелодий:
Как вам нужно кушать и пить,
Так нужен размер для пародий...

Зато им богинею дан
Надежнее стали звенящ
Для битвы с врагом талисман:
Стих, мягко и нежно свистящий,

Одним услаждающий слух,
Других повергающий в холод,
И главное — легкий, как пух,
Но пошлость дробящий, как молот.

Курочкин — неутомимый изобретатель стиховых форм. Характер его новаторства определяется его положением среди разночинческих поэтов. Курочкин далек от деревни. Он — сын городского «умственного пролетариата», городской разночинческой бедноты. С другой стороны, он — сатирик с головы до пят. Конечно, в отличие от своего собрата по воспеванию городской бедноты Жулева, Курочкин обладал глубоко продуманными и прочувствованными социальными идеалами. Отсюда, между прочим, разница между смехом Жулева и Курочкина: Жулев — юморист, Курочкин — сатирик; смех Жулева достаточно безобиден, смех Курочкина дышит тем презрением, о котором прекрасно сказал Александр Блок:

Презренье созревает гневом,
А зрелость гнева есть мятеж.

Как сатирик по преимуществу, Курочкин избегал прямой патетики, прямой положительной художественной пропаганды своих идеалов. Он выявлял свой пафос большею частью через отрицание. По всем этим причинам Курочкину остался чужд путь обновления стиха через ориентацию на крестьянский фольклор,— путь, которым с таким блеском шел Некрасов в «Зеленом шуме», «Коробейниках» и «Кому на Руси жить хорошо». Городская сатирическая поэзия Курочкина опиралась в своем новаторстве на приемы легкого и глубокого сатирического куплета Беранже и на опыт стихотворного фельетона, впервые теряющего характер пустой болтовни обо всем и ни о чем и трансформирующегося в новые жанры демократической гражданской лирики. Форма «куплета» с задорным рефреном как нельзя более подходила для целей Курочкина. Курочкину требовалось добиться острых поэтических сатирических формул, кото-

рые глубоко запали бы в память читателю, вошли бы в обиход, стали бы разменной монетой разговора, плотно прилепились бы к об'ектам нападения. Именно это требование осуществлялось отточенным рефреном, хлестким каламбуром, неожиданной рифмой и т. д. Вспомним рассказ Пантелеева о том, с каким неистовым восторгом встречала разночинческая аудитория как раз припев курочкинского перевода одной из гениальных сатир Беранже:

Тише, тише, господа!
Господин Искариотов —
Патриот из патриотов —
Приближается сюда!

Стих сатир Курочкина действительно обладал теми свойствами, которые были прокламированы в цитированном ответе юмористам «Отечественных записок»: стих этот был легок, как пух, но врагов дробил, как молот.

Техническое стиховое мастерство Курочкина было очень велико. Это явствует и из многих приведенных цитат. Яркий пример стиховой изобретательности Курочкина — сатира «Идеальная ревизия». Правительственный ревизор беседует с ревизуемым взяточником и казнокрадом:

— Дороги у вас в околодке!
Ухабы, озера, бугры...
— Пожалуйста, рюмочку водки!
Пожалуйста, свежей икры!..
— Пословица службы боярской:
Бери, да по чину бери.
— Пожалуйста, честер швейцарский;
Пожалуйста, стильтону, бри...

Так построено все стихотворение: первая половина каждого четверостишья передает речь ревизора, вторая — только перечисляет угощения, предлагаемые ревизуемым. И по мере нарастания этого перечня угощений ревизор все более и более смягчается:

— Положим, что вы увлекались:
Сходило предместнику с рук...
— Сигарочку вам-с: имперьялис,
Регалия, упман, трабук.
— Положим, я строг через меру,
И как-нибудь дело сойдет...
— Пожалуйста... Эй, редереру!
Поставить две дюжины в лед!

Как образец технической изобретательности Курочкина, назовем еще изящное стихотворение «Знаки препинания».

Лермонтов тосковал о высоком общественном значении поэзии:

Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы,
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы.
Твой стих, как божий дух, носился над толпой
И, отзыв мыслей благородных,
Звучал, как колокол на башне вечевой
Во дни торжеств и бед народных.

О таком образе поэта мечтал Лермонтов. Некрасов и его поэтические соратники осуществили эту мечту. Их стих действительно был нужен толпе, их стих действительно был «отзывом мыслей благородных», их стих

действительно «звучал, как колокол на башне вечевой во дни торжеств и бед народных». И Курочкину среди них — одно из первых мест.

Курочкин был злободневен. Он родоначальник той повседневной газетной политической поэзии, которая в нашем столетии прогремела стихами Демьяна Бедного. Разумеется, Курочкину приходилось откликаться и на явные мелочи-однодневки. Так, несколько блестящих пародий посвятил он такому факту, как обнаружение в столичном пиве примеси одуряющего, ядовитого растительного сока кукельвана. Но обычно у Курочкина сквозь злобу дня просвечивает эпоха, события минуты перестали в эпохиальные обобщения. Эта жгучая злободневность, согретая высоким гражданским энтузиазмом и озаренная передовым революционным мировоззрением эпохи,— характернейшее свойство поэзии Курочкина, свойство, очень поучительное для пролетарской поэзии.

В упоминавшейся хрестоматии Гербеля помещено небольшое стихотворение Курочкина, как бы подводящее итоги его литературной деятельности

Честным я прожил певцом,
Жил я для слова родного,
Гроб мой украсьте венком:
Трудным для дела благого
В жизни прошел я путем.
Пел и боролся со злом
Силой я смеха живого.
Гроб мой украсьте венком:
Трудным для дела благого
В жизни прошел я путем.

Этими строками мы и закончим свой очерк.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

«Писатели-ударники». Литературно-художественный сборник, посвященный борьбе за промфинплан. Изд-во «Федерация». М., 1930. Тир. 15 000. Стр. 115 Цена 75 к

«Он торчал у меня поперек горла, как бельмо в глазу». Так писал граф С. Ю. Витте. Граф С. Ю. Витте, как известно, на звание писателя не претендовал; А И. П. Уткин, как известно, звание поэта носит. И пишет:

Скользят эшелоны
гремят поезда
Реконструктивного
время.

На этом, однако, поэт И. П. Уткин успокоиться не может. И продолжает:

Он рад, пролетарий,
Он лозунга речь
Врезает
за видный
угол (?!?!) — **Ф.З.)**

В этом же стихотворении, озаглавленном длинно и помпезно: «Стихи о московских рудокопах, каширских рабочих и социализме»,— мелькает и такой исключительный образ:

Прорыв,
Который
только
посеян.

Воистину, что посеешь, то и пожнешь. Издательство, видимо в бешеной гонке готовившее этот сборник (о гонке говорит бесконечное количество опечаток и плохая брошировка), выпустило сборник, в котором непростительно много небрежных, граничащих с халтурой вещей. Мы пред'являем жесткие, крутые требования к сборнику, названному «Писатели — ударникам». Чем должен был явиться такой сборник? Праздничным угощением ударникам? Беззаботной болтовней на актуальные темы строительства? Нет, он должен был явиться литературно-художественным отчетом по вопросу о том, как советские писатели включились в ударничество, какое непосредственное участие они в нем принимают. Это — в первую очередь.

Б. Леонтьев в предисловии к книге пише

«Эта книга является п е р в о й (р а з р я д к а м о я.— **Ф.З.**) попыткой дать актуальный, сегодняшний, боевой художественный материал».

Скромность, как видите, потрясающая. Нет актуальной литературы, кроме данного сборника. Не будем возражать Леонтьеву и приводить примеры сегодняшней и вместе с тем актуальной литературы. Предположим, что Леонтьев описался. Но можно ли принять за описку следующее: трактуя о противоборствующих советской литературе течениях, Леонтьев забывает о буржуазном течении, указывая лишь на мелкобуржуазное и на «правооппортунистические ошибки и шатания». Ограничивать буржуазные влияния только этим — значит проявить политическую близорукость.

Точно так же п о л и т и ч е с к о й ошибкой следует признать то, что в достаточно обширном предисловии не промолвлено ни одного слова о призыве ударников в литературу. В сборнике, озаглавленном «Писатели — у д а р н и к а м», популяризация этого важнейшего литературно-политического шага была бы не только уместна, но и необходима.

Вернемся, однако, к стихам.

В стихотворении — «Установка» А. Кудрейко пишет:

Покуда мерцают (? — **Ф. З.**) неверье и косность,
Заданье окутывает туман (кто кого окутывает? — **Ф. З.**),
Во многих местах работа несносна (?! — **Ф. З.**)
И не выполняется промфинплан!

Прошу прощения у читателя за многочисленные вопросы, вкрапленные в текст стихотворения. Но мне хотелось уяснить смысл «Установки». А смысл, на поверку, не утешительный. Как же, действительно, выполнять промфинплан, если работа несносна, т. е. п р о т и в н а, т. е. вызывает отвращение (перебираю синонимы)? Кончается стихотворение так:

Это —
слава твоим страницам,
План,
разнесенный по годам!
Штык твой шествует по границам,
Труд — по селам и городам!

Если даже отбросить двусмысленность слова «разнесенный» (разнесенный вдребезги, например) — и то получается «мудревато».

Так же пустозвонны и малограмотны стихи С. Липкина (примеры: «Недаром реет над станком, алеет знамя стройки». «Задачи партией даны,— перевысим (? — **Ф. З.**) мы любую»). Сухи, декларативны и художественно неубедительны стихотворения В. Инбер «Новый год», Б. Уральского «Я обещаюсь» (опять безграмотность: «обещаюсь»).

Выделяются стихи Безыменского (правда, они известны и по другим изданиям), «Прорыв» С. Обрадовича и «Стихи о кадрах» И. Шагалова, в которых автору удалось предельно сжато отобразить пролетаризацию рядового крестьянского парня, пришедшего на завод.

Проза в сборнике лучше и представлена богаче, нежели стихи. Наряду с типичными зарисовками (Ассанов, Ставский), мы здесь сталкиваемся и с новеллами (А. Яковлев), фельетонами (Г. Рыклин), очерками (Ф. Гладков, Б. Агапов, И. Жига, И. Катаев), рассказами (В. Вересаев, К. Минаев), отрывками (Н. Ляшко, В. Бахметьев). Стоящая почти на одном уровне по степени художественного воздействия, проза вся пафосна, несколько приподнята, динамична. Прочитав эту прозу, в которой авторам пришлось столкнуться с новым актуальнейшим материалом в пределах коротких, небольших произведений, писанных по-журналистски, быстро,— легче уяснить творческое лицо того или иного писателя. Здесь на редкость отчетливо видно, что новый этап нашего развития — реконструктивный период — действительно экзамен для каждого автора.

Пассивистский, об'ективистский очерк И. Катаева не может, конечно, произвести такого впечатления, как очерк Жиги, скажем.

И. Жига в очерке «Экзамен» ни на мгновение не углубляется в изгибы психологии индивидуального человека. Он показывает процесс становления классового человека, отметая сентиментальность, ощущая ее несоответствие тонусу сегодняшнего советского дня.

Следует отметить исключительно тонкий по мастерству психологического анализа этюд Н. Ляшко «Ударник». Ляшко удалось на трех страничках исчерпывающе осветить тип старого рабочего, целиком отдающего себя коллективу и потому аскетически относящегося к личной жизни. Старый тип вечно неудовлетворенного искателя прекрасного получил современное разрешение: он представлен, как дрожжи коллектива, как неустанное бродило. (Заметим в скобках, что эта тема и такое ее разрешение — в плане жертвенности отчасти — вообще характерны для Ляшко.)

Необходимо также отметить новеллу А. Яковлева, тонко рисующую необычайную остроту чувства ответственности перед коллективом у наших пионеров.

Ф. Звойдин

Ольга Форш. «Причальная мачта». Пьесы, сказки, рассказы, статьи. Собр. соч. Т. V. ГИЗ. М.—Л. 1930. Тир. 4 000. Стр. 247. Цена 2 р. 20 к. в переплете.

Название тома взято от пьесы «Причальная мачта» в начале книги. Пьеса эта —наиболее художественная вещь в сборнике и наилучше выясняет идеологический облик автора. Собственно, причальная мачта (советских дирижаблей, летящих к главной их станции на полюсе) появляется в пьесе лишь однажды, в последнем акте; но как центральный символ дает установку всему действию пьесы. Ибо смысл ее состоит в героическом устремлении советской науки или,— говоря обще, советской культуры — к завоеванию полюса и севера, что прямиком выражается в заключительной речи пролетария-матроса Товкача: «Хай живе причальна мачта нашей революции — культура!»

Но из пьесы же проглядывает и немаловажный недостаток авторской идеологии — именно, преувеличенное ударение на культурной революции, как на определяющем моменте «нашей революции» вообще. Конечно, культурная революция — необходимое, даже решающее условие социалистического строительства в стране Советов. Но сама она определяется, направляется, руководится верховной целью — именно, скорейшим и полным построением социализма. А эта верховная цель сразу выдвигает вперед такие стороны задачи, каких культурная революция сама по себе еще не предугадывает; в особенности — необходимость жесточайшей классовой борьбы с капиталом, с кулаком, с внешним империализмом. Только путем классовой борьбы создается у нас и социализм, и та же самая культурная революция. Только диктатурой рабочего класса.

Надо впрочем признать и в данной пьесе известное понимание значения классовой борьбы. Вокруг причальной мачты и вокруг экспедиции на утлом «каике» молодого советского ученого Ермилова идет борьба, особенно с немцем-капитаном парохода, скверным, своекорыстным буржуа. Но борьба эта: 1) недостаточна, ибо капитан случайный здесь человек, чужой, «внешний» Советскому Союзу; будь пароход свой, советский, и борьбы никакой не было бы и 2) капитан — мелкий хищник, не воплощающий всей огромности борьбы

за социализм против империалистического мира. Получается в главном «борьба» с севером, с полюсом, с природой. А это уже дорожка к «идеологии» не пролетарской, к так называемому «прогрессу науки», «прогрессу цивилизации», к «мирной эволюции», как принято в либерально-буржуазных учебниках истории. Реальная борьба с господами и хозяевами прошлого скрадывается, смазывается. Главными героями строительства социализма оказываются те же, что и в завоеваниях... капитала прошлых веков (исследователи, ученые). Автор этого не сознает, но помимо воли стоит на этой дороге так же и во второй пьесе: «Лектор-заместитель».

Вот почему у него и пролетарии в пьесе обрисованы в общем симпатично, даже с любовью — такие все ограниченные, как бы осужденные своей «некультурностью» на служебную, подчиненную роль при герое-культуроносце. Они выражаются так: «Верую в науку, як мати-покойница в Троеручицу» (икону). А герой науки Ермилов: «Наука одна добьется окончательного раскрепощения человека». Причальная мачта оказывается где-то сбоку социализма...

От данной пьесы идет освещение и на все остальные вещи сборника. Впрочем, большинство сказок и рассказов носят, вообще, характер, как бы нарочито лишенный идеологии. Сказки часто и посвящены тому или другому ребенку, напоминая по содержанию нечто заноздало-андерсеновское. В самом деле, вряд ли стоит детям нашей эпохи, эпохи революционного катаклизма, преподносить историйки о добрых и злых зверьках и птичках, такие далекие от нас, хотя можно быть и близкие уровню детской мелкобуржуазной массы Андерсена. У нынешних советских детей герои — Ильич, ледокол «Красин», советские радиолучи, матросы фильма «Потемкин». Предполагать даже детский уровень настолько ниже эпохи — странно и вредно.

Есть кое-что в сказках и рассказах прямо устарелое. Часто обстановка в них, я бы сказал, искуственно-омертвелая. Жизнь генералов, помещиков с их дворней, «институток», даже царей (хотя и морских) — и все это не в видах критического к ним отношения, а просто как фон картины, будто бы еще не исчезнувшей навеки. Словом — образы «до потопа», как остроумно выражается сам же автор... К чему? Зачем?

Есть вещи и вовсе неуместные идеологически, иные сказки полны суеверных представлений о «заячьей душе», о «превращенках», т. е. оборотнях из фольклорной «народной» религии. Оттого, конечно, не легче, что автор, сторонник науки и культуры, сам ни крошки не верит в этих оборотней и пр. Напротив, это придает лишь нарочитый, деланый вид соответствующим образам, несмотря на все усилия автора к «примитиву» и детской наивности. Но опять-таки, к чему такое упорное стремление перегрузить фантазию советских детей обветшалым хламом средневековья? Надо прибавить, что и поповско-христианская религия тут не забыта. Тут есть и «Христос воскресе», возглашаемый какими-то «чистыми мальчиками», и заутреня, отслуживаемая перед пасхой в лесу (?) птицами (!), и прочая «православная» заваль и гниль. Как не стыдно советской писательнице?

Та же нота «воздыхания» о никчемной старине портит на значительную часть и ценную в общем статью-воспоминание о замечательном художнике-педагоге Чистякове, оказавшем огромное влияние на историю русской живописи конца девятнадцатого — начала двадцатого веков. Оригинальна красочная фигура выходца из деревни с полутолстовским, крестьянско-демократическим миросозерцанием дореволюционного характера. Плохо, однако, когда автор, как мы видели, поклонник «раскрепощения» наукой, умиляется сам перед этими взглядами, в частности над толкованием «по-особенному» Евангелия Чистяковым и пр.

Как видим, в книге далеко не выдержано то, в общем «попутное» с советским строительством, идейное содержание, которое, правда, недостаточно воплощено в первой пьесе, в «Причальной мачте».

А. Дивильковский

Татьяна Дубинская. «В окопах» (повесть). Изд-во «Федерация». М. 1930. Тир. 7 000. Стр. 257. Цена 1 р. 50 к.

«Повесть» эта нередко напоминает личный дневник или мемуары по живости деталей, по близкому знанию обстановки империалистической войны—притом, с точки зрения женщины-солдата. И это самая сильная сторона книжки, в общем, написанной ярко, красочно и с искренним воодушевлением. Еще одно свидетельство участника империалистической бойни не будет лишним для нашего читателя в момент, когда враги готовы обрушиться новой подобной бойней на страну строящегося социализма. Читатель осветит в памяти весь ужас и нелепость этих мировых свалок из-за роста прибыли кучки ненасытных капиталистов.

Но надо сказать, что поучительность данного грандиозного исторического опыта в книжке освещена недостаточно отчетливо. Картинки страданий массы, звериные образы крепостников-офицерья, воспроизведение все накаля-

ющейся атмосферы на фронте и в тылу, пропаганда более сознательных элементов, наконец, возмущения и восстания масс — все это дано. Но нет четкого лица у изображаемой массы — ни вначале, когда она была еще под гипнозом буржуазно-царского «патриотизма, ни в конце, когда он революционизируется. Поэтому нет и художественного контраста двух этих состояний массы, нет и драматической классовой борьбы как их выражения.

Недостаток этот связан с неотчетливым, неясным путем развития самой «героини» Зины, — она же и рассказчица повести. Интллигентка по происхождению, так как выходец из промежуточного класса мелкой (или даже средней) буржуазии, дочь профессора, она увлекается на фронт порывом скорее полудетского, майн-ридовского авантюризма, чем определенного старо-российского «патриотизма». Удивительны, конечно, в шестнадцатилетней девочке ее «мужественность» и готовность претерпеть все невзгоды фронта (отсюда и особенный интерес ее испытаний, т. е. действия повести). Но неизбежное разочарование под тяжкими ударами отвратительной «прозы» хищнической войны не изображено и не могло быть в данных условиях изображено как яркий, резкий перелом и переворот. Неоткуда было «переламываться»,— да и революционный результат оказался не вполне ясным у героини.

Зина как-то исподволь, незаметно для себя и для читателя тоже, меняется в ходе событий, скорее всего вслед за солдатской массой и под влиянием более передовых из нее, как ее возлюбленный Сашка, крестьянин-середняк из ее же губернии. Солдаты-крестьяне до конца идут впереди барышни-солдата, как показывает, например, разговор под конец повести:

— А ты знаешь, что это такое — большевик? (спрашивает солдат Ерыга).

— Нет, а ты?

— Я все теперь знаю.

Гораздо более развитой Сашка, оратор и агитатор-большевик, все же крайне недостаточно «знает» в этом смысле. О рабочих он может сообщить только то, что они «гудят в Питере», о буржуазии — что против последней надо оборотить «другой фронт». И даже самый сознательный партиец из известных Зине, большевик Давид Маркович, так раз'ясняет «теорию» империалистической войны: «Машина капиталистов перемалывает (?) человеческие тела для завоевания рынков». Это — верх классового сознания на всем протяжении повести. Конечно, со стороны реального, верного с жизнью изображения это, пожалуй, даже к лучшему. Откуда было мещанской барышне-воину набраться более отчетливого пролетарского сознания? Но, повторяю, данное обстоятельство снижает общую ценность повести, внося в нее момент художественной расплывчатости, даже недостатка горячего революционно-поэтического чувства!

Автор, несомненно, сам ощущал «недоношенность» произведения, потому в некоторых местах старался «подбавить жару». Например, в едва ли реальной сцене избиения злым командиром тяжело раненого солдата, истекающего кровью. Или в неумеренно-невероятном эпизоде изнасилования самой Зины зверем-офицером в опаснейшей разведке, под огнем германских пулеметов. И художественной фантазии должна пребыть мера!

В результате повесть прочтется не без интереса и пользы среди множества других на такую же тему. Но наш момент развернутого социалистического наступления настойчиво требует даже и в картинах прошлого гораздо более определенных штрихов, ясной борьбы, крутых переломов, ударных, активных типов, отчетливо-пролетарской, революционной, общей точки зрения.

А. Дивильковский

К. Финн. «Третья скорость». Роман. ЗИФ. М.—Л. 1930. Тир. 10 000. Стр. 232. Цена 1 р. 40 к.

Роман Константина Финна «Третья скорость» посвящен строительству крупного зернового совхоза. Однако эта тематическая установка не мешает писателю широко поставить в своем романе проблему кадров, проблему переделки человеческого материала под углом требований реконструктивного периода.

Роман Финна можно квалифицировать как более или менее удачное разрешение проблемы места отдельной личности в художественном произведении. С одной стороны, эта личность, эта человеческая индивидуальность не дана как схема, не заслонена вещью, техникой, с другой стороны, она не представляет для писателя самодовлеющего интереса, не взята сама по себе, в отрыве от производственных отношений и классовой борьбы.

Целая вереница человеческих фигур проходит через роман. Эти люди типизированы, в их облике схвачено то общее, что делает их конкретно классово прикрепленными, но они и индивидуализированы в том смысле, что найдена специфика каждого из них в отдельности. В частности, богатство лексически разнородных особенностей помогает Финну с большой художест-

венной убедительностью дать индивидуальность изображаемых персонажей. У Финна лексика действующих лиц не является средством дешевого натуралистического «правдоподобия», а целиком подчинена раскрытию классовой природы людей. Без вульгаризации можно утверждать, что, например, путаная, спотыкающаяся, синтаксически неустойчивая архитектоника речи бедняка Мушкина, забитого, находившегося одно время под кулацким влиянием, обусловлена его социальной природой. Мушкин еще переживает только начало процесса становления своего сознания как деревенского полупролетария. Его социальные колебания, очень отчетливо данные в диалектике образного движения романа, раскрыты и в языковских особенностях.

Краткость рецензии не позволяет подробно остановиться на разборе лексики других, не менее характерных персонажей романа, но основная линия Финна — на сознательное подчинение отдельных стилевых компонентов романа его идее — должна быть отмечена как серьезное идейно-художественное достижение.

Проблема роста сознания забитых крестьян бедняков, высвобождающихся под руководством пролетариата (совхозовские рабочие-трактористы, партячейка совхоза) из-под кулацкого влияния, сознательно начинающих итти в колхозы,— находится в центре романа.

В начале романа крестьяне-бедняки, работающие в совхозе, устраивают забастовку,— отчасти под влиянием кулацкой агитации, отчасти под влиянием собственной некультурности, идейной забитости, подчиненности. В этой сцене Финн показывает, как могут даже крестьяне-бедняки являться проводниками кулацких лозунгов. Но рядом с деревней создается мощный совхоз, обладающий высокой техникой и людьми высокого классового качества. Колхозное движение вырастает в деревне в прямой зависимости от совхоза, под его влиянием и руководством. Благодаря этому руководству и материальной помощи со стороны совхоза бедняцко-середняцкая часть деревни начинает уже по-новому осознавать свои подлинные социальные интересы.

В совхозе работает местный крестьянин — Антип. В процессе коллективного социалистического труда этот крестьянин-коммунист, освобождаясь постоянно от груза старых понятий и привычек, становится вполне приемлемым кандидатом на должность директора совхоза, взамен «индивидуалистически свихнувшегося» партийца-интеллигента Мотылева.

Крестьянство, в начале романа Финна показанное как зараженное колоссальной силой влияния «идиотизма деревенской жизни», перестраивает в дальнейшем под руководством совхоза свою мелкособственническую общественную природу. В совхозе меняются люди, приобретая на практике героического строительства ряд новых, общественных навыков. Труд становится подлинным «делом чести, доблести». В этом—большая социальная значимость романа Финна, значимость, сопряженная с немалой художественной силой, с правильным пониманием творческого метода.

Однако роман обладает и рядом крупных недостатков. Проблема переделки человеческого материала, правильно разрешаемая Финном, когда он рисует процесс социалистической реконструкции крестьянского хозяйства и ломки сознания трудового крестьянства,— приобретает иное качество, будучи поставлена по отношению к мелкобуржуазной служилой прослойке.

Рядом с совхозом, но в стороне от него, живет тихой, сонной мещанской жизнью железнодорожный полустанок Тишь. Счетовод Колокольников, маньяк-фотограф Рожицын, туберкулезный неврастеник Чуркин, его жена, начальник станции Михеев, его дочь Оля — бледные, невыразительные образы мелкобуржуазного прозябания. У Финна непропорционально много внимания уделено серенькой, незначащей жизни этого болота. И что хуже всего, один из обывателей этого болота — фразер Колокольников, попав с полустанка в счетоводы совхоза, слишком быстро перерождается, становясь почти социалистическим энтузиастом. Аналогичный процесс происходит с бухгалтером Трифоном. Здесь Финн недоучитывает принципиально качественной разницы между сознанием эксплоатируемого крестьянина-бедняка и мелкобуржуазного служаки-интеллигента.

В стиле Финна есть еще рецидивы чуждого пролетарской литературе импрессионизма («воздух был синим, пыльным, полосатым, как на чердаке»), ненужного мелочного детализирования («Коптев был бодрым, энергичным человеком, и слова он произносил простые и бодрые, но рот его кривился, как для плача»).

Однако эти тенденции не играют у Финна ведущей роли. В основном произведение Финна находится в русле пролетарской литературы.

Ан. Тарасенков.

Новые книги, поступившие в редакцию для отзыва:

ГОСИЗДАТ

Ударная бригада — Донбасс ударный, литературный сборник, редакция Исбаха и Як. Черняка, стр. 161, ц. 70 к.

Голощекин Ф. И. — Партийное строительство в Казахстане, сборник речей и статей 1925—1930 гг., подготовлен к печати Муравьевым В., Рядниным М. и Смирновым Д., редакция Рысакова П. М., стр. 344, ц. 2 р.

Коровин Е. А. и *Егорьев В. В.* — Разоружение, вступительная статья Шт-на Б. Е., стр. 430, ц. 4 р.

Ильин М. — Рассказ о великом плане, обложка, рисунки и оформление Разулевича М., стр. 170, без цены.

Бурге Е. Ф. — Приключения в воздухе, очерки и воспоминания летчиков, стр. 196, ц. 1 р.

Смирнова В. — Маной, рисунки и обложка Штернберга Д., стр. 70, ц. 70 к.

Каманин Ф. — Мой товарищ, повесть, рисунки Брей А., стр. 183, ц. 85 к., пер. 20 к.

Лобзиен Вильгельм — Иодуте, перевод с немецкого Бинштек И. А., рисунки Рерберга И., обложка Куприянова Н., стр. 123, ц. 70 к.

Горбунов К. — Чайная «Уют», стр. 262, ц. 1 р. 50 к.

Ставский В. — Волк, стр. 61, ц. 12 к.

Гиппиус Андрей — Записки главноуговаривающего 293-го пехотного Ижорского полка, предисловие Кудишева А., стр. 126, ц. 90 к.

Гудок-Еремеев Г. — За уголь, очерки, стр 71, ц. 25 к.

Альбертон М. — Биро-Биджан, перевод с еврейского Брук С., предисловие Лирова М., стр. 296, ц. 1 р. 75 к.

Маркиш П. — Из века в век, перевод с еврейского Маршака Б. И., редакция и вступительная статья Нусинова И. М., стр. 272, ц. 2 р. 50 к.

Борисов Леонид — Ремонт, повесть, стр. 80, ц. 96 к.

Олдрич Томас Белли — Воспоминания американского школьника, переработка Габбе Т. и Задунайской З., стр. 173, ц. 1 р.

Архив Огаревых, собрал и приготовил к печати Гершензон М., редакция и предисловие Полонского В. П. примечания Мендельсона Н. М. и Черняка Я. З., стр. 332, ц. 3 р.

Герцен А. И. — Былое и думы, т. I, биографический очерк, вступительная статья и комментарии Каменева Л. Б., стр. 536, ц. 2 р. 75 к., пер. 75 к.

Институт Ленина при ЦК ВКП(б), редакция Адоратского В. В., Молотова В. М., Савельева М. А., стр. 334, ц. 2 р. 50 к.

«ПРИБОЙ»

Творческая дискуссия в Раппе, сборник стенограмм и материалов 3-областной конференции ЛАПП 15—21 мая 1930 г., редакция Майзеля М. Г. и Слепнева Н В., стр. 457, ц 3 р. 50 к.

Толстой Алексей — Петр Перв[ый], роман, стр. 387, ц. 2 р. 75 к.

Волосевич В. — Курс истории ВКП(б), выпуск 3-й, стр. 184, ц. 1 р. 15 к.

«ФЕДЕРАЦИЯ»

Ряховский Василий — С гор потоки, роман, стр. 250, ц 1 р. 50 к., пер. 25 к.

Малышкин Александр — Падение Даира, повести, стр. 166, ц. 1 р. 10 к.

Остроумов Лев — Фабрика разговоров, роман, стр. 250, ц. 1 р. 50 к., пер. 20 к.

Новиков Иван — Мне двадцать лет, рассказы, стр. 241, ц. 1 р. 50 к.

Кудрейко Анатолий — Гравюры и марш, стихи и поэмы, стр. 125, ц. 1 р. 20 к.

Лавров Леонид — Уплотненная жизнь, стихи, 1927—1929 гг., стр. 95, ц. 1 р.

Веледницкая Т. — Моя повесть, повести и рассказы, стр. 150, ц. 95 к.

Долгих А. — Кривая, повесть, стр. 182, ц. 1 р. 10 к.

Авербах Л. — Перестраиваемся, статьи, стр. 69, ц. 40 к.

Вигилянский Н. — Рассказы из записной книжки, стр. 133, ц. 90 к.

П. Петров — Борель, роман, стр. 210, ц. 1 р. 40 к., пер. 25 к.

Канатчиков С. И. — Рождение колхоза, стр. 93, ц. 50 к.

Оськин Дм. — Записки военмора, стр. 278, ц. 1 р. 25 к., пер. 20 к.

ЗИФ

Новикова-Вашенцева Е. — Маринкина жизнь, повесть, стр. 286, ц. 1 р. 95 к.

Земля советская, ударный литературно-художественный сборник Всероссийского общества крестьянских писателей, редакция Богданова А., Дорогойченко А., Мазойского П., стр. 61, ц. 10 к.

Финн Константин — Третья скорость, роман, стр. 232, ц. 1 р. 40 к.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

Кириченко А. Н. и *Ульчев Ю. К.* — Повесть из жизни детского клуба, стр. 203, ц. 1. 75 к.

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Фадеев А. — Последний из Удэге, роман, стр. 207, ц. 1 р. 20 к.

Лайдош Киш — Героический район, роман из дней венгерской революции, перевод Кулле Р., предисловие Бела Куна, стр. 239, ц. 1 р. 50 к.

Его же — Героический район, книга вторая, роман из дней венгерской революции, перевод Зелениной А., стр. 238, ц. 2 р. 25 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ В ЛЕНИНГРАДЕ

Северная бригада — Сквозь ветер, сборник, стр. 270, ц. 2 р. 25 к., пер. 30 к.

Замятин Евг. — Наводнение, рисунки Рудакова К., стр. 68, без цены.

СОДЕРЖАНИЕ

Редакц. коллегия: И. Беспалов, Вл. Васильевский, Вс. Иванов, С. Канатчиков
Ответственный редактор: И. Беспалов
Издатель: Государственное издательство
Адрес редакции: Москва, Ильинка, Старопанский пер., 7, тел. 5-63-12

14 тип. «Мосполиграф»,
Варгуньихина гора, д. 8.
Главлит Б 2315. 11 л.
Т и р а ж 15 000 экз.
Ст. ф. $Б_1$ 176×250. Зак. 47.